UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
BOOKSTACKS

CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS
The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was borrowed on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

DEC 2 2 1992

JAN 1 8 1995

MAY 1 5 2002

When renewing by phone, write new due date below previous due date.

L162

Digitized by the Internet Archive
in 2013

http://archive.org/details/utilitarianizmos00mill_0

ДЖОНЪ СТЮАРТЪ МИЛЛЬ.

УТИЛИТАРІАНИЗМЪ

О СВОБОДѢ

Переводъ съ англійскаго

А. Н. Невѣдомскаго.

Петербургъ

Изданіе Аполлона Головачова

1866—1869.

Типографія **А. М. Котомина,** Вознес. просп., д. № 81—23.

Содержатель типографіи жительство имѣетъ Колом. ч., 1-го участка, по Фонтанкѣ, д. № 131, кв. № 2.

171.5
M59и Ин

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

УТИЛИТАРІАНИЗМЪ.

УТИЛИТАРІАНИЗМЪ.

ГЛАВА I.

Общія замѣчанія.

Вопросъ о критеріумѣ добра и зла такъ мало до сихъ поръ подвинулся впередъ, что немного найдется во всѣхъ сферахъ человѣческаго знанія такихъ вопросовъ, которыхъ настоящее положеніе представляло бы болѣе поразительное несоотвѣтствіе тому, чего можно было ожидать, и болѣе ярко свидѣтельствовало бы о томъ, что спекулятивное мышленіе даже по самымъ важнымъ предметамъ только повторяетъ одни зады. Едва только зачалась философія, какъ уже вопросъ о summum bonum, или, что одно и тоже, вопросъ объ основаніяхъ

нравственности, сдѣлался главною проблемой спекулятивнаго мышленія; надъ нимъ работали самые лучшіе умы; по поводу его образовались разныя секты и школы, и вели между собой ожесточенную борьбу. Но вотъ съ тѣхъ поръ прошло уже болѣе двухъ тысячъ лѣтъ, а вопросъ еще не рѣшенъ, и философы, по прежнему, расходятся подъ тѣже, враждебныя другъ другу, знамена. И мыслители, и человѣчество, повидимому, и теперь также далеки отъ его рѣшенія, какъ были далеки въ то время, когда юный Сократъ, бесѣдуя со старымъ Протагоромъ (если только діалогъ Платона не вымышленъ), опровергалъ общепринятое въ тѣ времена нравственное ученіе этого такъ называемаго софиста и развивалъ свою теорію утилитаріанизма.

Правда, — такое же смѣшеніе понятій и такая же шаткость, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и не меньшее разногласіе, какія мы замѣчаемъ въ вопросѣ о нравственности, существуютъ и въ основныхъ принципахъ всѣхъ наукъ, не исключая даже и той, которая считается самою точною изъ всѣхъ, — математики, и это нисколько не вредитъ, или, по крайней мѣрѣ, весьма мало вредитъ достовѣрности ихъ выводовъ. Такая, повидимому, аномалія объясняется тѣмъ, что частныя положенія наукъ обыкновенно не составляютъ вывода изъ такъ называемыхъ основныхъ ихъ принциповъ, а имѣютъ свою доказательность, нисколько отъ этихъ принциповъ независящую. Если бы это было не такъ,

то въ такомъ случаѣ алгебра была бы самая ненадежная наука и ея выводы надо было бы признать самыми недостовѣрными, такъ какъ она ни одну изъ своихъ истинъ не выводитъ изъ того, что обыкновенно признается за основные ея элементы, и такъ какъ притомъ въ самыхъ этихъ элементахъ,—по признанію первоклассныхъ математиковъ, — не менѣе фикцій, чѣмъ въ англійскихъ законахъ, и не менѣе мистерій, чѣмъ въ теологіи. Собственно говоря, основные принципы какой либо науки окончательно разскрываются намъ не иначе, какъ путемъ метафизическаго анализа элементарныхъ понятій, присущихъ этой наукѣ, и составляютъ послѣдній результатъ этого анализа; слѣдовательно, они имѣютъ по отношенію къ наукѣ не то значеніе, какое имѣетъ фундаментъ по отношенію къ зданію, а скорѣе то, какое имѣютъ корни по отношенію къ дереву: они также хорошо выполнятъ свое дѣло, если даже и никогда не будутъ открыты и выставлены на свѣтъ. И такъ въ наукахъ мы получаемъ сначала частныя истины, а потомъ уже общую теорію. Но совершенно обратное должны мы, повидимому, ожидать въ такомъ практическомъ дѣлѣ, какъ нравственность. Всякое дѣйствіе необходимо имѣетъ какую нибудь цѣль, и, слѣдовательно, правила, руководящія дѣйствіями, должны естественнымъ образомъ находиться въ полной и неизбѣжной зависимости отъ цѣли, которой служатъ. Когда мы

хотимъ что нибудь сдѣлать, то для того, чтобъ рѣшить вопросъ: хорошо это или дурно, намъ представляется необходимымъ составить себѣ прежде ясное и точное понятіе о томъ, хорошо или дурно то, чего желаемъ достигнуть, и только уже составивъ себя ясное понятіе о цѣли, можемъ мы судить, что слѣдуетъ, и чего не слѣдуетъ намъ дѣлать. Слѣдовательно, въ дѣлѣ нравственности сознаніе основнаго принципа должно, повидимому, предшествовать сознанію частныхъ истинъ, — однимъ словомъ, знаніе добра и зла должно быть средствомъ, къ распознаванію, что хорошо и что дурно, а не слѣдствіемъ этого распознаванія.

Такая постановка вопроса о нравственности нисколько не измѣнится, если мы прибѣгнемъ и къ той весьма распространенной теоріи, которая признаетъ существованіе врожденной способности, чувства или инстинкта, будто бы указывающаго намъ, что есть добро и что есть зло. Не говоря уже о томъ, что самое существованіе такого инстинкта составляетъ предметъ весьма спорный, мы замѣтимъ только, что даже тѣ, которые признаютъ его существованіе и при этомъ имѣютъ хотя малѣйшее притязаніе быть философами,—что даже и тѣ должны были отказаться отъ идеи, будто инстинктъ точно также распознаетъ въ каждомъ частномъ случаѣ, что хорошо и что дурно, какъ другія наши чувства распознаютъ форму или звукъ. Всѣ истолкователи нравственной способности, которые

сколько нибудь заслуживаютъ названія мыслителей, согласны въ томъ, что эта способность даетъ намъ только одни общіе принципы для нравственныхъ сужденій, что она есть вѣтвь нашего разума, а не способности ощущенія,—способность сознать отвлеченныя правила нравственности, а не способность видѣть нравственность in concreto. Обѣ школы, какъ интуитивная, такъ и индуктивная, одинаково признаютъ необходимость общихъ законовъ; обѣ согласны въ томъ, что нравственность какого нибудь поступка не есть предметъ непосредственнаго знанія, а узнается только чрезъ примѣненіе общаго закона къ частному случаю; обѣ въ значительной степени сходятся между собой также и въ томъ, въ чемъ именно должны состоять нравственные законы, и совершенно расходятся между собой только касательно основанія истинности этихъ законовъ и касательно источника, отъ котораго законы получаютъ свой авторитетъ: одна школа утверждаетъ, что принципы нравственности очевидны á priori и для признанія своего ничего не требуютъ, кромѣ того только, чтобъ выражающіе ихъ термины были поняты, — другая же школа говоритъ, что добро и зло, равно какъ истина и ложь, суть вопросы наблюденія и опыта. Итакъ обѣ школы одинаково утверждаютъ, что существуютъ принципы нравственности, изъ которыхъ вытекаютъ нравственныя правила,—обѣ онѣ одинаково признаютъ

существованіе науки нравственности, но между тѣмъ какъ въ той, такъ и въ другой школѣ рѣдко встрѣчаемъ мы попытки перечислить тѣ апріористическіе принципы, которые должны служить первыми посылками науки, и еще рѣже встрѣчаемъ попытки возвести эти принципы къ одному основному принципу, къ общей основѣ обязанности. Эти школы или признаютъ апріористическую несомнѣнность за обыкновенными правилами нравственности, или же принимаютъ за основу этихъ правилъ какое нибудь общее положеніе, которое обладаетъ еще меньшею апріористической несомнѣнностію, чѣмъ самыя правила, и никогда не пользовалось общимъ признаніемъ. Но если притязанія этихъ школъ основательны, то долженъ же существовать такой основной принципъ или законъ, который бы составлялъ корень всей нравственности, а если такихъ принциповъ нѣсколько, то между ними должна же быть опредѣленная постепенность и долженъ же существовать очевидный самъ по себѣ принципъ или правило, которое бы рѣшало споръ въ случаѣ столкновенія между собой различныхъ принциповъ.

Если бы мы захотѣли изслѣдовать, на сколько вредныя послѣдствія такой несостоятельности школъ смягчались на практикѣ, или до какой степени нравственныя понятія человѣчества извращались или дѣлались шаткими вслѣдствіе отсутствія ясно сознаннаго верховнаго принципа нравственности, то это повело бы насъ къ полному критическому

обзору всѣхъ когда либо существовавшихъ этическихъ доктринъ и намъ не трудно было бы доказать при этомъ, что если нравственныя понятія людей достигли большей или меньшей твердости или устойчивости, то обязаны этимъ преимущественно безгласному вліянію верховнаго принципа нравственности, который хотя и не сознанъ, но тѣмъ не менѣе существуетъ. Правда,—вслѣдствіе несознанія этого принципа, дѣятельность этики ограничивалась почти исключительно только тѣмъ, что санксіонировала проявившіяся уже чувства, а не руководила ими, но тѣмъ не менѣе чувства человѣческія, — и симпатія и антипатія, — по самому уже существу своему неизбѣжно находятся въ постоянной зависимости отъ того, что люди считаютъ способствующимъ ихъ счастію, и вслѣдствіе этого принципъ пользы, или какъ назвалъ его Бантамъ, принципъ величайшаго счастія, всегда игралъ большую роль въ образованіи нравственныя доктринъ даже тѣхъ людей, которые съ презрѣніемъ отвергали его авторитетъ. Ни одна философская школа, какъ бы ни было сильно въ ней нежеланіе признать принципъ пользы за основной принципъ нравственности и за источникъ нравственной обязанности, — ни одна школа никогда не отрицала, что то вліяніе, которое человѣкъ признаетъ за своими поступками по отношенію къ своему счастію, имѣетъ во многихъ случаяхъ самое существенное и даже преобладающее

значеніе при опредѣленіи нравственнаго достоинства поступковъ. Мало того: я утверждаю даже, что сами защитники апріористической нравственности, какъ только пускаются въ разсужденія, неизбѣжно прибѣгаютъ къ утилитарнымъ аргументамъ. Критиковать этихъ мыслителей не входитъ въ кругъ настоящей моей задачи, но я не могу удержаться, чтобъ не указать, въ подтвержденіе моихъ словъ, на систематическій трактатъ самаго знаменитѣйшаго изъ нихъ, — на метафизику этики Канта. Этотъ замѣчательный человѣкъ, создавшій философскую систему, которая составляетъ эпоху въ исторіи спекулятивнаго мышленія, въ названномъ нами трактатѣ установляетъ слѣдующій всеобщій принципъ, какъ основаніе и источникъ обязанности: „поступай такъ, чтобы то правило, по которому ты поступаешь, могло быть признано за законъ всѣми разумными существами“. Приступая затѣмъ къ выводу изъ этого принципа нѣкоторыхъ общепризнанныхъ нравственныхъ обязанностей, онъ доходитъ почти до смѣшнаго въ своихъ тщетныхъ усиліяхъ найдти какое нибудь препятствіе, какую нибудь, не говорю физическую, но, покрайней мѣрѣ, хоть логическую невозможность для признанія людьми какихъ бы то ни было правилъ поведенія, хотя бы даже въ высшей степени оскорбительныхъ для существующихъ нравственныхъ понятій. Въ послѣднемъ результатѣ ему удается найдти одно только къ этому препят-

ствіе: что никто не захочетъ подвергнуть себя тѣмъ послѣдствіямъ, какія бы неизбѣжно повлекло за собой общее признаніе правилъ, противныхъ нравственности.

Я не стану входить въ дальнѣйшее разсмотрѣніе разныхъ этическихъ теорій и приступлю прямо къ выполненію моей задачи, которая состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать истинному уразумѣнію и правильной оцѣнкѣ утилитаріанизма или теоріи счастія, и доказать эту теорію, на сколько она можетъ быть доказана. Очевидно, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о доказательствахъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно понимается это выраженіе. Вопросы о конечныхъ цѣляхъ не подлежатъ непосредственнымъ доказательствамъ. Мы не иначе можемъ доказать, что что-нибудь хорошо, какъ признавъ безъ доказательствъ хорошимъ то, для чего оно служитъ цѣлью. Медицинское искуство признано дѣломъ хорошимъ, потому что оно даетъ здоровье; но есть ли возможность доказать, что само здоровье есть благо? Музыкальное искуство также есть дѣло хорошее, потому, между прочимъ, что оно доставляетъ намъ удовольствіе, но какъ доказать, что само удовольствіе есть благо? Поэтому, когда утверждаютъ, что существуетъ общая формула, заключающая въ себѣ все, что есть благо само по себѣ, и что всякое другое благо, не входящее въ эту формулу, есть благо не само по себѣ, а потому только, что

составляетъ средство для достиженія благой цѣли, то эту формулу можно принять или отвергнуть, но она не можетъ быть доказана, если принимать слово доказательство въ томъ смыслѣ, какъ оно обыкновенно понимается. Я нисколько не думаю этимъ сказать, чтобы принятіе или непринятіе такой формулы должно было зависѣть отъ слѣпаго побужденія или каприза. Въ словѣ доказательство заключается болѣе обширный смыслъ, чѣмъ какой ему обыкновенно придаютъ, и принимая его въ этомъ общирномъ смыслѣ, я утверждаю, что разсматриваемый нами вопросъ точно также подлежитъ доказательству, какъ и всякій другой спорный вопросъ философіи. Предметъ, о которомъ идетъ рѣчь, подлежитъ вѣденію нашей раціональной способности, но неправильно было бы полагать, что наша раціональная способность не можетъ имѣть къ нему другаго доступа, какъ только интуитивнымъ путемъ: могутъ быть представлены такого рода соображенія, которыя въ состояніи принудить умъ принять или отвергнуть доктрину, а представленіе такого рода соображеній равносильно доказательству.

Намъ предстоитъ теперь разсмотрѣть, какого рода могутъ быть эти соображенія, какимъ образомъ прилагаются они къ дѣлу, и, слѣдовательно, какія раціональныя основанія могутъ быть представлены для признанія или отрицанія утилитаріанской формулы. Но чтобы это признаніе или не-

признаніе было раціонально, необходимо, чтобы самая формула была правильно понята. Ее понимаютъ по большей части совершенно неправильно, и это составляетъ, по моему мнѣнію, главное препятствіе къ ея признанію. Я полагаю, что если очистить ея пониманіе хотя только отъ наиболѣе грубѣйшихъ ошибокъ, то вопросъ значительно упростится и большая часть препятствій къ ея призванію будетъ черезъ это устранена. Поэтому, прежде чѣмъ приступать къ философскимъ основаніямъ утилитаріанизма, я остановлюсь на самой его доктринѣ, чтобы уяснить, въ чемъ именно состоитъ эта доктрина, и устранить отъ нея все, ей не принадлежащее, и наконецъ устранить тѣ препятствія къ ея признанію, которыя истекаютъ изъ неправильнаго ея пониманія или тѣсно съ нимъ связаны. Приготовя такимъ образомъ почву, я постараюсь, по мѣрѣ моихъ силъ, пролить свѣтъ на этотъ вопросъ съ точки зрѣнія философской теоріи.

ГЛАВА II.

Что такое утилитаріанизмъ?

Я упомяну только вскользь о томъ заблужденіи, которое предполагаетъ, что будто люди, признающіе пользу мѣриломъ добра и зла, принимаютъ это слово въ тѣсномъ, обыденномъ смыслѣ, противополагая его удовольствію. Заблужденіе это обнаруживаетъ столь крайнее невѣденіе, что не заслуживаетъ того, чтобы на немъ останавливаться. Да не подумаютъ философскіе противники утилитаріанизма, чтобы я въ этомъ случаѣ смѣшивалъ ихъ, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда, съ тѣми нашими противниками, которые способны на столь нелѣпое и тѣмъ болѣе поразительное заблужденіе, что въ тоже время противъ утилитаріанъ обыкновенно взводится еще другое обвиненіе, совершенно противоположное,—обвиненіе въ томъ, что будто они ставятъ удовольствіе выше всего, и притомъ удовольствіе

въ самыхъ грубыхъ его формахъ. Такія два противорѣчащія одно другому обвиненія не только исходятъ иногда отъ людей одинаковыхъ убѣжденій, но часто даже, какъ это весьма мѣтко замѣтилъ одинъ талантливый писатель, одни и тѣже люди упрекаютъ утилитаріанъ „то въ чрезмѣрномъ аскетизмѣ, когда слово польза стоитъ впереди слова удовольствіе, то въ чрезмѣрной чувственности, когда на оборотъ, слово удовольствіе стоитъ впереди слова польза?“ Кто сколько нибудь знакомъ съ этимъ предметомъ, тотъ не можетъ не знать, что всѣ писатели, которые были сторонниками утилитаріанизма, всѣ безъ исключенія отъ Эпикура и до Бентама, разумѣли подъ пользой не что либо противоположное удовольствію, но самое удовольствіе и вмѣстѣ отсутствіе страданія, — что они не только не противополагали полезное пріятному и прекрасному, а напротивъ, постоянно утверждали, что полезное означаетъ собой и пріятное, и прекрасное. Но невѣжественная публика, какъ только дѣло коснется этого предмета, обыкновенно впадаетъ въ самое жалкое заблужденіе. Эта публика имѣетъ цѣлую массу своихъ писателей, и притомъ не только такихъ, которые пишутъ для газетъ и періодическихъ изданій, но даже и такихъ, которые печатаютъ большія книги съ большими претензіями. Ухватясь за слово утилитаріанизмъ и ничего не зная о самой доктринѣ, кромѣ ея названія, эти писа-

тели обыкновенно принимаютъ его за выраженіе отвращенія или пренебреженія къ удовольствію въ нѣкоторыхъ его формахъ,—къ красотѣ, къ изящному, къ развлеченіямъ. Не только въ охужденіе, но они нерѣдко невѣжественно извращаютъ его смыслъ даже какъ будто въ похвалу утилитаріанской доктрины, принимая его за выраженіе презрѣнія къ суетности и преходящимъ удовольствіямъ. Только съ искаженнымъ, такъ или иначе, смысломъ это слово и обращается въ настоящее время въ публикѣ, и изъ этого искаженнаго его смысла новое поколѣніе черпаетъ все свое о немъ пониманіе. Хотя люди, въ первый разъ введшіе это слово въ употребленіе, уже въ теченіе многихъ лѣтъ не употребляютъ его болѣе для обозначенія особой доктрины, но тѣмъ не менѣе они чувствуютъ себя въ настоящее время призванными возстановить его истинный смыслъ, дабы спасти его отъ того крайняго униженія, какому оно подверглось *).

*) Авторъ имѣетъ основаніе считать себя первымъ, введшимъ въ употребленіе слово утилитаріанизмъ. Онъ не самъ его изобрѣлъ, а заимствовалъ у Гольта изъ его Annals of the Parish. Въ теченіи многихъ лѣтъ какъ авторъ, такъ и другіе, употребляли его для обозначенія особой доктрины, но потомъ оставили, видя возрастающее нерасположеніе ко всему, что можетъ сколько нибудь походить на сектантское знамя или лозунгъ. Впрочемъ, какъ обозначеніе мнѣнія объ одномъ отдѣльномъ вопросѣ, а не какъ названіе доктрины, — какъ указаніе только на признаніе полезности принципомъ, а не на особенный родъ ея примѣненія, — терминъ этотъ пополняетъ недостатокъ языка и во многихъ случаяхъ представляетъ то удобство, что даетъ возможность избѣгать утомительнаго многословія.

Ученіе, признающее основаніемъ нравственности полезность или принципъ величайшаго счастія, оцѣниваетъ поступки по отношенію ихъ къ нашему счастію: тѣ поступки, которые ведутъ къ счастію, — хороши, а тѣ, которые ведутъ къ несчастію, — дурны. Подъ словомъ счастіе оно разумѣетъ удовольствіе и отсутствіе страданія; подъ словомъ несчастіе — страданіе и лишеніе удовольствія. Чтобы дать совершенно ясное понятіе о нравственномъ принципѣ этого ученія, необходимо было бы нѣсколько болѣе объ этомъ распространиться и, въ особенности, о томъ, что разумѣетъ оно подъ страданіемъ и удовольствіемъ и до какой степени оба эти понятія составляютъ открытый вопросъ. Но мы теперь на этомъ не остановимся, такъ какъ всѣ эти дополнительныя объясненія не имѣютъ непосредственнаго отношенія къ самому воззрѣнію на жизнь, которое составляетъ основу утилитаріанизма,—т. е. къ тому возрѣнію, которое признаетъ, что только удовольствіе и отсутствіе страданія желательны сами по себѣ, какъ цѣль, а что все прочее желательное (которое столь же многочисленно и по утилитаріанской системѣ, какъ и по всякой другой) желательно или потому, что заключаетъ въ себѣ удовольствіе, или потому, что составляетъ средство для полученія удовольствія и устраненія страданія.

Это воззрѣніе на жизнь возбуждаетъ противъ себя глубокое отвращеніе во многихъ людяхъ, и

даже въ такихъ, которые вполнѣ заслуживаютъ уваженія и по своимъ чувствамъ, и по своимъ стремленіямъ. Утверждать что жизнь не имѣетъ болѣе высшей цѣли, какъ удовольствіе, что она не представляетъ другаго болѣе прекраснаго и болѣе благороднаго предмета для желаній и стремленій, утверждать это — говорятъ они — и низко и подло. Такая доктрина, по ихъ мнѣнію, достойна развѣ однихъ только свиней, съ которыми въ древнее время обыкновенно и сравнивали послѣдователей Эпикура. Даже и въ настоящее время сторонники утилитаріанской доктрины нерѣдко дѣлаются предметомъ подобныхъ же вѣжливыхъ сравненій со стороны ихъ Германскихъ, Французскихъ и Англійскихъ противниковъ.

На такое сравненіе Эпикурейцы обыкновенно отвѣчали, что не они, а ихъ противники унижаютъ человѣческую природу, потому что предполагаютъ человѣка неспособнымъ имѣть какія либо другія удовольствія, кромѣ тѣхъ, какія свойственны свиньямъ,—и что если это предположеніе справедливо, то, разумѣется, нельзя ничего и возразить противъ самаго сравненія, но только оно въ такомъ случаѣ перестаетъ уже быть обвиненіемъ, потому что, если источники наслажденія одни и тѣ же и для людей, и для свиней, то и правила жизни, годныя для однихъ, будутъ одинаково годны и для другихъ. Сравненіе жизни Эпикурейца съ жизни скота именно потому только

унизительно, что скотскія наслажденія не соотвѣтствуютъ человѣческому представленію о счастіи. Люди имѣютъ потребности болѣе возвышенныя, чѣмъ простыя скотскія побужденія, и разъ сознавъ ихъ, не считаютъ уже счастіемъ того, что не удовлетворяетъ этимъ потребностямъ. Я не утверждаю, конечно, чтобы эпикурейское ученіе представляло собой безукоризненное развитіе утилитаріанскаго принципа,—я признаю, что сколько нибудь удовлетворительное выполненіе такой задачи равно невозможно какъ безъ стоическаго, такъ и безъ христіанскаго элемента,—но, однако, нельзя отрицать, что эпикурейское воззрѣніе на жизнь всегда ставило выше чувственныхъ наслажденій удовольствія умственныя и нравственныя, удовольствія воображенія и чувства. Правда,—утилитаріанскіе писатели основывали превосходство умственныхъ наслажденій передъ чувственными главнымъ образомъ на томъ, что первые прочнѣе, надежнѣе, дешевле и пр., чѣмъ послѣднія, т. е. не на внутреннемъ ихъ достоинствѣ, а на преимуществахъ совершенно внѣшнихъ; но хотя они и съ этой точки зрѣнія вполнѣ доказали справедливость своего ученія, тѣмъ не менѣе я охотно соглашаюсь, что, для предпочтенія умственныхъ наслажденій чувственнымъ, они могли бы взять и другое основаніе, которое считается болѣе возвышеннымъ, и я не вижу никакого противорѣчія утилитаріанскому принципу,—признать, что извѣ-

стнаго рода удовольствія болѣе желательны и болѣе цѣнны, чѣмъ удовольствія другого рода, а напротивъ, это было бы, по моему мнѣнію, совершенной нелѣпостію утверждать, что удовольствія должны быть оцѣниваемы исключительно только по ихъ количеству, тогда какъ при оцѣнкѣ всякаго другаго предмета мы принимаемъ во вниманіе и количество и качество.

Если бы меня спросили, что разумѣю я подъ различіемъ удовольствій по качеству, или иначе: что, кромѣ количества, можетъ сдѣлать одно удовольствіе болѣе цѣннымъ, чѣмъ другое, т. е. болѣе цѣннымъ, какъ удовольствіе, отстраняя при этомъ, конечно, какія бы то ни было другія соображенія, — то на это возможенъ только одинъ отвѣтъ: если всѣ или почти всѣ, испытавшіе два какія либо удовольствія, отдаютъ рѣшительное предпочтеніе одному изъ нихъ, и къ этому предпочтенію не примѣшивается чувства какой либо нравственной обязанности, то это удовольствіе и будетъ болѣе цѣнное, чѣмъ другое; — если люди, вполнѣ испытавшіе два какія либо удовольствія, отдаютъ одному изъ нихъ столь большое предпочтеніе, что хотя и знаютъ, что достиженіе его сопряжено съ гораздо большими непріятностями, чѣмъ достиженіе другаго, но все таки предпочитаютъ его даже и тогда, когда другое представляется имъ въ самомъ большемъ количествѣ, въ какомъ только возможно, то мы имѣемъ полное

основаніе заключить, что предпочитаемое удовольствіе имѣетъ передъ другимъ столь значительное качественное превосходство, что количественное между ними отношеніе теряетъ при этомъ почти всякое значеніе.

Безспорно, что человѣкъ, равно испытавшій два удовольствія и равно способный цѣнить и пользоваться обоими, отдастъ всегда предпочтеніе тому изъ нихъ, которое удовлетворяетъ высшимъ его потребностямъ. Мало найдется такихъ людей, которые бы, ради полной чаши животныхъ наслажденій, согласились промѣнять свою человѣческую жизнь на жизнь какого нибудь животнаго. Умный человѣкъ несогласится превратиться въ дурака, образованный — въ невѣжду, чувствительный и честный — въ себялюбиваго и подлаго, хотя бы они и были убѣждены, что дуракъ, невѣжда и плутъ гораздо болѣе ихъ довольны своей судьбой. Тотъ излишекъ потребностей, который они передъ ними имѣютъ, никогда не согласятся они утратить ради болѣе полнаго удовлетворенія тѣхъ потребностей, которыя у нихъ съ ними общія. Если же иногда и бываетъ, что они какъ будто желаютъ этого, то развѣ только въ минуту такого крайняго несчастія, что для избѣжанія его готовы промѣнять свою судьбу на всякую другую, какъ бы она, по ихъ собственному мнѣнію, ни была незавидна. Чѣмъ большими способностями одаренъ человѣкъ, тѣмъ большаго требуется для его сча-

стія, тѣмъ сильнѣе чувствуются имъ страданія, и самыя страданія его тѣмъ многостороннѣе,—но не смотря на все это, никогда не пожелаетъ онъ, чтобы его судьба замѣнилась другою, которая, по его собственному сознанію, составляетъ низшую ступень существованія. Какъ бы мы ни объясняли это чувство въ человѣкѣ:—гордостью ли, къ которой безразлично относятъ и нѣкоторыя самыя достойныя уваженія и нѣкоторыя самыя презрѣнныя чувства, къ какимъ только способно человѣчество, — любовью ли къ свободѣ и личной независимости, которыя, по мнѣнію стоиковъ, и составляютъ самый дѣйствительный мотивъ для поддержанія въ человѣкѣ этого чувства,—властолюбіемъ ли, любовью ли къ возбужденному состоянію, которыя оба на самомъ дѣлѣ ему присущи и подкрѣпляютъ его,—какъ бы мы ни объясняли это чувство, но ему нѣтъ другаго болѣе соотвѣтственнаго названія, какъ чувство собственнаго достоинства, которое мы находимъ у всѣхъ людей въ той или другой формѣ и притомъ даже въ нѣкоторой пропорціональности, хотя и далеко не точной, съ уровнемъ ихъ потребностей. Удовленіе этого чувства до такой степени составляетъ необходимое условіе счастія, что тѣ люди, въ которыхъ оно сильно, не могутъ даже и пожелать ничего, что противорѣчитъ этому чувству, за исключеніемъ развѣ только какого либо моментальнаго ненормальнаго состоянія. Предполагать, что

человѣкъ, отдавая предпочтеніе тому, что соотвѣтствуетъ его чувству собственнаго достоинства, жертвуетъ своимъ счастіемъ, что высшія натуры при равныхъ обстоятельствахъ не болѣе счастливы, чѣмъ низшія, предполагать это — значитъ смѣшивать двѣ совершенно различныя вещи: счастіе и довольство. Не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, что чѣмъ ниже у человѣка способность къ наслажденію, тѣмъ легче онъ можетъ достигнуть полнаго удовлетворенія своихъ потребностей. Человѣкъ, высоко одаренный, постоянно будетъ чувствовать, что при тѣхъ несовершенствахъ, которыя его окружаютъ, счастіе его не можетъ быть совершенно; но онъ можетъ научиться сносить эти несовершенства, если только вообще онѣ сносны, и никогда не позавидуетъ онъ тому человѣку, который ихъ не сознаетъ, но за то и не знаетъ того наслажденія, которое обусловливается ихъ сознаніемъ. Лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольною свиньей,— недовольнымъ Сократомъ, чѣмъ довольнымъ дуракомъ. Дуракъ и свинья думаютъ объ этомъ иначе единственно потому, что для нихъ открыта только одна сторона вопр са, тогда какъ другимъ открыты для сравненія обѣ стороны.

Могутъ возразить, что люди, способные къ высшимъ наслажденіямъ, мѣняютъ ихъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подъ вліяніемъ страстей, на наслажденія низшаго разряда. Я замѣчу на это,

что такой фактъ нисколько не предполагаетъ, чтобы въ минуту его совершенія утрачивалось и самое сознаніе о внутреннемъ превосходствѣ высшихъ наслажденій. Люди часто, по слабости характера, отдаютъ предпочтеніе тому наслажденію, которое имъ доступнѣе въ данную минуту, но при этомъ не теряютъ сознанія, что оно менѣе цѣнно, чѣмъ другія, и такъ поступаютъ они часто не только при выборѣ между двумя чувственными наслажденіями, но даже и при выборѣ между наслажденіями умственными и наслажденіями чувственными; — предаваясь чувственности до такой степени, что отъ этого теряютъ свое здоровье, они въ то же время не утрачиваютъ сознанія, что здоровье составляетъ благо, болѣе драгоцѣнное.

Могутъ также возразить, что часто люди, которыхъ въ молодости одушевлялъ высокій энтузіазмъ ко всему благородному, съ годами теряютъ его и дѣлаются наконецъ апатичными и себялюбивыми. Я не могу допустить, чтобы тѣ люди, съ которыми совершается это столь часто встрѣчающаяся перемѣна, дѣйствительно оказывали предпочтеніе высшимъ наслажденіямъ передъ низшими. Я убѣжденъ въ томъ, что прежде, чѣмъ предаться исключительно низшимъ наслажденіямъ, они должны были уже окончательно утратить всякую способность къ высшимъ. Благородство чувствъ составляетъ у большей части людей растѣніе весь-

ма нѣжное, которое легко вымираетъ не только отъ враждебныхъ вліяній, но и просто по недостатку питанія; у большинства молодыхъ людей такое вымираніе благородныхъ чувствъ совершается весьма быстро, когда тѣ занятія, на которыя они вынуждены своимъ общественнымъ положеніемъ, и та среда, въ которой они вращаются, не благопріятны для дѣятельнаго проявленія этихъ чувствъ. Высшія стремленія точно также утрачиваются, какъ и умственныя способности, когда люди не имѣютъ возможности употреблять ихъ въ дѣло. Если мы видимъ, что тѣ люди, которыхъ одушевляли высшія стремленія, предаются наконецъ низшимъ наслажденіямъ, то это происходитъ не потому, чтобы они приходили къ сознанію, что эти наслажденія заслуживаютъ предпочтеніе передъ высшими, а исключительно потому только, что это единственныя наслажденія, которыя имъ доступны, или наконецъ единственныя, наслаждаться которымъ они еще не утратили способности. Мы знаемъ, что во всѣ времена много людей гибло въ тщетныхъ усиліяхъ скомбинировать двоякаго рода удовольствія, но мы не знаемъ, и можемъ въ томъ усомниться, чтобы человѣкъ, одинаково способный къ двоякаго рода удовольствіямъ, сознательно и свободно отдавалъ, когда либо, предпочтеніе низшимъ удовольствіямъ передъ высшими.

Таковъ приговоръ единственныхъ компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ судей, и на приговоръ этотъ не

можетъ быть никакой аппелляціи. Въ вопросѣ о томъ, которое изъ двухъ удовольствій для насъ болѣе цѣнно, или который изъ двухъ родовъ жизни, независимо отъ его нравственныхъ аттрибутовъ и его послѣдствій, намъ болѣе пріятенъ,— въ этомъ вопросѣ мы должны признать окончательнымъ рѣшеніемъ общее мнѣніе, или, въ случаѣ разногласія, мнѣніе большинства тѣхъ, которые испытали оба эти рода удовольствій. Мы не имѣемъ трибунала, къ которому могли бы аппеллировать на это мнѣніе даже и по вопросу о количественной оцѣнкѣ, а тѣмъ болѣе не имѣемъ никакого основанія сомнѣваться въ его безаппелляціонности по вопросу о качествѣ. Какое другое средство имѣемъ мы опредѣлить, которое изъ двухъ страданій тяжелѣе, или которое изъ двухъ удовольствій пріятнѣе, какъ не положиться на мнѣніе тѣхъ, которые ихъ испытали? Стоитъ ли того извѣстное удовольствіе, чтобы мы для достиженія его рѣшились подвергнуть себя извѣстному страданію,—что же можетъ намъ рѣшить такой вопросъ, какъ не чувства и сужденіе людей, извѣдавшихъ ихъ на опытѣ? Слѣдовательно, если общее чувство и общее мнѣніе утверждаютъ намъ, что удовольствія, удовлетворяющія нашимъ высшимъ потребностямъ, для насъ болѣе цѣнны, чѣмъ тѣ, которыя служатъ для удовлетворенія нашей животной природы, то это мнѣніе, это чувство, должно имѣть для насъ всю силу безаппелляціоннаго приговора.

Я собственно потому только такъ распространился касательно качественной оцѣнки удовольствій, что считалъ разъясненіе этой стороны вопроса необходимымъ для совершенно точнаго пониманія, что слѣдуетъ разумѣть подъ словами полезность или счастіе, когда они принимаются въ смыслѣ начала, руководящаго поступками людей. Но я вовсе не думаю утверждать, чтобы высказанное мною мнѣніе по вопросу о качественности имѣло такое значеніе, что его принятіе или непринятіе необходимо должно влечь за собой принятіе или непринятіе и самаго принципа. Мнѣніе это не можетъ имѣть значенія безусловнаго вывода потому уже, что утилитаріанскій принципъ ставитъ для человѣка цѣлію не личное его величайшее счастіе, а величайшую сумму общаго счастія всѣхъ, — и если еще можно допустить какую нибудь возможность усомниться въ томъ, дѣйствительно ли благородство характера всегда дѣлаетъ человѣка болѣе счастливымъ, то уже ни въ какомъ случаѣ невозможно ни малѣйшее сомнѣніе, что оно дѣлаетъ болѣе счастливыми другихъ людей и что вообще всѣ другіе люди весьма много отъ этого выигрываютъ. Слѣдовательно, только поддерживая благородство характеровъ, утилитаріянизмъ можетъ достигать своей цѣли даже и въ томъ случаѣ, если бы мы предположили, что каждый индивидуумъ дѣлается счастливѣе отъ благородства другихъ, но что его личное благородство, по отношенію къ суммѣ его личнаго

счастія, имѣетъ значеніе величины отрицательной. Но одна уже прямая постановка этого предположенія дѣлаетъ до такой степени очевиднымъ всю его нелѣпость, что становится излишнимъ всякое возраженіе.

И такъ утилитаріанская доктрина, какъ мы ее объяснили, признаетъ, что все, что мы ни желаемъ (будемъ ли мы при этомъ имѣть въ виду наше личное счастіе или счастіе другихъ), для насъ желательно потому, что или само заключаетъ въ себѣ конечную цѣль, или служитъ средствомъ для достиженія конечной цѣли, а эта цѣль есть существованіе, наивозможно свободное отъ страданій и наивозможно богатое наслажденіями какъ количественно, такъ и качественно,—и что мнѣніе людей, которые поставлены въ благопріятныя условія для опыта, способны къ самонаблюденію и къ самосознанію, однимъ словомъ имѣютъ наиболѣе средствъ для сужденія, что мнѣніе такихъ людей имѣетъ силу окончательнаго рѣшенія въ вопросѣ о качественномъ превосходствѣ одного наслажденія передъ другимъ и о значеніи, какое имѣетъ при этомъ количество. Опредѣляя такимъ образомъ цѣль человѣческихъ дѣйствій, утилитаріанизмъ утверждаетъ, что эта цѣль и есть основной принципъ нравственности, и что, слѣдовательно, нравственность можетъ быть опредѣлена слѣдующимъ образомъ: такія правила для руководства человѣку въ его поступкахъ, чрезъ соблюденіе которыхъ достав-

ляется всему человѣчеству существованіе наивозможно свободное отъ страданій и наивозможно богатое наслажденіями, — и притомъ не только человѣчеству, но, на сколько это допускаетъ природа вещей, и всякой твари, которая только имѣетъ чувство.

Утилитаріанская доктрина имѣетъ еще одинъ родъ противниковъ, о которыхъ мы до сихъ поръ не говорили. Противники эти утверждаютъ, что счастіе, какое бы то ни было, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть разумною цѣлью человѣческой жизни и дѣятельности, потому во первыхъ, что оно недостижимо, и при этомъ спрашиваютъ презрительно: какое право имѣешь ты на то, чтобъ быть счастливымъ? а Карлейль еще добавляетъ къ этому: имѣлъ ли ты, незадолго предъ этимъ, право даже и на то, чтобъ существовать? А во вторыхъ, потому, говорятъ они, счастіе не можетъ быть разумною цѣлью жизни, что люди могутъ жить и безъ счастія, какъ это всегда сознавали всѣ благородныя натуры; только чрезъ самоотверженіе, утверждаютъ они, человѣкъ и дѣлается благороднымъ, потому что самоотверженіе есть начало и необходимое условіе всякой добродѣтели.

Первое изъ этихъ возраженій подкапывается подъ самый корень утилитаріанской доктрины, потому что если счастіе для людей недостижимо, то, конечно, и не можетъ быть цѣлью разумной чело-

вѣческой жизни. Но если бы мы даже и признали такое возраженіе основательнымъ (чего, разумѣется, нельзя признать), то и въ такомъ случаѣ мы могли бы сказать въ защиту утилитаріанизма, что признаніе пользы принципомъ предполагаетъ не только стремленіе къ счастію, но и стремленіе къ устраненію или уменьшенію несчастія, и что если первая цѣль есть химера, то тѣмъ большее значеніе получаетъ вторая цѣль и тѣмъ настоятельнѣе дѣлается ея достиженіе, предполагая при этомъ, конечно, что человѣчество хочетъ еще жить и не рѣшилось прибѣгнуть къ самоубійству, какъ это при извѣстныхъ обстоятельствахъ рекомендуетъ Новалисъ. Утверждать, что счастіе недостижимо для человѣка, значитъ, если не играть словами, то, по крайней мѣрѣ, впадать въ крайнее преувеличеніе. Конечно, счастіе невозможно, если подъ счастіемъ разумѣть постоянство упоительныхъ наслажденій. Такія наслажденія могутъ продолжаться минуты, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и съ нѣкоторыми промежутками—часы, дни, но не могутъ быть не только постоянны, но даже и очень продолжительны; состояніе упоенія не есть тотъ постоянный огонь, которымъ горитъ наслажденіе, а только его кратковременная вспышка. Это одинаково хорошо знаютъ, какъ тѣ, которые признаютъ счастіе цѣлью человѣческой жизни, такъ и тѣ, которые ихъ критикуютъ. Быть счастливымъ не значитъ находиться въ состояніи постояннаго

экстаза. Минуты полнаго упоенія среди существованія, наполненнаго немногими преходящими страданіями, многочисленными и многоразличными наслажденіями, съ рѣшительнымъ преобладаніемъ актива надъ ассивомъ, и въ довершеніе ко всему этому отсутствіе такихъ требованій отъ жизни, которыхъ жизнь не въ состояніи выполнить, — вотъ жизнь, которая, по мнѣнію всѣхъ тѣхъ, кому только она доставалась на долю, достойна назваться счастіемъ. Даже и теперь она составляетъ удѣлъ многихъ въ продолженіи значительной части ихъ существованія, и только дурное воспитаніе и дурное общественное устройство препятствуютъ тому, чтобы она сдѣлалась достижимой почти для всѣхъ.

Наши противники могутъ отвѣтить на это сомнѣніемъ, чтобы тѣ люди, которые научились считать счастіе цѣлью своей жизни, удовольствовались столь умѣренною его долей. Но развѣ большая часть человѣчества не довольствуется и гораздо меньшимъ. Жизнь, которая бы могла вполнѣ удовлетворить человѣка, слагается, повидимому, изъ двухъ главныхъ элементовъ: спокойствіе и возбужденіе. Каждый изъ этихъ элементовъ и самъ по себѣ, взятый въ отдѣльности, нерѣдко признается достаточнымъ для полнаго довольства жизнью. Много такихъ людей, которые ради спокойствія готовы довольствоваться и самой незначительною долею наслажденій; много также и та-

кихъ, которые ради возбужденія мирятся съ значительною суммою страданій. Не представляется никакой невозможности достичь даже того, чтобы жизнь всѣхъ людей заключала въ себѣ соединеніе обоихъ этихъ элементовъ, такъ какъ они не только что совмѣстимы одинъ съ другимъ, но и находятся между собой въ такой естественной связи, что одинъ служитъ какъ бы приготовленіемъ къ другому, спокойствіе къ возбужденію, и наоборотъ,— и одинъ рождаетъ желаніе другаго. Только тѣ люди, у которыхъ апатія доходитъ до порока, могутъ не желать возбужденія, насладившись покоемъ; только тѣ, у которыхъ потребность возбужденія стала болѣзнью, могутъ не чувствовать, что покой доставляетъ наслажденіе въ такой же степени, въ какой доставляло и предшествовавшее ему возбужденіе, и могутъ не находить въ немъ ничего, кромѣ скуки и пустоты. Если люди, имѣющіе сколько нибудь сносную внѣшнюю обстановку, не видятъ въ жизни ничего, что давало бы ей цѣну въ ихъ глазахъ, то это происходитъ обыкновенно отъ того, что они ни о чемъ иномъ никогда не думали, какъ только о самихъ себѣ. Для людей, которые не имѣютъ никакихъ привязанностей, ни общественныхъ, ни частныхъ, сумма жизненныхъ возбужденій значительно сокращается, и даже самая жизнь теряетъ для нихъ всякій интересъ, когда они видятъ, что смерть готовится уже положить конецъ всѣмъ ихъ эгоистическимъ

интересамъ; для тѣхъ же людей, напротивъ, которые оставляютъ послѣ себя предметы личной привязанности, и въ особенности для тѣхъ, которые развили въ себѣ участіе къ коллективнымъ интересамъ человѣчества, жизнь даже и на смертномъ одрѣ не только не теряетъ своего интереса, но сохраняетъ его въ той же силѣ, въ какой имѣла для нихъ во время ихъ молодости и здоровья.

Послѣ себялюбія главная причина недовольства жизнью есть недостатокъ умственнаго развитія. Развитіе ума, — не говорю философское, но по крайней мѣрѣ такое, которое бы разкрывало человѣку источники знанія и дѣлало его способнымъ къ умственному труду,— такое развитіе превращаетъ въ неистощимый источникъ интереса все окружающее, и предметы природы, и произведенія искуства, и созданія поэзіи, и событія исторіи, и прошедшія, и настоящія, и будущія судьбы человѣчества. Возможно, конечно, сдѣлаться равнодушнымъ и ко всему этому, не извѣдавъ даже и тысячной доли того, что заключается во всемъ этомъ, но это возможно только для такого человѣка, который никогда не принималъ ни въ чемъ никакого нравственнаго или человѣческаго участія, а искалъ только удовлетворенія своему любопытству.

Природа вещей не представляетъ намъ ни малѣйшаго основанія предполагать невозможнымъ,

чтобъ такая степень умственнаго развитія сдѣлалась общимъ достояніемъ всѣхъ, рожденныхъ въ цивилизованной странѣ,—и точно также не представляетъ никакого основанія предполагать, что будто есть люди, у которыхъ эгоизмъ составляетъ прирожденное свойство и которые, по самой природѣ своей, неспособны къ сочувствію или къ участію въ чемъ либо, что не имѣетъ непосредственнаго отношенія къ ихъ собственной жалкой личности. Даже и теперь общій уровень далеко выше такого низкаго эгоизма, и это служитъ для насъ богатымъ задаткомъ того, чѣмъ со временемъ можетъ стать человѣчество. Чувство личной привязанности и сочувствіе къ общему благу, хотя и въ различной степени, но доступны для каждаго правильно воспитаннаго человѣка. Въ этомъ мірѣ, гдѣ столь многое способно возбуждать въ насъ интересъ, гдѣ мы находимъ столько источниковъ для нашего наслажденія, и гдѣ еще столь многое требуетъ улучшенія и исправленія, — въ этомъ мірѣ каждому человѣку, который только не лишенъ нравственныхъ и умственныхъ потребностей, доступно такое существованіе, которое можно назвать даже завиднымъ; устраните дурные законы и произволъ, которые лишаютъ человѣка свободы пользоваться доступными его средствамъ источниками счастія, и тогда онъ достигнетъ этого завиднаго существованія, если только не поразятъ его положительныя несчастія жизни, эти великіе источни-

ки физическихъ и умственныхъ страданій, нищета, болѣзнь, злоба, подлость, преждевременная потеря предметовъ личной привязанности. Слѣдовательно, главная трудность задачи заключается въ томъ, чтобъ одолѣть эти бѣдствія, которыхъ рѣдко кому удается совершенно избѣжать. Правда, — при настоящемъ положеніи вещей не только не представляется никакой возможности совершенно предохранить себя отъ нихъ, но часто оказывается невозможнымъ даже хотя только смягчить ихъ въ сколько нибудь значительной степени; однако, тѣмъ не менѣе, ни одинъ человѣкъ, котораго мнѣнія заслуживаютъ хотя малѣйшаго вниманія, не станетъ утверждать, чтобы даже самыя величайшія бѣдствія, отъ которыхъ страдаютъ люди, были вовсе неустранимы по самой своей природѣ и не могли бы быть, при другомъ порядкѣ вещей, если не вовсе устранены, то по крайней мѣрѣ сведены въ очень узкія границы. Мудрость общества, соединивъ свои усилія съ здравымъ смысломъ и предусмотрительностію индивидуумовъ, можетъ совершенно уничтожить бѣдность въ той ея степени, когда она уже становится страданіемъ. Даже и этотъ самый неукротимый врагъ человѣка, болѣзнь, — и та можетъ быть доведена до безконечно малыхъ размѣровъ съ помощію хорошаго физическаго и нравственнаго воспитанія и съ помощію надлежащей осмотрительности отъ вредныхъ для здоровья вліяній, не говоря уже

о томъ, что прогрессъ наукъ обѣщаетъ намъ въ будущемъ еще много рѣшительныхъ побѣдъ надъ этимъ ненавистнымъ врагомъ. Каждый шагъ на этомъ пути освобождаетъ насъ отъ нѣсколькихъ опасностей, угрожающихъ не только нашей собственной жизни, но, что еще важнѣе, — жизни тѣхъ, въ комъ заключается наше счастіе. Что же касается до тѣхъ страданій, которымъ подвергается человѣкъ вслѣдствіе какихъ либо внезапныхъ перемѣнъ въ своей судьбѣ или вслѣдствіе какихъ либо неудачъ, то это обыкновенно происходитъ или отъ его собственной неразсудительности, или по причинѣ ложнаго направленія его желаній, или наконецъ, отъ дурныхъ или несовершенныхъ общественныхъ учрежденій. Однимъ словомъ, люди могутъ если не совершенно одолѣть, то, по крайнѣй мѣрѣ, въ значительной степени обезсилить всѣ тѣ великія бѣдствія, отъ которыхъ они страдаютъ. Хотя прогрессъ на этомъ пути совершается крайне медленно, хотя можетъ быть пройдетъ еще длинный рядъ поколѣній, прежде чѣмъ одержана будетъ окончательная побѣда и будетъ, наконецъ, этотъ міръ превращенъ въ то, чѣмъ онъ легко могъ бы быть, если бы у насъ не было недостатка воли и знанія, — но при всемъ этомъ каждый человѣкъ, достаточно развитый, чтобъ принимать какое нибудь участіе въ борьбѣ противъ этихъ бѣдствій, какъ бы ни было это участіе мало и незначительно, въ самой этой борьбѣ можетъ найдти столь высокое

наслажденіе, что никогда не промѣняетъ его ни на какіе соблазны эгоизма.

Изложенныя нами замѣчанія приводятъ насъ къ правильной оцѣнкѣ того возраженія противниковъ утилитаріанизма, что будто человѣкъ можетъ и обязанъ учиться жить безъ счастія. Безспорно, что жить безъ счастія можно; такъ по неволѣ живетъ въ настоящее время девятнадцать двадцатыхъ человѣчества, даже въ странахъ наименѣе варварскихъ; такъ по собственной своей волѣ живутъ иногда герои или мученики ради чего-то, что они цѣнятъ выше своего личнаго счастія. Но что же такое это что-то, ради котораго они жертвуютъ своимъ личнымъ счастіемъ, какъ не счастіе другихъ или не одинъ изъ элементовъ этого счастія? Благородно отрекаться отъ своей доли счастія или отъ возможности достичь ея; но такое самоотверженіе должно же имѣть какую нибудь цѣль, не можетъ же оно быть само для себя цѣлію, и если мнѣ отвѣтятъ на это, что его цѣль не есть счастіе, а добродѣтель, которая лучше, чѣмъ счастіе, то я поставлю вопросъ слѣдующимъ образомъ: принесъ ли бы жертву герой или мученикъ, если бы не былъ убѣжденъ, что, жертвуя собой, избавляетъ чрезъ это другихъ отъ необходимости подобныхъ же жертвъ? Принесъ ли бы онъ жертву, если бы думалъ, что его отреченіе отъ счастія не только не принесетъ никакой пользы никому изъ его ближнихъ, но и

сдѣлаетъ ихъ судьбу подобной его судьбѣ, то есть поставитъ ихъ въ необходимость также отречься отъ своего счастія? Честь и слава тѣмъ, кто можетъ отречься отъ личныхъ наслажденій жизнію ради увеличенія общаго счастія всѣхъ; но если кто приноситъ такую жертву, или полагаетъ, что ее приноситъ ради какой либо другой цѣли, тотъ заслуживаетъ такого же удивленія, какъ и тотъ аскетъ, что стоялъ на столбу: онъ можетъ служить вдохновительнымъ примѣромъ того, что человѣкъ **можетъ** сдѣлать, но ни какъ не того, что человѣкъ **долженъ** дѣлать.

Если жертва своимъ личнымъ счастіемъ и можетъ быть полезна для счастія другихъ, то это единственно только по причинѣ крайне несовершеннаго устройства человѣческаго быта; но, тѣмъ не менѣе, пока несовершенства эти существуютъ, самопожертвованіе составляетъ, безъ сомнѣнія, одну изъ величайшихъ человѣческихъ добродѣтелей. Я прибавлю даже—хотя это и можетъ показаться парадоксомъ—что при теперешнихъ условіяхъ человѣческаго существованія сознательная способность жить безъ счастія составляетъ самое надежное орудіе для достиженія всей той полноты счастія, какая только теперь достижима. Только чрезъ посредство такой сознательной способности можетъ человѣкъ стать выше случайностей жизни и сдѣлаться независимымъ отъ капризовъ судьбы, какъ бы судьба его ни преслѣдовала, и только

достигнувъ этой независимости можетъ онъ безъ большаго страха встрѣчать бѣдствія жизни и, подобно стоикамъ лучшихъ временъ Римской Имперіи, спокойно пользоваться тѣми источниками наслажденій, которые ему доступны, не отравляя этихъ наслажденій мыслію о ихъ непрочности.

Что бы ни говорили, но утилитаріане никогда не перестанутъ утверждать, что нравственность самоотверженія принадлежитъ по праву столько же имъ, сколько и стоикамъ или трансценденталистамъ. Утилитаріанская нравственность признаетъ въ человѣкѣ способность жертвовать величайшимъ своимъ личнымъ счастіемъ для счастія другихъ; она отрицаетъ только, чтобъ эта жертва могла служить сама для себя цѣлію, — она утверждаетъ, что безплодна та жертва, которая не увеличиваетъ или не стремится увеличить общую сумму счастія; только то самоотверженіе одобряетъ она, которое имѣетъ цѣлію счастіе другихъ, счастіе всего человѣчества въ его коллективности или отдѣльныхъ индивидуумовъ, на сколько послѣднее не противорѣчитъ коллективнымъ интересамъ человѣчества.

Противники утилитаріанизма рѣдко бываютъ на столько справедливы, чтобы вникать въ истинный его смыслъ, и потому я повторю еще разъ, что то счастіе, которое онъ признаетъ руководящимъ принципомъ человѣческихъ поступковъ, не есть личное, эгоистическое счастіе, а счастіе всѣхъ, — онъ требуетъ отъ человѣка въ отношеніи къ сво-

ему личному счастію и къ счастію другихъ самаго строгаго безпристрастія, на какое только можетъ быть способенъ посторонній, вполнѣ безпристрастный зритель. Безцѣнное ученіе Іисуса Христа проникнутое истиннымъ духомъ утилитаріанской докрины: дѣлай другому, что желаешь, чтобы тебѣ самому дѣлали; люби ближняго, какъ самого себя, —вотъ совершеннѣйшій идеалъ утилитаріанской нравственности. Какъ средство приблизиться сколько возможно къ этому идеалу, утилитаріанскій принципъ требуетъ во первыхъ, чтобъ въ обществѣ существовали такіе законы и такія учрежденія, которые бы приводили въ наивозможно большую гармонію индивидуальное счастіе, или, какъ это обыкновенно говорится, индивидуальные интересы, съ интересами общими для всѣхъ,—и во вторыхъ, чтобы воспитаніе и общее мнѣніе, которыя имѣютъ столь громадное вліяніе на образованіе человѣческихъ характеровъ, напечатлѣвали въ умѣ каждаго индивидуума, что его личное счастіе неразрывно связано со счастіемъ всѣхъ, и возможно для него только при томъ условіи, если онъ въ своихъ поступкахъ будетъ руководствоваться такими правилами, которыя имѣютъ цѣлію достиженіе общаго счастія. Однимъ словомъ, утилитаріанскій принципъ требуетъ, чтобъ каждый индивидуумъ былъ доведенъ до сознанія, что его собственное счастіе для него невозможно, если его поступки будутъ противорѣчить общему счастію,—онъ тре-

буетъ, чтобъ стремленіе къ общему счастію сдѣлалось обычнымъ мотивомъ поступковъ каждаго индивидуума и чтобы этотъ мотивъ имѣлъ широкое и преобладающее значеніе въ человѣческой жизни. Если бы противники утилитаріанской нравственности уразумѣли ея истинный смыслъ, то не стали бы упрекать ее въ недостаткѣ какихъ то совершенствъ, которыя будто бы принадлежатъ другимъ нравственнымъ теоріямъ. Я утверждаю, что не можетъ существовать такой нравственной доктрины, которая была бы въ состояніи предъявить требованія болѣе совершенныя и болѣе возвышенныя, чѣмъ требованія утилитаріанизма, и что никакая другая нравственная доктрина не владѣетъ для выполненія своихъ требованій такимъ сильнымъ рычагомъ, какимъ владѣетъ утилитаріанизмъ.

Утилитаріанская доктрина имѣетъ также и такихъ противниковъ, которые хотя искажаютъ ее, но нельзя сказать, чтобъ они ее искажали въ неблагопріятномъ для нея свѣтѣ. Такъ нѣкоторые ея противники, имѣя объ ней приблизительно довольно вѣрное понятіе, утверждаютъ, что требованія ея невыполнимы, что требовать отъ человѣка, что бы онъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководился стремленіемъ къ общему счастію, значитъ требовать невозможнаго. Но такое возраженіе съ ихъ стороны свидѣтельствуетъ только о томъ, что они вообще не понимаютъ, что такое значитъ нравственный принципъ, и правила дѣйствій смѣшива-

ютъ съ мотивами. Дѣло этики указать намъ, въ чемъ состоятъ наши обязанности, или какимъ путемъ можемъ мы ихъ познать, но ни одна этическая система никогда не требовала, чтобы чувство долга было единственнымъ мотивомъ человѣческихъ дѣйствій; напротивъ, девяносто девять сотыхъ нашихъ дѣйствій совершаемъ мы по совершенно другимъ мотивамъ, и поступаемъ хорошо, если только наши дѣйствія не противорѣчатъ требованіямъ долга. Смѣшивать правила дѣйствій съ ихъ мотивами въ возраженіяхъ противъ утилитаріанизма тѣмъ болѣе недозволительно, что утилитаріанскіе моралисты съ большею настоятельностію, чѣмъ послѣдователи другой какой либо доктрины, постоянно утверждали, что мотивы дѣйствія имѣютъ значеніе для оцѣнки нравственнаго достоинства дѣйствующаго лица, но не имѣютъ никакого значенія для оцѣнки самаго дѣйствія. Тотъ, кто вытаскиваетъ утопающаго изъ воды, поступаетъ нравственно хорошо, по какому бы мотиву онъ ни дѣйствовалъ, по чувству ли долга или ради ожидаемой награды; кто выдаетъ своего друга, который ему довѣрился, тотъ виновенъ въ преступленіи даже и въ томъ случаѣ, если бы онъ это сдѣлалъ съ цѣлію услужить другому своему другу, съ которымъ его связываютъ болѣе тѣсныя узы дружбы *). Утверждать, что будто по утили-

*) Одинъ изъ нашихъ противниковъ, Ж. Льюлейнъ Дэвисъ, сдѣлалъ на это слѣдующее возраженіе: «спасая уто-

таріанскому принципу всѣ поступки должны имѣть своимъ мотивомъ чувство долга и находиться въ непосредственной отъ принципа зависимости, что будто утилитаріанская доктрина хочетъ исключительно сосредоточить всѣ стремленія человѣческія на такомъ обширномъ предметѣ, какъ весь міръ или общество въ обширномъ смыслѣ этого слова, —

«нающаго, мы совершаемъ поступокъ дурной или хорошій, «смотря по тому, какой мотивъ нами руководитъ при «этомъ. Предположимъ такой случай: человѣкъ бросается «въ море, убѣгая отъ тирана, и тонетъ; но тиранъ спа«саетъ его, для того чтобъ подвергнуть смерти болѣе му«чительной. Развѣ поступокъ тирана хорошъ? Предполо«жимъ, что человѣкъ открываетъ тайну, которую ему до«вѣрилъ его другъ, и дѣлаетъ это по тому, что сохране«ніе тайны причинило бы большой вредъ или самому его «другу или кому либо изъ его близкихъ. Неужели утили«таріанизмъ станетъ утверждать, что такой поступокъ «равно преступенъ, какъ если бы онъ былъ сдѣланъ и по «другому какому либо низкому мотиву».

Спасти утопающаго для того, чтобъ подвергнуть его смерти болѣе мучительной, или же спасти его изъ чувства долга или изъ чувства расположенія къ нему, — тутъ не только различіе въ мотивахъ, но два совершенно различныя между собой дѣйствія. Въ приведенномъ примѣрѣ спасеніе человѣка составляетъ только первый шагъ къ другому дѣйствію, которое гораздо даже жесточе, чѣмъ оставить человѣка тонуть. Если бы г. Дэвисъ сказалъ такъ: «Спасая утопающаго, мы совершаемъ поступокъ дурной или хорошій, смотря потому—«не какой мотивъ,» а — «какое намѣреніе, нами при этомъ руководитъ», то ни одинъ утилитаріанинъ не сталъ бы противъ этого спорить. Г. Дэвисъ по недосмотру, не совсѣмъ извинительному, смѣшиваетъ въ этомъ случаѣ мотивъ съ намѣреніемъ, и это тѣмъ менѣе извинительно, что надъ разъясненіемъ этого различія съ особеннымъ вниманіемъ останавливались всѣ утилитаріанскіе мыслители, и въ особенности Бентамъ. Нравственное достоинство дѣйствія находится въ совершенной зависимости отъ намѣренія, то есть отъ то-

утверждать это, значитъ не понимать утилитаріанскаго воззрѣнія. Большая часть хорошихъ поступковъ совершается нами вовсе не изъ стремленія къ міровой пользѣ, а просто изъ стремленія къ индивидуальнымъ пользамъ, изъ которыхъ и слагается міровое благо; даже самый добродѣтельный человѣкъ для того, чтобъ его поступки совершенно удовлетворяли требованіямъ добродѣтели, необходимо обязанъ восходить въ своемъ сознаніи выше окружающихъ его интересовъ только въ той степени, въ какой это нужно для того, чтобъ убѣдиться, что польза, дѣлаемая имъ для его окружающихъ, не нарушаетъ ничьихъ правъ, то есть ничьихъ основательныхъ и законныхъ ожиданій.

Увеличеніе счастія составляетъ по утилитаріанской этикѣ единственную цѣль добродѣтели. Случаи, когда человѣку представляется возможность дѣйствовать на обширномъ поприщѣ, или другими словами, когда ему представляется возможность быть общественнымъ благотворителемъ, — весьма

го, что хочетъ сдѣлать дѣйствующій, совершая извѣстное дѣйствіе; но мотивъ, то есть то чувство, которое побуждаетъ человѣка совершить извѣстное дѣйствіе, если только не измѣняетъ самого дѣйствія, не имѣетъ никакого значенія для нравственной его оцѣнки,—оно имѣетъ большое значеніе только для нравственной оцѣнки дѣйствующаго лица, въ особенности же когда указываетъ дурныя или хорошія его наклонности, на направленіе характера, отъ котораго мы можемъ ожидать полезныхъ или вредныхъ дѣйствій.

рѣдки, такой удѣлъ выпадаетъ на долю одного изъ тысячи, и только въ такихъ случаяхъ человѣкъ и обязанъ имѣть въ виду общественную пользу; въ другихъ же случаяхъ онъ долженъ ограничивать свои стремленія частною пользой, выгодой или счастіемъ немногихъ близкихъ къ нему людей. Только тѣ люди должны имѣть постоянно въ виду такой обширный предметъ, какъ общественная польза, которые находятся въ такомъ положеніи, что дѣйствія ихъ могутъ имѣть вліяніе на все общество. Конечно, каждый человѣкъ долженъ сознавать себя обязаннымъ воздерживаться отъ тѣхъ поступковъ, которые запрещаются нравственностію, хотя бы даже эти поступки въ какомъ нибудь частномъ случаѣ и оказывались полезными для достиженія его совершенно законныхъ стремленій; его обязываютъ къ этому требованія общаго блага. Вотъ въ какой степени каждый человѣкъ всегда и во всякомъ случаѣ обязанъ постоянно имѣть въ виду благо всѣхъ. Такое требованіе со стороны утилитаріанской теоріи не только не представляетъ ничего невыполнимаго, но оно встрѣчается и во всѣхъ другихъ нравственныхъ системахъ, такъ какъ всѣ онѣ одинаково признаютъ, что каждый человѣкъ обязанъ воздерживаться отъ поступковъ вредныхъ обществу.

Этими соображеніями устраняется еще другое обвиненіе противъ утилитаріанской теоріи, которое обнаруживаетъ еще болѣе грубое непониманіе зна-

ченія нравственныхъ принциповъ и даже непониманіе самаго смысла словъ: добро и зло. Часто утверждаютъ, что утилитаріанизмъ дѣлаетъ людей холодными и эгоистичными, охлаждаетъ въ нихъ чувство участія къ индивидуумамъ, научаетъ ихъ сухо и жестко судить о поступкахъ только по ихъ послѣдствіямъ, не обращая при этомъ никакого вниманія на тѣ личныя качества, изъ которыхъ они истекли. Если этимъ хотятъ сказать, что при оцѣнкѣ поступка утилитаріане не принимаютъ вовсе въ соображеніе качествъ лица, совершившаго поступокъ, то такое возраженіе относится не только къ утилитаріанизму, но и одинаково ко всевозможнымъ нравственнымъ доктринамъ, потому что никогда еще ни одна нравственная доктрина не признавала поступокъ дурнымъ или хорошимъ по тому, что онъ совершенъ дурнымъ или хорошимъ человѣкомъ. Подобное соображеніе относится не къ оцѣнкѣ дѣйствій, а къ оцѣнкѣ дѣйствующихъ, и утилитаріанская теорія вовсе не отрицаетъ, что люди могутъ интересоваться другъ другомъ не только по отношенію къ нравственному достоинству совершаемыхъ ими поступковъ, но и въ другихъ отношеніяхъ. Правда,—стоики, стремясь превознесть добродѣтель выше всего, утверждали съ той парадоксальностію, которая составляетъ существенное свойство ихъ системы, что кто имѣетъ добродѣтель, тотъ имѣетъ все,—что добродѣтельный человѣкъ, и только онъ

одинъ, и богатъ, и прекрасенъ, и могучъ; но утилитаріанская доктрина никогда не заявляла подобныхъ требованій отъ имени добродѣтели. Утилитаріане всегда очень хорошо понимали, что кромѣ добродѣтели есть еще много и другихъ весьма желательныхъ предметовъ и качествъ, и всѣмъ имъ воздавали всегда должное. Они всегда понимали, что изъ нравственнаго достоинства поступка нельзя еще вывести заключенія о нравственномъ достоинствѣ дѣйствующаго лица, и что поступки, заслуживающіе осужденіе, часто истекаютъ изъ такихъ качествъ человѣка, которыя заслуживаютъ похвалу, и они всегда принимали это во вниманіе для оцѣнки—но только не дѣйствія, а дѣйствующаго. Правда,—утилитаріане, признаютъ что въ общемъ итогѣ длинный рядъ хорошихъ поступковъ составляетъ лучшее доказательство хорошихъ качествъ человѣка, и рѣшительно отказываются признать хорошимъ человѣка съ такими преобладающими наклонностями, которыя ведутъ къ вреднымъ поступкамъ; такое мнѣніе возбуждаетъ къ нимъ несочувствіе весьма многихъ, но въ этомъ случаѣ они раздѣляютъ общую участь со всѣми, кто только серьезно смотритъ на различіе между добромъ и зломъ, и истинный утилитаріанинъ не имѣетъ даже и надобности заботиться объ устраненіи отъ себя подобнаго упрека.

Если же этимъ возраженіемъ хотятъ только сказать, что нѣкоторые утилитаріане впадаютъ

въ чрезмѣрную исключительность и не цѣнятъ надлежащимъ образомъ другія прекрасныя стороны человѣческаго характера, которыя дѣлаютъ человѣка достойнымъ любви и уваженія,—то это еще можно допустить. Дѣйствительно, можетъ быть, нѣкоторые утилитаріане, развивая въ себѣ исключительно нравственное чувство, не обращаютъ должнаго вниманія на развитіе чувства симпатіи и артистическаго вкуса; но то же самое случается и съ моралистами всѣхъ другихъ школъ, и то оправданіе, которое обыкновенно въ такихъ случаяхъ приводится въ защиту другихъ моралистовъ, съ не меньшимъ основаніемъ можетъ быть приведено и въ защиту утилитаріанъ: если ужь нельзя избѣжать ошибки, то лучше ошибаться въ эту сторону, чѣмъ въ другую, лучше допустить излишнюю исключительность нравственнаго чувства, чѣмъ его распущенность. Кстати замѣтимъ здѣсь, что между поборниками утилитаріанизма точно также, какъ и между поборниками другихъ нравственныхъ школъ, существуетъ безконечное различіе въ степени строгости примѣненія ихъ принципа: одни доходятъ до пуританской чистоты, а другіе, между тѣмъ, доводятъ снисхожденіе до крайнихъ предѣловъ, какъ только могутъ этого желать сантиментальные и распущенные люди. Но говоря вообще, нельзя не признать, что доктрина, которая на первомъ планѣ ставитъ требованіе отъ имени блага всего человѣчества, чтобы

поступки, нарушающіе нравственный законъ, были пресѣкаемы и предупреждаемы, — нельзя не признать, что такая доктрина съ не меньшей силой, чѣмъ какая либо другая, обращаетъ санкцію общественнаго мнѣнія противъ нарушеній нравственности. Справедливо, что вопросъ: что нарушаетъ нравственный законъ? рѣшается различно, смотря потому, кто какой принципъ нравственности признаетъ за истинный; но вѣдь не утилитаріанизмъ же внесъ первый эту разноголосицу въ рѣшеніе нравственныхъ вопросовъ, и, въ этомъ отношеніи, онъ имѣетъ то преимущество предъ другими доктринами, что для рѣшенія противорѣчій предлагаетъ если и не всегда легкій, то всегда примѣнимый и ясный методъ.

Я считаю не лишнимъ остановиться еще на нѣкоторыхъ ошибкахъ въ пониманіи утилитаріанской доктрины, и даже на такихъ, которыя столь очевидны и столь грубы, что можетъ показаться невозможнымъ, чтобы онѣ могли дѣлаться людьми сколько нибудь добросовѣстными и способными къ пониманію; я считаю это не лишнимъ потому, что часто даже люди съ значительными умственными способностями не даютъ себѣ труда вникнуть какъ слѣдуетъ въ то мнѣніе, противъ котораго питаютъ предубѣжденіе, и большая часть людей не сознаетъ всей предосудительности такого, можно сказать, недобросовѣстнаго отношенія къ мнѣнію своихъ противниковъ, вслѣдствіе чего намъ не-

рѣдко случается встрѣчать самыя грубыя искаженія этическихъ доктринъ, даже въ сочиненіяхъ такихъ людей, которые имѣютъ притязанія на высокую чистоту стремленій и на званіе философовъ. Такъ, напримѣръ, нерѣдко случается намъ встрѣчать обвиненіе утилитаріанской доктрины въ безбожіи. Если уже необходимо отвѣчать на такое обвиненіе, то я отвѣчу, что здѣсь все зависитъ отъ пониманія нравственнаго характера Божества. Если справедливо, что Богъ желаетъ болѣе всего счастія своимъ созданіямъ, что онъ и создалъ ихъ съ тою цѣлію, чтобы они были счастливы, то утилитаріанская доктрина въ такомъ случаѣ не только не безбожная, а напротивъ, самая религіозная изъ всѣхъ. Если же обвиненіемъ въ безбожіи хотятъ сказать, что утилитаріанизмъ не признаетъ откровенія верховнымъ закономъ нравственности, то я отвѣчу на это, что утилитаріане, которые вѣрятъ въ совершенную мудрость и благость Божію, необходимо должны также вѣрить, что все, что Богъ почелъ за нужное открыть въ дѣлѣ нравственности, должно въ высшей степени удовлетворять требованіямъ пользы. Не одни утилитаріане держатся того мнѣнія, что откровеніе, указывая въ общихъ чертахъ, что есть добро, не имѣло цѣлію научить и не научаетъ людей знанію добра,— что оно предназначалось для того только, чтобы одушевить умъ и сердце людей такимъ духомъ, который бы дѣлалъ ихъ самихъ способными до-

стигать этого знанія и руководиться имъ въ своихъ дѣйствіяхъ, — и что, слѣдовательно, намъ необходимо самимъ работать надъ созданіемъ этической доктрины, которая бы разскрывала намъ волю Божію. Я не нахожу нужнымъ вступать въ преніе о томъ, справедливо или несправедливо это мнѣніе, и замѣчу только, что утилитаріанизмъ находится въ такомъ же отношеніи къ религіи, какъ естественной, такъ и откровенной, въ какомъ находятся и всѣ другія этическія доктрины. Онъ можетъ ссылаться на свидѣтельство Божіе въ вопросѣ о пользѣ или вредѣ какихъ либо поступковъ, съ такимъ же точно правомъ, съ какимъ другіе ссылаются на это свидѣтельство для указанія какого нибудь трансцендентальнаго закона, который не имѣетъ ничего общаго съ пользою или счастіемъ.

Нерѣдко противники утилитаріанизма вмѣсто теорія пользы говорятъ теорія выгодности; слово „выгодность“ они употребляютъ какъ будто въ томъ же значеніи, какое имѣетъ слово „польза“, но въ то же время пользуются тѣмъ, что оно обыкновенно употребляется, какъ выраженіе, противоположное выраженію: принципъ, долгъ, и съ помощію такого маневра стараются наложить на утилитаріанизмъ клеймо безнравственности. Слово выгодность въ смыслѣ, противоположномъ слову долгъ, означаетъ обыкновенно что либо выгодное лично для дѣйствующаго, но вредное для общаго

блага, такъ напр. когда министръ жертвуетъ интересами своей страны, чтобъ только удержаться на своемъ мѣстѣ; въ другомъ же, болѣе благородномъ смыслѣ оно означаетъ что либо выгодное непосредственно для какой нибудь преходящей цѣли, но въ тоже время нарушающее правила, отъ соблюденія которыхъ получилась бы выгода гораздо большая, чѣмъ какая получается отъ этого нарушенія,—слѣдовательно оно не только не однозначуще съ словомъ польза, но наоборотъ, означаетъ вредное. Такъ иногда представляется выгоднымъ солгать для того, чтобъ выйдти изъ какого либо временнаго затрудненія, или, чтобъ достичь чего либо непосредственно полезнаго для насъ или для другихъ. Но такъ какъ любовь къ правдивости есть одно изъ самыхъ полезныхъ по своимъ послѣдствіямъ чувствъ, и ослабленіе его ведетъ къ весьма вреднымъ послѣдствіямъ,—такъ какъ уклоненіе отъ истины, даже и безнамѣренное, ослабляетъ вѣру въ человѣческое слово, а эта вѣра составляетъ главную основу общественнаго благосостоянія, и ослабленіе ея болѣе, чѣмъ что либо, попятило бы назадъ цивилизацію и вообще все, отъ чего главнымъ образомъ зависитъ большая или меньшая степень счастія людей,—то, имѣя все это въ виду, мы чувствуемъ, что невыгодно ради представляющейся намъ какой либо временной, случайной пользы, нарушать правило, имѣющее столь большую полезность. Человѣкъ,

который лжетъ ради своей личной пользы или пользы другаго, есть злѣйшій врагъ человѣчества; онъ не только непосредственно наноситъ вредъ человѣчеству своею ложью, но и вообще подрываетъ вѣру въ человѣческое слово, и слѣдовательно лишаетъ человѣчество одного изъ величайшихъ его благъ. Но впрочемъ и это правило, столь святое: говорить всегда правду, допускаетъ нѣкоторыя исключенія, какъ это признаютъ всѣ моралисты. Главнѣйшее изъ этихъ исключеній составляетъ то обстоятельство, когда для избавленія кого либо (и въ особенности когда этотъ кто-либо не мы сами) отъ большаго и незаслуженнаго зла дѣлается необходимымъ утаить какой нибудь фактъ (напр. какія нибудь свѣденія отъ злодѣя, или дурныя извѣстія отъ опасно больнаго), а утаить его иначе нельзя, какъ солгать. Но для того, чтобы такого рода исключенія не переходили за предѣлы крайне необходимаго и какъ можно менѣе вредили довѣрію къ человѣческому слову, необходимо опредѣлить ихъ и положить имъ по возможности самыя точныя границы. Принципъ пользы оказывается весьма способнымъ разрѣшать подобнаго рода столкновенія между различными полезностями и опредѣлять предѣлы, въ которыхъ должно быть отдано предпочтеніе одной полезности передъ другою.

Нерѣдко поборникамъ утилитаріанизма приходится отвѣчать даже и на возраженія подобнаго

рода: что человѣкъ не имѣетъ времени предъ совершеніемъ каждаго своего поступка разсчитывать и взвѣшивать, какія послѣдствія будетъ имѣть этотъ поступокъ для общаго блага. Сказать подобную вещь не все ли это равно, какъ если бы мы сказали, что не можемъ руководствоваться въ своихъ поступкахъ христіанскимъ ученіемъ, потому что не имѣемъ времени предъ совершеніемъ каждаго поступка прочитывать весь Старый и Новый Завѣтъ. На подобное возраженіе можно дать такой отвѣтъ: достаточно было времени для того, чтобы обдумать, разсчитать, взвѣсить каждый свой поступокъ,— для этого было все прошедшее человѣчества. Человѣчество съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ, попостоянно училось на опытѣ, къ чему ведутъ различные поступки, а этотъ опытъ человѣчества и есть основа всей житейской мудрости и нравственности человѣка. Невѣжественные противники утилитаріанской доктрины разсуждаютъ, какъ будто бы этого опыта и не существовало вовсе, какъ будто бы и въ самомъ дѣлѣ человѣкъ, только когда уже подвергается искушенію убить или украсть, въ первый разъ и размышляетъ о томъ: вредны или нѣтъ убійство и кража для счастія людей. Но если бы и дѣйствительно человѣку пришлось въ первый разъ размышлять надъ такимъ поступкомъ только въ ту минуту, когда ему предстоитъ рѣшиться: совершить его или нѣтъ, — то я не думаю, чтобы онъ и тогда могъ затрудниться, и во

всякомъ случаѣ имѣетъ подъ рукой уже готовое рѣшеніе. Странно было бы въ самомъ дѣлѣ предположить, чтобы человѣчество, признавъ единодушно пользу верховнымъ принципомъ нравственности, не пришло бы также къ единодушному рѣшенію, что полезно и что вредно, и не позаботилось бы передать свои убѣжденія новому поколѣнію и подкрѣпить ихъ закономъ и общественнымъ мнѣніемъ. Не трудно доказать несостоятельность какого угодно этическаго принципа, если только предположить при этомъ всеобщій идіотизмъ; но, отстранивъ гипотезу идіотизма, нельзя же не признать, что человѣчество имѣло довольно времени, чтобъ путемъ опыта пріобрѣсть наконецъ положительныя убѣжденія касательно отношенія, какое имѣютъ хотя нѣкоторые его поступки къ его счастію. Эти-то убѣжденія, добытыя человѣчествомъ путемъ опыта, и составляютъ тѣ нравственныя правила, которыми должны руководиться не только массы, но и сами философы, пока не откроютъ чего либо лучшаго. Что философамъ и въ настоящее время не трудно сдѣлать много улучшеній въ дѣлѣ нравственности, что общепринятый кодексъ этики далекъ отъ совершенства, что человѣчеству еще предстоитъ многому научиться касательно вліянія различныхъ поступковъ на его счастіе,—все это совершенно справедливо, и я не только соглашаюсь съ этимъ, но и утверждаю это со всею энергіею. Выводы изъ принципа пользы

точно также, какъ и всякія другія практическія правила, способны безконечно улучшаться, и улучшеніямъ этимъ не будетъ конца, пока умъ человѣческій не утратитъ своей прогрессивности. Должны же наконецъ понять противники утилитаріанизма, что признавать правила нравственности способными къ улучшенію, это одно, а скакнуть чрезъ всѣ промежуточныя обобщенія прямо къ конечному обобщенію, къ верховному принципу, и приступить прямо къ оцѣнкѣ этимъ принципомъ каждаго индивидуальнаго поступка, это уже совсѣмъ другое. Странное въ самомъ дѣлѣ это мнѣніе, которое полагаетъ, что сознаніе верховнаго принципа несовмѣстно съ допущеніемъ второстепенныхъ принциповъ; какъ будто указать путнику мѣсто конечнаго его назначенія значитъ запретить ему пользоваться верстовыми столбами, лежащими на его пути,—какъ будто признать счастіе конечною цѣлію нравственности значитъ запретить людямъ пробивать себѣ дорогу къ этой цѣли, или запретить стремящимся къ ней выбирать тотъ путь, который короче и лучше. Пора бы уже перестать говорить такія безсмыслицы объ утилитаріанской доктринѣ. Вѣдь никто же не рѣшится говорить, да и слушать никто не станетъ подобныхъ пошлостей по какому нибудь другому практическому вопросу. Вѣдь никто же не станетъ утверждать, что искуство мореплаванія не основано на астрономіи, потому что морякамъ нѣ-

когда дѣлать вычисленія. Какъ существа разумныя, моряки отправляются въ море уже съ готовыми вычисленіями, и въ море жизни разумныя существа отправляются также, разрѣшивъ уже себѣ общіе вопросы добра и зла и много другихъ болѣе затруднительныхъ вопросовъ о томъ, что умно и что глупо,—и, можно надѣяться, такъ будутъ они поступать постоянно, пока предусмотрительность будетъ однимъ изъ качествъ человѣка. Какой бы принципъ нравственности мы ни признавали, во всякомъ случаѣ для примѣненія его намъ необходимы второстепенные, подчиненные ему принципы. Невозможность обойтись безъ этихъ второстепенныхъ принциповъ составляетъ общую принадлежность всѣхъ этическихъ доктринъ, и, слѣдовательно, не можетъ служить аргументомъ ни противъ одной изъ нихъ. Утверждать же, что такихъ второстепенныхъ принциповъ и быть не можетъ, что человѣчество никогда не дѣлало и никогда не будетъ дѣлать никакихъ общихъ выводовъ изъ своего жизненнаго опыта, это составляетъ, по моему мнѣнію, такую крайнюю нелѣпость, до какой еще никогда не доходилъ никакой философскій споръ.

Остальные аргументы противъ утилитаріанизма состоятъ по большей части въ томъ, что ему ставятъ въ вину несовершенство человѣческой природы и тѣ затрудненія, какія нерѣдко всякій добросовѣстный человѣкъ встрѣчаетъ на своемъ

жизненномъ пути. Такъ говорятъ, что утилитаріанинъ всегда съумѣетъ сдѣлать, когда ему надо, частный случай исключеніемъ изъ общаго правила, и всегда съумѣетъ найдти въ такомъ случаѣ больше пользы въ нарушеніи правила, чѣмъ въ его соблюденіи. Но развѣ только одинъ утилитаріанизмъ даетъ средства оправдывать злые поступки и даже обманывать свою собственную совѣсть? Развѣ не то же самое и не въ меньшей степени находимъ мы и во всѣхъ другихъ доктринахъ, которыя только признавали тотъ фактъ, что при нравственной одѣнкѣ поступковъ иногда сталкиваются между собою совершенно противоположныя требованія, а этотъ фактъ всегда признавали всѣ доктрины, которыя имѣли своими истолкователями сколько нибудь здравомыслящихъ людей. Не доктрина, какая бы она ни была, а сложность условій человѣческой жизни,—вотъ кто виноватъ въ томъ, что нельзя постановить такихъ правилъ поведенія, которыя бы не требовали исключеній, вотъ почему едва ли какой образъ дѣйствій можетъ быть безопасно признанъ безусловно обязательнымъ или безусловно предосудительнымъ. Нѣтъ такой этической доктрины, которая бы не смягчала строгости своихъ законовъ и не предоставляла каждому нѣкотораго простора приспособляться къ особенностямъ обстоятельствъ подъ своею личною нравственною отвѣтственностію, и нѣтъ такой доктрины, гдѣ бы этимъ просторомъ

не пользовались самообольщеніе и безчестная казуистика. Нѣтъ ни одной нравственной системы, въ которой бы не встрѣчались случаи столкновенія между собой разныхъ обязанностей. Эти случаи столкновеній и составляютъ главную трудность, камень преткновенія какъ въ теоріи этики, такъ и въ добросовѣстномъ ея примѣненіи на практикѣ. На практикѣ, конечно, эти затрудненія побѣждаются съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, смотря по умственнымъ и нравственнымъ качествамъ дѣйствующаго лица, но едва ли кто станетъ утверждать, что человѣкъ сдѣлается менѣе способенъ справляться съ этими затрудненіями, если у него будетъ верховный принципъ, на который онъ можетъ опереться для ихъ разрѣшенія. Если польза есть верховный источникъ нравственныхъ обязанностей, то она и должна быть призвана для разрѣшенія столкновенія между ними; можетъ быть ея примѣненіе въ данномъ случаѣ и окажется затруднительнымъ, но все же лучше имѣть какого нибудь посредника для рѣшенія спора, чѣмъ не имѣть вовсе никакого. Во всѣхъ другихъ нравственныхъ доктринахъ, кромѣ утилитаріанской, такого посредника не существуетъ тамъ всѣ нравственные законы совершенно независимы одинъ отъ другаго; права ихъ на первенство одного предъ другимъ основываются едва ли не на одной софистикѣ, и если только не опредѣлены, какъ это часто бываетъ, непосредственнымъ, несознаннымъ

вліяніемъ утилитарныхъ соображеній, то представляютъ широкое поле для личнаго произвола и пристрастій. Считаю нужнымъ напомнить, что нѣтъ такой нравственной обязанности, которой бы не былъ присущъ какой либо второстепенный принципъ, и ссли ей присущъ только одинъ принципъ, а не нѣсколько, то трудно, чтобы человѣкъ, сознающій его, могъ встрѣтить серьезное сомнѣніе касательно его требованій, и слѣдовательно только въ случаяхъ столкновенія между собой второстепенныхъ принциповъ и является необходимость прибѣгать къ верховному принципу.

ГЛАВА III.

О верховной санкціи принципа пользы.

Когда заходитъ рѣчь о какомъ нибудь нравственномъ принципѣ, то обыкновенно ставятъ вопросъ,—и весьма основательно,—какая же санкція этого принципа? Какіе мотивы заставляютъ подчиняться ему? или, выражаясь иначе,— гдѣ источникъ его обязательности, откуда черпаетъ онъ свою принудительную силу? Отвѣчать на этотъ вопросъ есть прямая обязанность нравственной философіи.

Нерѣдко ставятъ его въ формѣ возраженія утилитаріанскому принципу, какъ будто по отношенію къ нему онъ имѣетъ какое нибудь особенное значеніе, а не относится одинаково ко всѣмъ возможнымъ нравственнымъ принципамъ. Въ дѣйствительности же онъ возникаетъ собственно только тогда, когда человѣку предлагаютъ принять какой либо новый принципъ нравственности, или опереть

свою нравственность на такой базисъ, на который онъ не привыкъ ее опирать; что же касается до обыденной нравственности, освященной воспитаніемъ и общимъ мнѣніемъ, то она обыкновенно представляется человѣческому уму обязательною сама по себѣ. Попробуйте доказать человѣку, привыкшему довольствоваться обыденной нравственостью, что признаваемыя имъ нравственныя обязанности составляютъ выводъ изъ какого нибудь общаго принципа, котораго обычай не освятилъ своимъ ореоломъ,—онъ непремѣнно приметъ ваши доказательства за парадоксъ; для него частные выводы изъ основной теоремы имѣютъ какъ будто болѣе обязательной силы, чѣмъ самая теорема, — для него существуетъ только одна надстройка безъ фундамента, и когда вы ему станете указывать, что существуетъ и фундаментъ, то онъ какъ будто приходитъ въ страхъ за прочность надстройки,— и всѣ ваши доказательства вызовутъ его только на такое разсужденіе съ самимъ собою: я чувствую, что обязанъ не красть, не убивать, не лгать, не обманывать, но почему же обязанъ я заботиться объ общемъ счастіи? Если мое личное счастіе заключается не въ общемъ благѣ, а въ чемъ либо другомъ, то почему же не могу я отдать предпочтеніе этому другому?

Вотъ какое затрудненіе встрѣчаетъ утилитаріанская доктрина для своего признанія, и затрудненіе это до тѣхъ поръ не устранится, пока тѣ вліянія,

которыя образуютъ нравственный характеръ человѣка, не усвоятъ себѣ принципъ пользы до такой степени, что онъ сдѣлается для нихъ столь же непосредственно очевиднымъ, какъ теперь непосредственно очевидны для нихъ нѣкоторые изъ его выводовъ,— пока съ улучшеніемъ воспитанія чувство единенія нашего съ подобными намъ (чего и хотѣлъ Христосъ) не укоренится въ нашемъ характерѣ и въ нашемъ сознаніи такъ глубоко, что сдѣлается наконецъ такою же неотъемлемою частію нашего существа, какъ наприм. отвращеніе къ преступленію въ хорошо воспитанномъ человѣкѣ. Замѣтимъ, что это затрудненіе не составляетъ исключительной принадлежности утилитаріанской доктрины, а равно присуще всякой попыткѣ анализировать нравственность и подвести ее подъ принципы, — что не только утилитаріанскій, но вообще всякій принципъ, пока не успѣетъ укорениться въ умахъ людей и не получитъ въ ихъ глазахъ той же святости, какую имѣютъ для нихъ частные изъ него выводы, составляющіе ихъ нравственный кодексъ, до тѣхъ поръ этотъ принципъ будетъ казаться людямъ какъ бы посягательствомъ на святость того, что на самомъ дѣлѣ составляетъ только выводъ изъ него.

Всѣ санкціи, какія только имѣетъ какая либо нравственная система, одинаково имѣетъ и принципъ пользы, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія, почему бы онъ могъ ихъ не имѣть. Санкціи эти

двоякаго рода: внутреннія и внѣшнія. На внѣшнихъ санкціяхъ нѣтъ надобности долго останавливаться. Онѣ суть слѣдующія: надежда на милость или страхъ немилости къ намъ нашихъ ближнихъ или Бога; къ этому присоединяется симпатія и привязанность къ ближнимъ, любовь и благоговѣніе къ Богу, побуждающія насъ исполнять Божію волю независимо отъ нашихъ эгоистическихъ побужденій. Очевидно, нѣтъ ни малѣйшаго основанія, почему бы всѣ эти мотивы, побуждающіе людей исполнять свои нравственныя обязанности, не имѣли и въ утилитаріанской нравственности такой же силы и такого же значенія, какъ и во всякой другой. Какой бы принципъ люди ни признавали за основу своихъ обязанностей, принципъ ли величайшаго счастія или какой другой, во всякомъ случаѣ они желаютъ счастія, и каковы бы ни были ихъ заблужденія касательно оцѣнки своихъ собственныхъ поступковъ, во всякомъ случаѣ они желаютъ и требуютъ отъ другихъ людей по отношенію къ себѣ такихъ дѣйствій, которыя, по ихъ мнѣнію, способствуютъ ихъ счастію, — слѣдовательно тѣ мотивы для исполненія обязанностей, которыя истекаютъ изъ нашихъ отношеній къ ближнимъ, необходимо санксіонируютъ принципъ пользы въ большей или меньшей степени, смотря по уровню умственнаго развитія. Что же касается до религіознаго мотива, то очевидно, что люди, признающіе стремленіе къ величайшему счастію

за сущность, или даже за единственный критерiумъ добра, и вѣрующiе въ благость Бога, необходимо должны вѣрить и тому, что Богъ одобряетъ ихъ принципъ. Слѣдовательно. всѣ награды и наказанiя, и физическiя, и нравственныя, какъ истекающiя отъ Бога, такъ и отъ нашихъ ближнихъ, и вся безкорыстная любовь, къ какой только способенъ человѣкъ,—все это можетъ служить внѣшними санкцiями утилитарiанской нравственности, по мѣрѣ того, какъ эта нравственность входитъ въ наше сознанiе, и санкцiй эти могутъ быть тѣмъ могущественнѣе, чѣмъ лучше будутъ приспособлены для этой цѣли воспитанiе и общее образованiе.

Но довольно о внѣшнихъ санкцiяхъ. Внутренняя санкцiя нравственной обязанности всегда одна и та же, каковъ бы ни былъ нашъ нравственный принципъ. Санкцiю эту составляетъ наше собственное чувство, то мученiе, болѣе или менѣе сильное, которое мы чувствуемъ при неисполненiи нами долга, и которое въ правильно развитыхъ натурахъ доходитъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ до такой силы, что нарушенiе долга дѣлается для нихъ совершенной невозможностью. Это-то чувство совершенно безкорыстное, истекающее изъ чистой идеи долга безъ всякой примѣси какихъ либо постороннихъ элементовъ, и есть то, что называется совѣстiю. Проявленiе совѣсти совершается обыкновенно въ феноменахъ весьма сложныхъ, гдѣ къ

ней привходитъ много разныхъ посторонніхъ элементовъ, истекающихъ изъ любви, симпатіи, страха, религіознаго чувства, изъ воспоминаній дѣтства или воспоминаній всей прошедшей жизни, изъ самоуваженія, изъ желанія пріобрѣсть уваженіе другихъ, а иногда и изъ самоуниженія. Такая крайняя сложность и была, я полагаю, причиной того, что идея нравственнаго долга облеклась въ какой то мистическій характеръ, благодаря той склонности къ мистицизму, какую вообще обнаруживаетъ человѣческій умъ въ дѣлѣ нравственности; этимъ, по моему мнѣнію, объясняется, какимъ образомъ могло сложиться въ умѣ людей такое представленіе, что какъ будто чувство долга неразрывно связанно какимъ-то таинственнымъ закономъ съ извѣстными предметами, и именно съ такими, которыхъ способность возбуждать это чувство извѣстна людямъ по опыту, и что оно совершенно не существуетъ по отношенію къ другимъ предметамъ. Какъ бы мы впрочемъ ни объясняли происхожденіе и значеніе совѣсти, сущность ея, вся ея принудительная сила, условливается существованіемъ въ насъ такого чувства, которое намъ необходимо преодолѣть для того, чтобы совершить что либо противное нашему нравственному принципу, и которое, будучи побѣждено, вновь предстаетъ предъ нами въ видѣ упрека.

Итакъ, верховная санкція всякой нравственности (устраняя при этомъ всѣ внѣшніе мотивы) есть

наше собственное чувство, и на вопросъ: какая же санкція утилитаріанскаго принципа? я отвѣчаю, не колеблясь, что эта санкція—та же, что и всѣхъ другихъ нравственныхъ принциповъ, т. е. совѣсть человѣческая. Конечно она совершенно безсильна по отношенію къ людямъ, неимѣющимъ такого чувства, которымъ условливается самое ея существованіе; но для такихъ людей, не только утилитаріанскій, но и всякій другой нравственный принципъ, равно не имѣетъ никакой внутренней принудительной силы, — для нихъ могутъ имѣть силу только однѣ внѣшнія санкціи. Во всякомъ случаѣ такіе люди составляютъ исключеніе, и опытъ тѣмъ не менѣе говоритъ намъ, что это чувство существуетъ, что оно есть свойство человѣческой природы, и что при благопріятныхъ для своего развитія условіяхъ, оно дѣлается всемогущимъ,— и до сихъ поръ еще никто не въ состояніи былъ преставить какое либо основаніе, почему бы это чувство и въ утилитаріанинѣ не могло достигать такой же силы, какой оно можетъ достигать въ адептахъ другихъ нравственныхъ доктринъ.

Существуетъ общее расположеніе думать, что будто тотъ человѣкъ, который видитъ въ нравственной обязанности трансцендентальный фактъ, объективную реальность, принадлежащую къ числу вещей самихъ по себѣ, — что будто такой человѣкъ имѣетъ болѣе склонности подчиниться ея требованіямъ, чѣмъ тотъ, кто признаетъ ее

за фактъ субъективный, существующій только въ человѣческомъ сознаніи. Замѣтимъ на это, что какого бы человѣкъ ни былъ мнѣнія касательно происхожденія нравственной обязанности, во всѣхъ случаяхъ принудительная сила этой обязанности заключается въ его собственномъ субъективномъ чувствѣ и измѣряется исключительно силою этого чувства. Вѣдь вѣра людей въ объективность долга не сильнѣе ихъ вѣры въ объективность Бога, а между тѣмъ вѣра въ Бога (не говорю о внѣшнихъ санкціяхъ, объ ожиданіи наказанія или награды) имѣетъ вліяніе на поступки людей единственно только черезъ посредство ихъ субъективнаго, религіознаго чувства, и притомъ всегда соразмѣрно съ силою этого чувства. Слѣдовательно, какъ бы мы ни объясняли происхожденіе нравственной обязанности, во всякомъ случаѣ санкцію ея составляетъ собственное чувство человѣка, и трансцендентальнымъ моралистамъ ничего болѣе не остается, какъ только утверждать, что самое это чувство только тогда и имѣетъ значеніе санкціи, когда человѣкъ признаетъ объективность долга, а что въ противномъ случаѣ человѣкъ можетъ всегда, какъ только найдетъ это чувство для себя неудобнымъ, не обратить на него вниманія и совершенно избавиться отъ него, сдѣлавъ такое заключеніе: то, что меня удерживаетъ отъ совершенія такого-то поступка, т. е. совѣсть моя, есть мое субъективное чувство, слѣдовательно, съ пре-

кращеніемъ субъективнаго чувства прекратится и самая обязанность. Мы отвѣтимъ на это трансценденталистамъ, что возможность поступать вопреки совѣсти не составляетъ исключительной принадлежности утилитаріанизма, и что вѣра въ объективность долга не только не даетъ совѣсти такой силы, чтобы нарушеніе ея было невозможно, но что факты свидѣльствуютъ совершенно противное, и всѣ моралисты жалуются на легкость, съ какою люди заглушаютъ въ себѣ голосъ совѣсти. Долженъ ли я повиноваться голосу моей совѣсти? такой вопросъ точно также часто ставится и людьми, которые никогда даже и не слышали объ утилитаріанизмѣ, какъ и его послѣдователями, — но если человѣкъ, способный задаться такимъ вопросомъ, даетъ на это отвѣтъ положительный, то уже вѣрно не на основаніи трансцендентальной теоріи, а потому что его принуждаютъ къ этому какія нибудь внѣшнія санкціи.

Я не нахожу нужнымъ останавливаться на рѣшеніи вопроса: чувство долга есть ли врожденное или пріобрѣтенное. Если мы и предположимъ, что чувство долга есть врожденное въ человѣкѣ, то для насъ тѣмъ не менѣе останется нерѣшеннымъ вопросъ: въ чемъ же состоитъ самый долгъ? — такъ какъ всѣ философскіе поборники интуитивной школы согласны въ томъ, что непосредственному, интуитивному знанію доступны только общіе нравственные принципы, а не частныя ихъ примѣне-

нія. Мало этого: когда бы мы даже предположили, что человѣку врождено не только чувство долга вообще, но имѣнно чувство извѣстнаго опредѣленнаго долга, то я не вижу основанія, почему мы бы не могли признать, что этотъ врожденный долгъ и состоитъ въ томъ, чтобы стремиться къ доставленію счастія своимъ ближнимъ и къ избавленію ихъ отъ страданія; уже если существуетъ интунтивно обязательный нравственный принципъ, то я утверждаю, что именно этотъ, а не другой,— и если это такъ, то и прекращается всякій споръ между интуитивной школой и утилитаріанизмомъ. Во всякомъ случаѣ, какія бы врожденныя нравственныя обязанности ни признавали интуктивные моралисты, они необходимо должны признать между ними и утилитаріанскую обязанность, такъ какъ они единодушно признаютъ, что значительная часть нравственныхъ правилъ имѣетъ своимъ основаніемъ обязанность блюсти интересы своихъ ближнихъ. Слѣдовательно, если даже признать справедливымъ то утвержденіе, что будто трансцендентальное происхожденіе нравственной обязанности увеличиваетъ силу внутренней санкціи, то такое усиленіе санкціи равно существуетъ какъ для утилитаріанскаго принципа, такъ и для всякаго другаго.

Съ другой стороны, если мы и признаемъ, что нравственныя чувства не врожденны въ человѣкѣ, а пріобрѣтенныя (какъ я въ этомъ убѣжденъ), то тѣмъ

не менѣе все таки это—естественныя чувства. Человѣку естественно говорить, размышлять, строить дома, обработывать землю, но тѣмъ не менѣе это пріобрѣтенныя способности, а не врожденныя. Нравственныя чувства не составляютъ такой принадлежности нашей природы, которая была бы болѣе или менѣе осязательно присуща каждому изъ насъ, какъ это утверждаютъ наиболѣе ярые поборники трансцендентальнаго ихъ происхожденія,—онѣ не болѣе какъ только плодъ нашей природы, и подобно способности говорить, размышлять и т. д., хотя и могутъ до нѣкоторой незначительной степени проявляться внезапно, непосредственно, но развиться до высокой степени могутъ не иначе, какъ чрезъ надлежащій уходъ. Къ несчастію, съ помощію внѣшнихъ санкцій и подъ вліяніемъ первоначальныхъ впечатлѣній онѣ могутъ развиться въ какомъ угодно направленіи, такъ что едвали существуетъ такая нелѣпость или такое зло, которое бы не могло при посредствѣ этихъ вліяній пріобрѣсть для человѣка весь авторитетъ совѣсти. Сомнѣваться въ томъ, что принципъ пользы, хотя бы даже и не имѣлъ никакого корня въ человѣческой природѣ, можетъ пріобрѣсти для человѣка весь авторитетъ совѣсти съ помощію внѣшнихъ санкцій и впечатлѣній дѣтства, сомнѣваться въ этомъ—значило бы идти прямо на перекоръ опыту.

Но искуственно созданное чувство не можетъ

выдержать разлагающей силы анализа и необходимо должно исчезнуть съ прогрессомъ умственнаго развитія. Если утилитарное чувство долга есть искуственное, если оно не имѣетъ никакого корня въ нашей природѣ, не имѣетъ отзыва въ нашихъ чувствахъ, который бы дѣлалъ его намъ сроднымъ и побуждалъ насъ не только поддерживать его въ другихъ (на что у насъ найдется много эгоистическихъ мотивовъ), но и питать его въ самихъ себѣ,—однимъ словомъ, если это чувство не имѣетъ базиса въ нашей природѣ, то хотя бы намъ и удалось привить его искуственнымъ образомъ чрезъ воспитаніе, оно не выдержитъ анализа и исчезнетъ.

Но я утверждаю, что въ человѣческой природѣ существуетъ могущественное естественное чувство, которое можетъ служить прочнымъ базисомъ для утилитаріанской нравственности, и утилитаріанизмъ прочно утвердится на этомъ базисѣ, какъ только величайшее счастіе сдѣлается общепризнаннымъ верховнымъ этическимъ принципомъ. Этотъ базисъ есть чувство общительности, присущее человѣчеству, — желаніе единенія съ нашими ближними, которое и теперь уже имѣетъ громадное значеніе въ человѣческой жизни и, къ счастію, принадлежатъ къ числу тѣхъ свойствъ человѣка, которыя съ прогрессомъ цивилизаціи постоянно возрастаютъ въ своей силѣ даже безъ всякаго особеннаго за ними ухода. Жить въ обществѣ

такъ естественно, такъ необходимо, такъ свойственно человѣку, что за исключеніемъ развѣ только нѣкоторыхъ совершенно необычайныхъ обстоятельствъ или за исключеніемъ совершенно произвольной умственной абстракціи, человѣкъ и не можетъ себѣ представить самого себя иначе, какъ членомъ общества, и эта общительность все болѣе и болѣе крѣпнетъ, чѣмъ болѣе человѣчество отдаляется отъ своего первоначальнаго дикаго состоянія. Вникните въ это существенное условіе общественной жизни, — взаимное признаніе интересовъ, — безъ котораго невозможно никакое общеніе между людьми за исключеніемъ только отношеній господина къ рабу, — вникните, что общеніе между равными можетъ существовать только подъ условіемъ, чтобы интересы всѣхъ были равно признаны, что во всякомъ обществѣ, на какой бы ступени цивилизація оно ни находилось, каждый индивидуумъ, если только онъ не абсолютный монархъ, необходимо имѣетъ себѣ равныхъ, и слѣдовательно необходимо долженъ, хотя съ нѣкоторыми изъ себѣ подобныхъ, жить какъ равный съ равными, и что все движеніе обществъ постоянно совершается по направленію къ такому состоянію, когда наконецъ для каждаго индивидуума сдѣлается просто невозможностію имѣть какія либо отношенія къ кому нибудь изъ себѣ подобныхъ иначе какъ подъ условіемъ совершеннаго равенства, — вникните, что человѣчество съ про-

грессомъ цивилизаціи все болѣе и болѣе утрачиваетъ даже способность понимать возможность такого порядка вещей, въ которомъ бы одни люди не признавали интересовъ другихъ людей, что это существенное условіе общественной жизни — взаимное признаніе интересовъ,—все болѣе и болѣе сростается въ умѣ человѣческомъ съ тѣмъ порядкомъ вещей, который представляется человѣку, какъ бы естественнымъ порядкомъ, въ которомъ онъ рожденъ и жить въ которомъ есть его назначеніе,—вникните въ это, и тогда предъ вами разскроется вся великая будущность, какая возможна для утилитаріанизма. Человѣкъ не можетъ не чувствовать себя въ необходимости воздерживаться по крайней мѣрѣ отъ самыхъ грубыхъ нарушеній интересовъ своего ближняго, и хотя бы даже только изъ чувства самосохраненія, но онъ непремѣнно протестуетъ противъ такихъ нарушеній. Отсюда неизбѣжно вытекаетъ дѣйствіе сообща, и цѣлію поступковъ человѣка, хотя на время, становится уже не индивидуальный, а коллективный интересъ. При этомъ хотя и временномъ дѣйствіи сообща, цѣли человѣка отождествляются съ цѣлями другихъ, и хотя на время, но въ человѣкѣ возникаетъ сознаніе, что интересы другихъ могутъ быть и его личнымъ интересомъ. По мѣрѣ того, какъ общество ростетъ и общественныя узы болѣе крѣпнутъ, ростетъ и крѣпнетъ непосредственною силою опыта и лич-

ный интересъ каждаго индивидуума — соображать свои поступки съ интересами другихъ; индивидуальныя стремленія все болѣе и болѣе отождествляются съ общимъ благомъ, или, по крайней мѣрѣ, силою самаго опыта становятся все въ большую и большую зависимость отъ требованій общаго блага; человѣкъ такъ сказать инстинктивно приходитъ мало по малу къ тому, что сознаетъ себя существомъ, которое по самой природѣ своей необходимо должно принимать участіе въ интересахъ себѣ подобныхъ, и это участіе въ общемъ благѣ становится наконецъ для человѣка столь же необходимымъ и естественнымъ условіемъ его существованія, какъ и условія его физической природы. Какъ бы ни было слабо въ томъ или другомъ индивидуумѣ чувство участія къ общему благу, но, тѣмъ не менѣе, каждый индивидуумъ имѣетъ самые могущественные мотивы, истекающіе какъ изъ его личнаго интереса, такъ и изъ чувства симпатіи, которые побуждаютъ его питать въ себѣ это чувство и всѣми силами поощрять его въ другихъ; и если бы даже тотъ или другой индивидуумъ и вовсе не имѣлъ этого чувства, то онъ все таки же не менѣе всякаго другаго заинтересованъ тѣмъ, чтобы другіе люди его имѣли. Самые незначительные зародыши этого чувства могутъ легко окрѣпнуть подъ вліяніемъ симпатіи и воспитанія, а могущественное посредство внѣшнихъ санкцій можетъ оплесть ихъ цѣлой сѣтью усло-

вій, способствующихъ ихъ развитію. По мѣрѣ роста цивилизаціи единеніе человѣка со всѣми остальными людьми становится такъ сказать все болѣе и болѣе его естественнымъ состояніемъ. Съ каждымъ шагомъ на пути политическаго прогресса устраняются тѣ причины, которыми условливается противоположность интересовъ, сравниваются тѣ неравенства между индивидуумами или классами индивидуумовъ, тѣ легальныя привиллегіи, которыя до сихъ поръ еще дѣлаютъ возможнымъ непризнаніе интересовъ значительной части человѣчества. Съ каждымъ шагомъ на пути умственнаго прогресса постоянно усиливаются тѣ вліянія, которыя по самой природѣ своей тяготѣютъ возбудить въ каждомъ индивидуумѣ чувства единенія съ другими людьми, и чувство это можетъ развиться до такаго совершенства, что для человѣка сдѣлается невозможностію не только желаніе, но даже и самая мысль о такомъ личномъ благѣ, которое бы въ то же время не было и благомъ всѣхъ. Предположите, что это чувство единенія будетъ насаждаться въ сердцахъ людей съ такимъ же рвеніемъ, съ какимъ теперь насаждается религія, что воспитаніе, учрежденія, общественное мнѣніе будутъ служить на его пользу съ такимъ же усердіемъ, съ какимъ нѣкогда служили религіи, что каждый человѣкъ отъ самаго дѣтства будетъ постоянно окруженъ утилитаріанами какъ по убѣжденіямъ, такъ и по поступкамъ, — предполо-

жите все это и постарайтесь реализировать это предположеніе въ вашемъ умѣ. Я утверждаю, что тотъ человѣкъ, котораго умъ окажется способнымъ сдѣлать эту реализацію, навсегда покончитъ со всякимъ сомнѣніемъ касательно достаточности верховной санкціи утилитаріанизма. Тѣмъ изъ изучающихъ этику, которые затруднятся въ этой реализаціи, я совѣтую прочесть Traité de Politique Positive Конта. Я имѣю весьма сильныя возраженія какъ противъ политической, такъ и противъ нравственной системы Конта, но въ этомъ сочиненіи весьма наглядно разскрыта та истина, что человѣчество кромѣ вѣры въ Провидѣніе можетъ имѣть въ своемъ распоряженіи не только не меньшую психическую и общественную силу, какую даетъ ему теперь религія, но что эта сила можетъ до такой степени обхватить всю человѣческую жизнь, овладѣть всѣми мыслями, всѣми чувствами, всѣми дѣйствіями человѣка, какъ этого никогда не въ состояніи была сдѣлать ни одна, даже самая могущественная по своему вліянію религія, и если тутъ есть какая опасность, то опасность не въ томъ, что эта сила будетъ недостаточна, а въ томъ, что она будетъ чрезмѣрна и можетъ не соблюсти должныхъ границъ по отношенію къ человѣческой свободѣ и индивидуальности.

Верховная санкція утилитаріанской нравственности существуетъ для утилитаріанина и безъ по-

средства тѣхъ общественныхъ вліяній, которыя, какъ я говорилъ, могутъ установить ея окончательное господство надъ всѣмъ человѣчествомъ. Конечно, въ этотъ сравнительно ранній періодъ человѣческаго развитія, въ какой мы теперь живемъ, человѣкъ не можетъ дойти до такой полноты единенія съ другими, чтобы для него сдѣлалось даже невозможнымъ всякое разнорѣчіе съ общими стремленіями; но и теперь для каждаго, въ комъ развито общественное чувство, сдѣлалось невозможностію смотрѣть на людей, какъ на своихъ соперниковъ, которые съ нимъ борятся изъ за средства къ достиженію счастія и которымъ онъ долженъ желать неудачи изъ за собственнаго успѣха. И теперь уже въ каждомъ индивидуумѣ довольно глубоко вкоренилось сознаніе, что онъ существо общественное, и для него сдѣлалось какъ бы естественной потребностію чтобы его личныя чувства и стремленія были въ гармоніи съ чувствами и стремленіями другихъ людей. Если различіе въ мнѣніяхъ и различіе въ умственномъ образованіи и дѣлаетъ для человѣка иногда невозможнымъ въ настоящее время раздѣлять нѣкоторыя изъ тѣхъ чувствъ, которыя одушевляютъ его ближнихъ,—если человѣкъ иногда и чувствуетъ себя вынужденнымъ порицать ихъ и противодѣйствовать имъ, но тѣмъ не менѣе онъ нуждается въ сознаніи, что на самомъ дѣлѣ его цѣли не противорѣчатъ цѣлямъ другихъ, что онъ на

самомъ дѣлѣ нисколько не противодѣйствуетъ тому, чего другіе себѣ желаютъ, то есть ихъ благу, а напротивъ содѣйствуетъ этому. Въ большей части индивидуумовъ это чувство теперь значительно слабѣе ихъ эгоистическихъ стремленій и часто даже совершенно въ нихъ отсутствуетъ. Но въ тѣхъ, у кого оно есть, оно имѣетъ весь характеръ естественнаго чувства. Оно представляется ихъ уму не какъ предубѣжденіе, навязанное воспитаніемъ, не какъ законъ, деспотически наложенный на нихъ общественною властію, но какъ такая ихъ принадлежность, безъ которой имъ тяжело было бы жить. Такое убѣжденіе и есть верховная санкція утилитаріанизма; это и есть то, что заставляетъ умъ и чувство правильно развитаго человѣка не противодѣйствовать, а содѣйствовать тѣмъ внѣшнимъ мотивамъ, которые побуждаютъ заботиться о благѣ другихъ. Эти внѣшніе мотивы обыкновенно подкрѣпляются внѣшними санкціями, а когда этихъ санкцій нѣтъ, или когда онѣ дѣйствуютъ въ противоположномъ направленіи, то чувство участія къ общему благу и само по себѣ имѣетъ могущественную внутреннюю принудительную силу, степень которой условливается силою ума и чувствъ индивидуума. Только тѣ немногіе люди, у которыхъ нѣтъ никакого нравственнаго чувства,—только тѣ могутъ оставаться совершенно чужды общему благу и не принимать въ немъ никакого участія, если этого не требуетъ ихъ личный интересъ.

ГЛАВА IV.

О доказательности принципа пользы.

Вопросы о конечныхъ цѣляхъ, какъ я уже говорилъ, не подлежатъ доказательству, если понимать слово „доказательство“ въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно обыкновенно употребляется. Вообще всѣ первичные принципы, всѣ первыя посылки какъ нашего знанія, такъ и нашей нравственности, не могутъ быть непосредственно предметомъ разсудочнаго доказательства. Но первыя посылки знанія суть факты и подлежатъ непосредственному вѣденію тѣхъ нашихъ способностей, съ помощію которыхъ познаётся нами существованіе фактовъ а именно: вѣденію нашихъ внѣшнихъ чувствъ и нашего внутренняго сознанія. Не можемъ ли мы обратиться къ этимъ же способностямъ и по вопросамъ о конечныхъ цѣляхъ? или же эти вопросы подлежатъ какой-либо другой способности?

Выраженіе: вопросы о конечныхъ цѣляхъ, можно перефразировать такъ: вопросы о томъ, что желательно. Утилитаріанская доктрина говоритъ, что желательно—счастіе, что оно одно только и желательно, какъ цѣль, а что все прочее желательно только потому, что составляетъ средство для его достиженія. Чего должны мы требовать отъ этой доктрины,—какія условія должна она выполнить, чтобы ея утвержденіе стало для насъ истиной?

Что такой то предметъ виденъ, такой то звукъ слышенъ,—мы не можемъ представить на это никакого другаго доказательства, какъ только то, что его всѣ видятъ, всѣ слышатъ: такова доказательность всякаго опытнаго знанія. Что такой то предметъ желателенъ, — мы точно также не можемъ представить на это никакого другаго доказательства, какъ только то, что его всѣ желаютъ. Если бы жизнь дѣйствительно не имѣла той цѣли, которую признаетъ за ней утилитаріанская доктрина, то и не было бы никакой возможности убѣдить кого нибудь въ томъ, что такова дѣйствительно цѣль жизни. Что общее счастіе желательно — на это можетъ быть только одно доказательство: что каждый человѣкъ желаетъ себѣ счастія, на сколько считаетъ его для себя достижимымъ. Желаніе человѣкомъ счастія есть фактъ; существованіе такого факта составляетъ совершенно полное доказательство, какое только возможно по существу вопроса и какого только можно требовать, — полное

доказательство того, что счастіе есть благо, а если для каждаго человѣка его счастіе есть благо, то общее счастіе есть общее благо, и слѣдовательно тотъ фактъ, что человѣкъ желаетъ себѣ счастія, составляетъ полное доказательство того, что счастіе есть одна изъ цѣлей человѣческихъ поступковъ, а, стало быть, и одинъ изъ критеріумовъ нравственности.

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, что бы счастіе составляло единственный критеріумъ нравственности. Для этого недостаточно доказать, что всѣ желаютъ счастія, но надо еще доказать, что всѣ ничего иного, кромѣ счастія, и не желаютъ. Мы знаемъ несомнѣнно, что люди желаютъ и такихъ предметовъ, которые на общепринятомъ языкѣ не называются счастіемъ и которые обыкновенно признаются, какъ нѣчто совершенно различное отъ счастія, такъ напр. люди желаютъ добродѣтели и отсутствія порока, и хотя это желаніе не есть фактъ столь же всеобщій, какъ желаніе счастія, но тѣмъ не менѣе это — фактъ несомнѣнный. Опираясь на этотъ фактъ, противники утилитаріанизма утверждаютъ, что человѣкъ имѣетъ и другія цѣли, кромѣ счастія, и слѣдовательно счастіе не есть единственное мѣрило добра и зла.

Но развѣ утилитаріанская доктрина отрицаетъ, что люди желаютъ добродѣтели? Развѣ она утверждаетъ, что добродѣтель не можетъ быть желательна? Напротивъ, она признаетъ, что до-

бродѣтель не только желательна, но и можетъ быть желаема совершенно безкорыстно, ради самой себя. Каково бы ни было мнѣніе утилитаріанъ касательно основныхъ условій, которыя дѣлаютъ добродѣтель добродѣтелью, — хотя бы они и признавали (какъ это они и признаютъ на самомъ дѣлѣ), что поступки и намѣренія людей могутъ быть добродѣтельны только тогда, когда имѣютъ другую цѣль, а не самую добродѣтель, — какими бы соображеніями они ни руководились при оцѣнкѣ поступка, добродѣтеленъ онъ или недобродѣтеленъ, во всякомъ случаѣ они не только признаютъ за добродѣтелью первое мѣсто въ числѣ тѣхъ предметовъ, которые суть благо, потому что ведутъ къ конечной цѣли — счастію, но они кромѣ того признаютъ, какъ психологическій фактъ, что добродѣтель можетъ быть для индивидуума благомъ и сама по себѣ, независимо отъ всякой другой цѣли. Мало этого: утилитаріане утверждаютъ, что внутренняя жизнь того индивидуума, для котораго добродѣтель не есть благо сама по себѣ, не есть вещь желательная ради самой себя, даже и при томъ условіи, когда бы въ данномъ случаѣ и не вела за собой тѣхъ послѣдствій, какія обыкновенно производитъ и ради которыхъ она только и признается добродѣтелью, — они утверждаютъ, что внутренняя жизнь такого индивидуума находится не въ томъ состояніи, которое наиболѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ пользы и наиболѣе способ-

ствуетъ къ достиженію общаго счастія. Утверждая это, утилитаріане нисколько не отступаютъ отъ своего принципа. Ингредіенты счастія очень разнообразны и каждый изъ нихъ желателенъ самъ по себѣ, а не только, какъ дополненіе къ цѣлому. Утилитаріанизмъ вовсе не утверждаетъ, что бы удовольствіе, напр. музыка, или отсутствіе страданія, напр. здоровье, было только средствомъ къ чему-то коллективному, называемому счастіемъ, и было желательно только какъ средство. Всякое наслажденіе и всякое отсутствіе страданія желаются и желательны сами по себѣ и ради самихъ себя; онѣ не только средства къ достиженію цѣли, но и части этой цѣли. Утилитаріанская доктрина признаетъ, что хотя добродѣтель по существу и по происхожденію своему не есть часть конечной цѣли, но можетъ сдѣлаться этой частію, что для тѣхъ, кто ее безкорыстно любитъ, она и есть часть цѣли,—она любится и желается ими не какъ средство къ достиженію счастія, но какъ часть самого счастія.

Это требуетъ разъясненія. Припомнимъ, что по утилитаріанской доктринѣ добродѣтель въ сущности не есть цѣль, а только средство для достиженія цѣли, и что если бы она не была средствомъ, а сама составляла бы цѣль, то и не была бы благомъ; слѣдовательно не какъ цѣль, но единственно потому, что составляетъ средство для достиженія цѣли, и можетъ она сдѣлаться желатель-

ной сама по себѣ и даже весьма желательной. Объяснимся примѣромъ. По существу своему деньги не болѣе для насъ желательны, чѣмъ и какіе нибудь другіе блестящіе камешки. Главное ихъ достоинство въ нашихъ глазахъ состоитъ въ томъ, что на нихъ можно купить другія вещи, и слѣдовательно, если онѣ составляютъ для насъ предметъ желанія, то не сами по себѣ, а какъ средство имѣть желаемое. Однако не только любовь къ деньгамъ, какъ къ средству имѣть другія вещи, есть одинъ изъ главныхъ двигателей въ жизни человѣка, но мы нерѣдко видимъ, что деньги становятся предметомъ желанія сами по себѣ и ради самихъ себя, что въ нѣкоторыхъ индивидуумахъ желаніе имѣть ихъ сильнѣе, чѣмъ желаніе пользоваться ими, и что такая любовь къ нимъ не только не уменьшается, но даже все болѣе и болѣе усиливается по мѣрѣ того, какъ ослабляется то желаніе, ради котораго они сдѣлались желательны. И такъ мы можемъ сказать, что деньги не только желательны ради цѣли, но могутъ быть желательны и сами по себѣ, какъ часть цѣли; вслѣдствіе своего значенія, какъ средство къ достиженію счастія, они становятся для нѣкоторыхъ индивидуумовъ главнымъ ингредіентомъ самаго ихъ счастія. Тоже самое происходитъ и съ большею частію другихъ главныхъ стремленій человѣческой жизни, какъ напр. власть, слава,—съ тѣмъ впрочемъ различіемъ, что каждое изъ нихъ до нѣко-

торой степени доставляетъ непосредственное удовольствіе человѣку, которое какъ будто имъ самимъ присуще, чего нельзя сказать о деньгахъ. Сильная привлекательность власти и славы заключается въ томъ, что онѣ составляютъ могущественное средство для достиженія другихъ нашихъ желаній, и что тѣсная связь между ними и другими нашими желаніями даетъ имъ иногда такую привлекательность, что они сами по себѣ становятся главнымъ желаніемъ человѣка; въ такихъ случаяхъ они изъ средства превращаются въ часть конечной цѣли, и притомъ въ такую часть, которая важнѣе всѣхъ тѣхъ частей цѣли, по отношенію къ которымъ онѣ составляютъ средство. Такимъ образомъ то, что было желательно, какъ орудіе къ достиженію счастія, становится желательно ради самого себя; но такое превращеніе средствъ въ цѣль происходитъ не иначе, какъ подъ условіемъ, что это средство само становится частію счастія, слѣдовательно цѣль остается все та же — счастіе. Несомнѣнно, что человѣкъ дѣлается иногда счастливъ или бываетъ убѣжденъ, что сдѣлается счастливъ отъ одного только обладанія такими предметами, которые по существу своему не болѣе, какъ средства къ достиженію счастія, — и несомнѣнно также, что неимѣніе этихъ предметовъ иногда дѣлаетъ человѣка на самомъ дѣлѣ несчастливымъ. Желаніе такихъ предметовъ не есть что либо различное отъ желанія счастія, а на-

противъ, это его составныя части, элементы, такъ какъ счастіе не есть абстрактная идея, а конкретное цѣлое, состоящее изъ частей. Такое превращеніе средствъ въ цѣль, т. е. въ часть самого счастія, не только признается, но и одобряется утилитаріанской доктриной. Жизнь была бы очень бѣдна, источники счастія были бы слишкомъ скудны, если бы природа не допустила этого превращенія средствъ къ наслажденію въ самое наслажденіе, и даже иногда такое, которое по своей продолжительности и по своей интенсивности болѣе цѣнно, чѣмъ то наслажденіе, по отношенію къ которому оно было средствомъ.

По утилитаріанской доктринѣ добродѣтель есть такого же рода благо. Человѣкъ не имѣетъ ни малѣйшаго побужденія, ни малѣйшаго желанія быть добродѣтельнымъ ради того только, чтобы быть добродѣтельнымъ; добродѣтель возбуждаетъ его желаніе только потому, что составляетъ средство получить наслажденіе и, въ особенности, устранить страданіе, и единственно вслѣдствіе своего значенія, какъ средства къ достиженію счастія, можетъ она стать для человѣка сама благомъ, и даже наиболѣе желательнымъ, чѣмъ какое либо другое благо. И такъ любовь къ добродѣтели имѣетъ совершенно одно и то же значеніе, какъ и любовь къ деньгамъ, къ власти, славѣ; вся разница между ними въ томъ, что безкорыстная любовь къ добродѣтели дѣлаетъ человѣка самымъ полезнымъ

членомъ общества, а любовь къ деньгамъ, къ власти, къ славѣ, можетъ сдѣлать, и на самомъ дѣлѣ часто дѣлаетъ его членомъ вреднымъ. Утилитаріанская доктрина требуетъ со всею энергіею наивозможно большаго развитія безкорыстной любви къ добродѣтели, признавая это чувство самымъ могучимъ орудіемъ къ достиженію счастія; другія же производныя желанія она признаетъ и одобряетъ только условно, когда они приносятъ пользу, а не вредъ общему счастію.

Изъ представленныхъ нами соображеній оказывается, что человѣкъ въ дѣйствительности ничего инаго и не желаетъ, какъ только счастія. Все имъ желаемое потому только и желается, что составляетъ или средство къ достиженію счастія, или часть самого счастія, и все имъ желаемое не какъ средство къ счастію, а само по себѣ какъ цѣль, не прежде дѣлается предметомъ его желанія, какъ сдѣлавшись для него частію его счастія. Желающіе добродѣтели ради самой добродѣтели получаютъ это желаніе или вслѣдствіе сознанія, что быть добродѣтельнымъ доставляетъ наслажденіе, или же вслѣдствіе сознанія, что быть недобродѣтельнымъ причиняетъ страданіе, или же наконецъ по обѣимъ этимъ причинамъ вмѣстѣ. И въ самомъ дѣлѣ, наслажденіе и страданіе рѣдко существуютъ раздѣльно, а почти всегда вмѣстѣ: человѣкъ чувствуетъ наслажденіе, достигая извѣстной степени добродѣтели, и — вмѣстѣ стра-

данiе, что не достигъ ея въ большей степени. Если же достиженiе человѣкомъ извѣстной степени добродѣтели не доставляетъ ему наслажденiя, и въ то же время недостиженiе ея въ большей степени не причиняетъ ему страданiя, то значитъ онъ любитъ и желаетъ добродѣтель не ради ея самой, какъ часть своего счастiя, а только какъ средство, которое приноситъ пользу ему лично или любимымъ имъ людямъ.

И такъ мы теперь имѣемъ отвѣтъ на вопросъ: какъ можетъ быть доказанъ принципъ пользы? Если высказанное мною мнѣнiе психологически вѣрно,—если дѣйствительно человѣческая природа такъ устроена, что человѣкъ ничего инаго не желаетъ, какъ только того, что или само составляетъ часть счастiя или есть средство къ счастiю, то на это не могутъ отъ насъ требовать и мы не можемъ представить никакого другого доказательства, какъ только то, что это суть единственныя желаемыя человѣкомъ вещи, — и если человѣкъ дѣйствительно ничего иного не желаетъ, то въ такомъ случаѣ счастiе составляетъ единственную цѣль человѣческихъ поступковъ, и степень достигаемаго поступками счастiя есть мѣрило для ихъ оцѣнки; отсюда необходимо слѣдуетъ, что счастiе есть критерiумъ нравственности, потому что часть необходимо заключается въ цѣломъ.

Теперь намъ остается только доказать, что ингредiенты счастiя и средства къ достиженiю счастiя

суть единственныя вещи, которыхъ желаетъ человѣчество, или на оборотъ: что человѣчество ничего не желаетъ, какъ цѣли, что не есть наслажденіе или отсутствіе страданія. Мы очевидно пришли къ вопросу чисто фактическому, опытному, который, какъ и всѣ подобные вопросы, можетъ быть рѣшенъ только на основаніи свидѣтельскихъ показаній, а эти показанія могутъ намъ дать только наше путемъ опыта добытое само-сознаніе и наше само-наблюденіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и наблюденіе другихъ людей. Я утверждаю, что если допросить этихъ свидѣтелей безпристрастно, то они покажутъ намъ, что желать чего нибудь и находить что нибудь пріятнымъ, суть совершенно нераздѣльные феномены, или скорѣе двѣ части одного и того же феномена, или, строго говоря, два различные пріема для названія одного и того же психологическаго факта: находить, что такой то предметъ для насъ желателенъ (самъ по себѣ, а не ради его послѣдствій) и находить, что онъ пріятенъ,—совершенно одно и тоже; желаніе чего бы то ни было всегда пропорціонально идеѣ о пріятности желаемаго, — иначе быть не можетъ, потому что противное этому составляетъ и физическую, и метафизическую невозможность.

Мнѣ это представляется до того очевиднымъ, что я считаю едва ли даже возможнымъ, чтобы кто нибудь могъ утверждать, что конечною цѣлью человѣческихъ желаній можетъ быть также и что

либо иное, а не только наслажденіе и отсутствіе страданія; но я ожидаю возраженія съ совершенно другой стороны. Мнѣ могутъ возразить, что воля и желаніе—не одно и то же, что человѣкъ твердый въ добродѣтели, или же съ твердо установившимися цѣлями, преслѣдуетъ свои цѣли, нисколько не думая о томъ наслажденіи, которое ему доставляетъ сознаніе этихъ цѣлей или какое ему предстоитъ отъ ихъ выполненія, и продолжаетъ стремиться къ нимъ, даже когда эти наслажденія сильно уменьшаются для него вслѣдствіе ли какой перемѣны въ его характерѣ, или вслѣдствіе притупленія воспріимчивости его чувствъ, или же наконецъ по тому, что его сильно тяготятъ тѣ страданія, съ которыми соединено для него преслѣдованіе этихъ цѣлей. Все это я не только вполнѣ допускаю, но и самъ положительно утверждалъ это въ другомъ мѣстѣ. Воля и желаніе—дѣйствительно не одно и то же: воля есть феноменъ активный, а желаніе — состояніе пассивной воспріимчивости. Хотя въ сущности воля есть ничто иное, какъ отпрыскъ желанія, но иногда она пускаетъ свои особые корни и становится не только независимою отъ своего роднаго ствола, но даже когда мы преслѣдуемъ какую нибудь привычную намъ цѣль, бываетъ такъ, что мы хотимъ чего нибудь не потому, что этого желаемъ, а желаемъ единственно потому только, что хотимъ. Но такого рода явленія не составляютъ исклю-

чительной принадлежности добродѣтельныхъ поступковъ, а встрѣчаются безразлично въ поступкахъ всякаго рода, — они свидѣтельствуютъ только о присутствіи въ данномъ случаѣ весьма обыкновеннаго факта — силы привычки, но не свидѣтельствуютъ о качествѣ поступка. Многое, совершенно безразличное въ нравственномъ отношеніи, дѣлается людьми сначала по какому нибудь мотиву, а потомъ обращается въ привычку, и они дѣлаютъ это уже совершенно безсознательно, такъ что сознаніе приходитъ послѣ совершенія поступка, — или же иногда и съ сознательнымъ хотѣніемъ, но хотѣніе это сдѣлалось для нихъ привычнымъ и приводится въ дѣйствіе силою привычки вопреки даже требованіямъ разсудка, какъ это бываетъ съ людьми, у которыхъ вошли въ привычку какія нибудь порочныя или вредныя слабости, — или же, наконецъ, бываетъ и такъ, что привычный актъ воли не только не противорѣчитъ, но даже содѣйствуетъ къ достиженію тѣхъ стремленій, которыя преобладаютъ въ человѣкѣ въ то время, когда онъ не находится подъ вліяніемъ привычки: такъ бываетъ это у людей твердыхъ въ добродѣтели, и у всѣхъ тѣхъ, кто разумно и твердо стремится къ достиженію опредѣленной цѣли. Такое различіе между волей и желаніемъ есть несомнѣнный и въ высшей степени важный психологическій фактъ, но фактъ этотъ состоитъ единственно въ томъ, что воля можетъ подчиняться

привычкѣ, и мы изъ привычки можемъ хотѣть того, чего уже болѣе не желаемъ, или желать чего нибудь потому только, что хотимъ. Это нисколько не противорѣчитъ тому, что воля по происхожденію своему есть продуктъ желанія, разумѣя подъ желаніемъ и отталкивающую силу страданія и притягательную силу наслажденія. Возьмемъ для примѣра не человѣка съ твердо установившейся волей поступать всегда согласно съ требованіями добродѣтели, а такого человѣка, у котораго воля слаба, податлива на искушеніе и вообще не надежна, — какими средствами можно укоренить въ такомъ человѣкѣ добрую волю? Какъ можно направить волю къ добродѣтели, какъ насадить ее или возбудить ее тамъ, гдѣ ея нѣтъ? На это одно средство: возбудить въ человѣкѣ желаніе добродѣтели, — возбудить въ немъ такое понятіе о добродѣтели, съ которымъ бы соединялось представленіе о наслажденіи или объ избавленіи отъ страданія. Надо вызвать въ человѣкѣ сознаніе, что поступать хорошо составляетъ наслажденіе, а поступать дурно — страданіе, надо это разъяснить ему, напечатлѣть въ его умѣ, доказать ему это его собственнымъ опытомъ, — только этимъ и можно направить волю къ добродѣтели, а потомъ, когда уже она утвердится на этомъ пути, то будетъ поступать добродѣтельно и безъ всякой мысли о наслажденіи или страданіи. Воля есть дитя желанія, и, выходя изъ подъ власти своего роди-

теля, подчиняется власти привычки; но такъ какъ привычка по самому своему существу не можетъ имѣть ни малѣйшаго притязанія производить только благія послѣдствія, а не вредныя, то, слѣдовательно, единственное основаніе, почему можно желать, чтобы стремленіе къ добродѣтели было независимо отъ наслажденія и страданія, состоитъ въ томъ, что чрезъ подчиненіе воли привычкѣ образъ дѣйствій человѣка получаетъ большую твердость и большее постоянство, чѣмъ при подчиненіи воли желанію. Привычка придаетъ особенную прочность чувствамъ и поступкамъ человѣка, а для людей въ высшей степени важно, чтобы они могли положиться на чувства и поступки своего ближняго, и не менѣе важно для каждаго индивидуума, чтобы онъ могъ положиться на самого себя. Вотъ почему только и можетъ быть желательно, чтобы воля освобождалась изъ подъ зависимости отъ желанія и поступала подъ зависимость отъ привычки,—другими словами: состояніе воли подъ властію привычки есть средство къ добру, а не есть само по себѣ добро, и, слѣдовательно, признавая такое состояніе воли желательнымъ по отношенію къ добродѣтели, то есть признавая желательнымъ, чтобы добродѣтель желалась ради самой себя, мы этимъ нисколько не противорѣчимъ доктринѣ, что только то и есть благо для человѣка, что есть наслажденіе или

средство къ достиженію наслажденія или къ избавленію отъ страданія.

Если эта доктрина справедлива, то принципъ пользы окончательно доказанъ. Но дѣйствительно ли это такъ,—дѣйствительно ли человѣкъ ничего иначе не желаетъ, какъ только наслажденія или отсутствія страданія: это долженъ рѣшить самъ мыслящій читатель.

ГЛАВА V.

Какая связь между справедливостію и пользою.

Понятіе о справедливости было во всѣ эпохи спекулятивнаго мышленія однимъ изъ главныхъ препятствій къ признанію утилитаріанской доктрины. Чувство справедливости проявляется въ человѣкѣ, повидимому, столь непосредственно и съ такой опредѣленностью, что составляетъ какъ будто инстинктъ, съ помощію котораго человѣкъ прямо распознаетъ, что справедливо и что несправедливо; вслѣдствіе этого большая часть мыслителей приходила къ тому заключенію, что справедливость есть качество, присущее внѣшнему міру, и существуетъ въ природѣ какъ нѣчто абсолютное,—что оно есть явленіе совершенно особеннаго рода, различное отъ всѣхъ возможныхъ видовъ пользы, и по идеѣ даже противоположное пользѣ, хотя (какъ это всѣми признается) въ дѣйстви-

тельной жизни никогда не расходится съ нею на долгое время.

Замѣтимъ прежде всего, что между вопросомъ о происхожденіи чувства и вопросомъ объ его принудительной силѣ нѣтъ никакой необходимой связи. Это замѣчаніе одинаково вѣрно и по отношенію къ справедливости, какъ и по отношенію къ другимъ нашимъ нравственнымъ чувствамъ. Если бы мы и признали извѣстное чувство врожденнымъ въ человѣкѣ, то изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы мы должны были необходимо признать законными всѣ его проявленія. Предположимъ, что чувство справедливости существуетъ въ человѣкѣ, какъ особый инстинктъ, то и въ такомъ случаѣ оно должно подлежать контролю и руководству разума. Если бы у насъ существовали интеллектуальные инстинкты, которые побуждали бы насъ слѣдовать тому или другому пути въ нашихъ сужденіяхъ, подобно тому, какъ животные инстинкты побуждаютъ насъ совершать тѣ или другіе поступки, то мы не имѣли бы никакого основанія считать эти интеллектуальные инстинкты болѣе непогрѣшимыми въ ихъ сферѣ, чѣмъ животные — въ ихъ; слѣдуя интеллектуальнымъ инстинктамъ, мы точно также могли бы дѣлать ложныя сужденія, какъ слѣдуя нашимъ животнымъ инстинктамъ совершаемъ иногда дурные поступки. Очевидно, что признавать чувство справедливости врожденнымъ въ человѣкѣ, или признавать его

верховнымъ критеріумомъ человѣческихъ поступковъ — не одно и то же; но тѣмъ не менѣе на фактѣ между обоими этими мнѣніями существуетъ тѣсная связь. Не зная, какъ объяснить то или другое субъективное чувство, люди всегда склонны видѣть въ этомъ чувствѣ разкрытіе какой нибудь объективной реальности. Намъ предстоитъ изслѣдовать, есть ли надобность въ какомъ либо спеціальномъ средствѣ для разкрытія той реальности, которой соотвѣтствуетъ чувство справедливости,—справедливость или несправедливость поступка есть ли нѣчто, существующее въ немъ само по себѣ и совершенно различное отъ всѣхъ другихъ его качествъ, или же только комбинація нѣкоторыхъ изъ его качествъ, вслѣдствіе которой эти качества являются въ совершенно новомъ видѣ. Для такого изслѣдованія необходимо разсмотрѣть: есть ли самое чувство справедливости и несправедливости — чувство sui generis, подобно ощущенію цвѣта, вкуса, или же это естъ чувство производное, образовавшееся чрезъ комбинацію другихъ чувствъ; разсмотрѣть это тѣмъ болѣе необходимо, такъ какъ люди вообще охотно признаютъ, что требованія справедливости объективно сходятся съ требованіями пользы, но въ то же время они отказываютъ признать справедливость за особый видъ или вѣтвь пользы,—они видятъ къ этому препятствіе въ томъ, что субъективное чувство справедливости различно отъ

того чувства, которое вызывается представленіемъ о выгодѣ, и, за исключеніемъ только весьма рѣдкихъ случаевъ, гораздо непреклоннѣе его въ своихъ требованіяхъ, и—думаютъ, что присущая чувству справедливости высшая степень принудительной силы есть несомнѣнный признакъ особеннаго его происхожденія.

Чтобы уяснить этотъ вопросъ, необходимо попытаться опредѣлить, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ справедливости или несправедливости, — существуетъ ли какое особенное свойство, которое бы составляло исключительную принадлежность образа дѣйствія, называемаго несправедливымъ (справедливость, какъ и большая часть другихъ нравственныхъ аттрибутовъ, всего лучше опредѣляется отъ противнаго), и отличало бы его отъ другаго образа дѣйствія, который также не одобряется людьми, но только по другимъ основаніямъ, а не потому, что не выполняетъ требованій справедливости, — и, наконецъ, если такое свойство существуетъ, то въ чемъ состоитъ его отличительный характеръ отъ другихъ свойствъ. Если мы найдемъ, что дѣйствительно тому образу дѣйствія, который признается справедливымъ или несправедливымъ, присущъ какой нибудь особый аттрибутъ или комбинація аттрибутовъ, то намъ надо будетъ изслѣдовать, способенъ ли этотъ аттрибутъ или комбинація аттрибутовъ, по общимъ законамъ нашей нравственной природы, вызывать

въ человѣкѣ то чувство, которое называется чувствомъ справедливости, или же это чувство необъяснимо этимъ путемъ и должно быть признано какъ особый даръ природы. Въ первомъ случаѣ, разрѣшая частный вопросъ, мы разрѣшимъ вмѣстѣ и главную проблему; во второмъ же случаѣ намъ надо будетъ поискать другихъ путей для ея разрѣшенія.

Для того, чтобы разскрыть, какіе общіе аттрибуты присущи извѣстнымъ объектамъ, необходимо прежде всего обозрѣть всѣ эти объекты въ ихъ конкретности; поэтому я начну мое изслѣдованіе съ того, что разсмотрю одинъ за другимъ разные образы дѣйствія и разные человѣческіе порядки, которые по общему или по крайней мѣрѣ весьма распространенному мнѣнію, признаются справедливыми или несправедливыми. Предметы, подошедшіе подъ оцѣнку чувства справедливости, весьма разнообразны. Я только бѣгло просмотрю ихъ, не вдаваясь въ частности.

Во первыхъ: считается несправедливымъ лишить кого либо личной свободы, собственности или чего иного, что принадлежитъ ему по закону. Въ этомъ случаѣ выраженія „справедливый“ и „несправедливый“ имѣютъ точно опредѣленный смыслъ: справедливо уважать, несправедливо нарушать законныя права кого бы то ни было. Но это правило допускаетъ нѣкоторыя исключенія вслѣдствіе различія формъ, въ которыхъ проявляется идея спра-

ведливости и несправедливости, напримѣръ когда лишается кто либо такого права, котораго онъ не долженъ имѣть. Мы сейчасъ разсмотримъ этотъ случай. Итакъ,

Во вторыхъ: законныя права, которыхъ лишается кто либо, могутъ быть такія, которыя не должны принадлежать этому лицу,—другими словами: законъ, дающій ему эти права, можетъ быть дурной законъ. Справедливо или несправедливо нарушать дурной законъ (дѣйствительно ли законъ дуренъ или нѣтъ, — это въ настоящемъ случаѣ для насъ совершенно безразлично): мнѣнія объ этомъ различны. Одни утверждаютъ, что каждый гражданинъ обязанъ исполнять всякій законъ, какъ бы онъ ни былъ дуренъ, и всѣ дѣйствія гражданина противъ существующаго закона должны ограничиваться только усиліями подвигнуть компетентную власть къ его измѣненію (это мнѣніе заключаетъ въ себѣ осужденіе самыхъ великихъ благодѣтелей человѣчества, — оно ограждаетъ самыя зловредныя учрежденія отъ единственнаго оружія, которое при извѣстномъ порядкѣ вещей только и можетъ быть съ успѣхомъ употреблено противъ нихъ). Мнѣніе это опирается на соображенія пользы, и главнымъ образомъ на то соображеніе, что для общаго блага людей въ высшей степени важно, сохранять ненарушимымъ чувство подчиненія закону. Другіе же утверждаютъ совершенно противное; они говорятъ, что справедливо

не повиноваться дурному закону даже и въ томъ случаѣ, если бы этотъ законъ и не былъ несправедливъ, а только безполезенъ. Нѣкоторые признаютъ справедливымъ только неповиновеніе несправедливому закону; на это другіе отвѣчаютъ, что если законъ безполезенъ, то значитъ и несправедливъ, такъ какъ всякій законъ въ чемъ нибудь ограничиваетъ естественную свободу человѣка, а ограниченіе свободы, какое бы то ни было, всегда несправедливо, когда оно неполезно, т. е. не ведетъ къ благу. Всѣ эти различныя мнѣнія, повидимому, одинаково признаютъ, что могутъ быть несправедливые законы, и, слѣдовательно, законъ не есть верховный критеріумъ справедливости, а напротивъ, можетъ быть для однихъ несправедливо выгоденъ, а для другихъ несправедливо вреденъ. Какъ въ признаніи того или другаго закона несправедливымъ, такъ и въ признаніи несправедливымъ нарушенія закона, т. е. какого нибудь права (какъ я это привелъ въ первомъ примѣрѣ), въ обоихъ этихъ сужденіяхъ исходятъ, какъ кажется, изъ одной и той же точки зрѣнія; но эта точка зрѣнія по вопросу о несправедливости закона, очевидно, не есть легальное право, слѣдовательно, оба сужденія исходятъ не съ точки зрѣнія легальнаго права, а другаго, которое называется нравственнымъ правомъ. И такъ нашъ второй примѣръ несправедливости

состоитъ въ лишеніи кого нибудь того, на что онъ имѣетъ нравственное право.

Въ третьихъ: всѣми признается справедливымъ, чтобы каждый получалъ то, что заслужилъ, и несправедливымъ, чтобы кто нибудь получалъ добро или терпѣлъ зло, котораго не заслужилъ. Это самая ясная и наиболѣе опредѣленная форма, въ которой выражается общее сознаніе идеи справедливости; она заключаетъ въ себѣ понятіе о заслугѣ, но спрашивается, что такое заслуга? Говоря вообще, человѣкъ признается заслуживающимъ добра, если поступаетъ хорошо, и заслуживающимъ зла, если поступаетъ дурно; въ болѣе же частномъ смыслѣ человѣкъ заслуживаетъ добра отъ тѣхъ, кому онъ дѣлаетъ или сдѣлалъ добро, и зла отъ тѣхъ, кому онъ дѣлаетъ или сдѣлалъ зло. Платить добромъ за зло никогда не признавалось требованіемъ справедливости, а считалось всегда такимъ правиломъ, въ которомъ требованія справедливости подчиняются другимъ соображеніямъ.

Въ четвертыхъ: общій голосъ признаетъ несправедливымъ обмануть кого нибудь,—нарушить обязательство, ясно выраженное или только подразумѣваемое,—не осуществить тѣхъ надеждъ, которыя мы сами возбудили нашимъ поведеніемъ, или, по крайней мѣрѣ, тѣ надежды, которыя мы возбудили сознательно и добровольно. Но и это требованіе справедливости, подобно тѣмъ, о которыхъ

мы уже говорили, не есть абсолютное; по общему признанію оно можетъ быть справедливо неисполнено ради другихъ высшихъ требованій справедливости, или когда то лице, съ кѣмъ имѣемъ дѣло, своими поступками лишаетъ само себя права на выгоду, которую имѣло основаніе ожидать отъ насъ.

Въ пятыхъ: по общему признанію, несовмѣстно съ справедливостью—быть пристрастнымъ, оказывать кому либо покровительство или предпочтеніе въ такихъ случаяхъ, гдѣ не должно быть никакого лицепріятія. Впрочемъ безпристрастіе признается, повидимому, обязанностью не само по себѣ, а какъ орудіе для выполненія другихъ обязанностей, такъ какъ покровительство и предпочтеніе осуждаются не вообще, а только въ извѣстныхъ случаяхъ, и притомъ случаи эти составляютъ скорѣе исключеніе, а не общее правило. Человѣкъ, который не окажетъ никакого предпочтенія своимъ родственникамъ или своимъ друзьямъ передъ людьми, для него совершенно посторонними, когда можетъ это сдѣлать не нарушая никакой своей обязанности, — такой человѣкъ скорѣе подвергается осужденію, чѣмъ похвалѣ. Никто не сочтетъ предосудительнымъ съ точки зрѣнія справедливости, если кто будетъ искать дружбы, знакомства, сообщества одного человѣка предпочтительно передъ другимъ. Правда, безпристрастіе признается обязанностью тамъ, гдѣ дѣло касается правъ, но и

въ этомъ случаѣ оно не есть обязанность само по себѣ, а обязательность его вытекаетъ изъ другой болѣе общей обязанности: соблюдать права каждаго. Судъ, напримѣръ, долженъ быть безпристрастенъ, потому что онъ обязанъ рѣшить, кому принадлежитъ вещь на основаніи права, не принимая при этомъ во вниманіе никакихъ другихъ соображеній. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ быть безпристрастнымъ значитъ сообразоваться съ заслугами; такъ напр., когда судьи, наставники, родители назначаютъ награды или наказанія. Въ другихъ же случаяхъ быть безпристрастнымъ значитъ сообразоваться исключительно съ требованіями общественной пользы, такъ напр. при назначеніи въ общественныя должности. Однимъ словомъ, безпристрастіе, какъ обязанность, налагаемая на насъ справедливостью, означаетъ подчиненіе своихъ дѣйствій исключительно только тѣмъ соображеніямъ, которыхъ вліяніе въ данномъ случаѣ признается справедливымъ,—и въ неподчиненіи ихъ такимъ соображеніямъ, которыя побуждаютъ насъ поступать иначе, чѣмъ какъ этого требуютъ первыя соображенія.

Съ идеей безпристрастія тѣсно связана идея равенства. Эта идея часто входитъ, какъ составная часть, въ понятіе о справедливости, а равно и въ примѣненія этого понятія на практикѣ, и въ глазахъ многихъ людей составляетъ самую сущность справедливости. Но въ то же время ни

въ какомъ другомъ отношеніи справедливость не понимается людьми столь различно, какъ въ отношеніи къ равенству, и такое различіе въ ея пониманіи всегда строго соотвѣтствуетъ различію въ пониманіи пользы. Всѣ согласны въ томъ, что равенство есть требованіе справедливости, но не иначе, какъ за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда польза требуетъ неравенства. Справедливо, чтобы права каждаго были равно охраняемы,—это признаютъ даже и тѣ, которые защищаютъ самое оскорбительное неравенство въ самихъ правахъ. Даже въ странахъ рабства, и тамъ на теоріи признается, что права раба должны быть столь же священны, какъ и права господина, и что неправосуденъ тотъ судъ, который не охраняетъ ихъ съ равною строгостью; но въ тоже время тѣ учрежденія, которыя дѣлаютъ рабовъ почти совершенно безправными, не признаются несправедливыми, потому что считаются полезными. Тѣ, которые признаютъ полезнымъ, чтобы люди раздѣлялись на сословія, не считаютъ несправедливымъ неравенство имущественныхъ и политическихъ правъ, и на оборотъ: непризнающіе полезнымъ это неравенство — признаютъ его несправедливымъ. Кто признаетъ правительство необходимымъ, тотъ не видитъ никакой несправедливости въ громадномъ неравенствѣ между людьми, облеченными правительственной властью, и людьми подчиненными этой власти. Даже у людей, исповѣдующихъ док-

трины самаго строгаго равенства, понятіе о справедливости различно по различію пониманія пользы. Нѣкоторые коммунисты признаютъ несправедливымъ всякое распредѣленіе продуктовъ, которое не основано на принципѣ совершеннаго равенства; другіе же признаютъ справедливымъ, чтобы тотъ получалъ болѣе, кому болѣе нужно; наконецъ, третьи утверждаютъ, что тотъ, кто болѣе трудится, или кто болѣе производитъ, или же продукты котораго болѣе цѣнны для общества, тотъ справедливо можетъ требовать себѣ большую долю при распредѣленіи продуктовъ; и всѣ эти мнѣнія ссылаются на требованія естественной справедливости.

Хотя это выраженіе „справедливость“ и не считается принадлежащимъ къ числу такихъ выраженій, которыя не имѣютъ опредѣленнаго значенія, но примѣненія его столь разнообразны, что намъ представляется нѣсколько затруднительнымъ уловить общую связующую ихъ умственную нить, которая и должна была бы намъ разскрыть самую сущность выражаемаго ими чувства. Обратимся къ этимологическимъ указаніямъ,—можетъ быть этимологическая исторія слова „справедливость“ не поможетъ ли намъ выйдти изъ этого затрудненія.

Если не во всѣхъ языкахъ, то, по крайней мѣрѣ, въ большей части, этимологія слова, соотвѣтствующаго слову Just (справедливый), указываетъ на такое его происхожденіе, которое свидѣтельствуетъ о связи его съ положительнымъ зако-

номъ, или съ тѣмъ, что обыкновенно составляетъ первоначальную форму закона, т. е. съ обычаемъ. Justum есть производное отъ jussum (приказанное,—то, что приказано). Jus — того же происхожденія. Dikaïos происходитъ отъ diky, которое употреблялось преимущественно въ смыслѣ процесса, тяжбы, иска; такъ было, по крайней мѣрѣ, въ историческую эпоху Греціи. Первоначально это слово означало, конечно, не болѣе, какъ только образъ дѣйствія, но потомъ получило значеніе обязательнаго образа дѣйствій, то есть такого, который предписывается признанною властію, патріархальною, судебною или политическою. Recht, отъ котораго произошли right, righteous, есть синонимъ слова „законъ“. Первоначально слово recht относилось, конечно, не къ закону, а къ физической прямотѣ, подобно тому какъ слово wrong и соотвѣтствующія ему латинскія слова относились первоначально къ физической непрямотѣ, означали извилистый, кривой, tortuous; изъ этого выводятъ то заключеніе, что первоначально не слово right, право, означало законъ, а наоборотъ, слово законъ, law, означало право. Впрочемъ, правильно или неправильно такое заключеніе,—это нисколько не измѣняетъ для насъ значенія того факта, что recht и droit получили ограниченный смыслъ и стали употребляться для означенія положительнаго закона, хотя многое, что необходимо входитъ въ понятіе нравственной прямоты, и не есть законъ.

Для судовъ, для администраціи слово „справедливость“ равнозначительно слову “законъ“. Во Франціи la justice значитъ судъ. Я считаю несомнѣннымъ, что idée mère, первичный элементъ, легшій въ основу понятія справедливости, есть соотвѣтствіе закону. У Евреевъ въ до-христіанскій періодъ понятіе о справедливости и не заключало въ себѣ ничего иного, кромѣ соотвѣтствія закону,— какъ этого и можно было ожидать отъ народа, у котораго законъ имѣлъ теократическое происхожденіе и стремился обхватить все, что только можетъ быть подведено подъ какія нибудь правила. Другіе же народы, въ особенности Греки и Римляне, понимали справедливость иначе; они сознавали, что законы происходятъ отъ людей и измѣняются людьми, и что, слѣдовательно, могутъ быть и дурные законы, — что могутъ быть узаконены такіе поступки, которые были бы признаны несправедливыми, если бы не имѣли санкціи закона. Вслѣдствіе этого не всякое нарушеніе законовъ оскорбляло ихъ чувство справедливости, а только нарушеніе такихъ, которые по ихъ понятіямъ дѣйствительно должны быть законами, и такихъ, которые хотя въ дѣйствительности и не существовали какъ законы, но, по ихъ понятіямъ, должны бы были существовать; наконецъ, ихъ чувство справедливости оскорблялось и самими законами, когда эти законы противорѣчили тому, что, по ихъ пониманію, должно быть закономъ. Такимъ

образомъ даже и у тѣхъ народовъ, для которыхъ законъ не былъ указаніемъ, что справедливо и что несправедливо, даже и у тѣхъ народовъ въ понятіи о справедливости преобладаетъ идея закона и законности.

Правда, — по общему сознанію, идея справедливости и ея требованія относятся ко многимъ такимъ предметамъ, которые не только никогда не были, но и не желательно, чтобы когда либо стали предметомъ закона; такъ напр. никто не желаетъ вмѣшательства законовъ во всѣ мелочи частной жизни, а между тѣмъ всѣ признаютъ, что и въ этихъ мелочахъ человѣкъ можетъ поступать справедливо или несправедливо. Но и въ примѣненіяхъ справедливости къ такимъ предметамъ, которые, по общему сознанію, не подлежатъ и не должны подлежать опредѣленію чрезъ посредство закона, — и въ этихъ примѣненіяхъ выражается также идея законности, съ тою только разницей, что здѣсь идетъ дѣло объ исполненіи и неисполненіи не того, что существуетъ какъ законъ, а того, что должно быть признаваемо за законъ, хотя на самомъ дѣлѣ такого закона нѣтъ и не желательно, чтобы онъ былъ. Мы всегда остаемся довольны, когда видимъ, что тѣ поступки, которые признаемъ несправедливыми, влекутъ за собой возмездіе; а между тѣмъ мы не всегда желаемъ, чтобы поступки, признаваемые нами несправедливыми, подлежали судебному преслѣдованію и судебной карѣ. Легаль-

ная кара въ извѣстныхъ случаяхъ соединяется для насъ съ такими послѣдствіями, что для избѣжанія ихъ мы жертвуемъ тѣмъ удовольствіемъ, какое намъ доставляетъ удовлетвореніе требованій справедливости. Мы были бы рады узаконить до мельчайшихъ подробностей все, что считаемъ справедливымъ, и подвергнуть преслѣдованію законовъ все, что считаемъ несправедливымъ, если бы насъ не удерживало отъ этого то совершенно основательное соображеніе, что чрезъ это тѣ лица, на которыхъ будетъ возложено исполненіе законовъ, получатъ неограниченную власть надъ индивидуумами. Когда, по нашему мнѣнію, справедливость требуетъ, чтобы такое-то лице поступило въ данномъ случаѣ извѣстнымъ образомъ, то мы нерѣдко выражаемся такъ: надо заставить его, чтобы оно поступило именно такъ, а не иначе,—и въ насъ рождается желаніе найдти такую силу, которая заставила бы его поступить извѣстнымъ образомъ; но, находя невыгоднымъ, чтобы эта сила заключалась въ законѣ, мы жалуемся на невозможность установить законъ для такого рода случаевъ, и признавая великимъ зломъ, что такой поступокъ остается безнаказаннымъ, стараемся замѣнить силу закона энергіей нашего личнаго осужденія и строгостію общественнаго мнѣнія. И такъ, идея легальнаго принужденія во всякомъ случаѣ составляетъ ту основу, изъ которой истекаетъ понятіе справедливости, хотя эта идея и подвергается

различнымъ видоизмѣненіямъ, пока понятіе справедливости не получаетъ окончательной опредѣленности, какой оно достигаетъ только въ высоко цивилизованныхъ обществахъ.

Вотъ, по моему мнѣнію, вѣрный очеркъ происхожденія и прогрессивнаго развитія идеи справедливости. Но этотъ очеркъ не представляетъ намъ никакихъ признаковъ для различенія отъ обязанности вообще—той обязанности, которую налагаетъ на насъ справедливость, такъ какъ идея уголовной санкціи, составляющая сущность закона, не есть исключительная принадлежность тѣхъ поступковъ, которые несогласны съ справедливостію, но присуща вообще всякому дурному поступку. Называя извѣстный поступокъ дурнымъ, мы этимъ самымъ уже выражаемъ, что за совершеніе его человѣкъ долженъ быть такъ или иначе наказанъ, если не закономъ, то общественнымъ мнѣніемъ,— если не общественнымъ мнѣніемъ, то укоромъ своей собственной совѣсти. Съ этого пункта, по моему мнѣнію, и начинается собственно различіе между нравственностію и просто выгодою. Понятіе объ обязанности необходимо предполагаетъ, что если кто либо не выполняетъ того, чего требуетъ обязанность, то его можно принудить къ этому,— однимъ словомъ, исполненіе обязанности можетъ быть истребовано, какъ уплата долга. Чего мы не находимъ возможнымъ требовать отъ человѣка, того и не называемъ его обязанностію. Когда мы

по какимъ либо причинамъ, по разсчетамъ благоразумія или ради интересовъ другихъ лицъ, и не принуждаемъ человѣка дѣлать того, что признаемъ его обязанностію, то при этомъ тѣмъ не менѣе сознаемъ, что этотъ человѣкъ не имѣлъ бы никакого основанія роптать на насъ, если бы мы и прибѣгли по отношенію къ нему къ принудительнымъ мѣрамъ. Но есть также случаи, когда мы хотя и желаемъ, чтобы люди поступали извѣстнымъ образомъ, любимъ и уважаемъ ихъ за то, что они поступаютъ такъ, а не иначе, и за противный образъ дѣйствія нелюбимъ и презираемъ ихъ, но въ то же время не считаемъ, чтобы они непремѣнно должны были поступать именно такъ, то такой желаемый нами образъ дѣйствія мы и не называемъ обязанностію, и когда люди поступаютъ несогласно съ нимъ, мы не осуждаемъ ихъ за это, т. е. не считаемъ ихъ подлежащими наказанію. Какимъ путемъ доходимъ мы до этого различенія между тѣмъ, что заслуживаетъ, и тѣмъ, что не заслуживаетъ наказанія,—это, я надѣюсь, разъяснится впослѣдствіи, но во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что различеніе это имѣетъ свой корень въ понятіи о томъ, что хорошо и что дурно, т. е. въ понятіи о добрѣ и злѣ. Мы называемъ поступокъ дурнымъ, или же употребляемъ другіе термины, выражающіе наше несочувствіе или осужденіе, смотря по тому, считаемъ ли этотъ поступокъ подлежащимъ наказанію или не

подлежащимъ. Мы говоримъ: слѣдуетъ поступить такъ то, или же: похвально, желательно, чтобъ поступили такъ то, смотря по тому, признаемъ ли, что въ данномъ случаѣ извѣстный образъ дѣйствія обязателенъ, т. е. что къ нему можно принудить, или же не признаемъ его обязательнымъ, а только желательнымъ, т. е. что нельзя принудить поступить именно такъ, а не иначе, но надо стараться чтобы такъ поступили, убѣждать, поощрять къ этому *).

Таково характеристическое различіе, но опять таки не между справедливостію, а между нравственностію вообще и другими сферами полезнаго, и для насъ все таки остается нерѣшеннымъ вопросъ, въ чемъ же состоитъ различіе между справедливостію и другими отраслями нравственности. Этическіе писатели, какъ извѣстно, раздѣляютъ обыкновенно всѣ нравственныя обязанности на два класса, которые обозначаютъ слѣдующими весьма неудачными названіями: обязанности совершенно и несовершенно обязательныя (duties of perfect and of imperfect obligation). Подъ обязанностями, „несовершенно обязательными“, разумѣются такія, которыхъ примѣненіе предоставляется нашему лично-

*) Этотъ пунктъ подробно разъясненъ у профессора Бэна, во второмъ изъ двухъ трактатовъ, изъ которыхъ состоитъ его тщательно обработанное и глубоко продуманное сочиненіе on the Mind,—а именно во второй главѣ, носящей заглавіе: the Ethical Emotions, or the Moral Sense.

му усмотрѣнію, какъ напр. благотворительность; мы обязаны быть благотворительными, но не обязаны оказывать благотворительность именно такому-то лицу, или именно въ такое-то время. На болѣточномъ языкѣ философовъ-юристовъ, „совершенно обязательная“ обязанность есть такая, въ силу которой извѣстное лицо или лица имѣютъ соотвѣтствующее ей право,— обязанность же, несовершенно обязательная, не рождаетъ никакихъ правъ. По моему мнѣнію, это различіе совершенно совпадаетъ съ различіемъ между справедливостію и другими нравственными обязанностями. Во всѣхъ приведенныхъ мною примѣрахъ общепринятыхъ примѣненій понятія справедливости, это понятіе заключаетъ въ себѣ идею личнаго права, на основаніи котораго лицо или лица могутъ предъявлять извѣстныя требованія по отношенію къ другимъ лицамъ, подобно тому какъ предъявляетъ свои требованія собственникъ или вообще обладающій какимъ либо узаконеннымъ правомъ. Въ чемъ бы ни состояла несправедливость,—отнимемъ ли мы у кого нибудь то, что ему принадлежитъ, обманемъ ли кого, поступимъ ли съ кѣмъ хуже, чѣмъ онъ того заслуживаетъ, или хуже, чѣмъ поступаемъ съ другими, которые не имѣютъ никакого основательнаго притязанія на то, чтобы съ ними поступали лучше,—во всякомъ случаѣ несправедливость предполагаетъ двѣ вещи: что сдѣланъ дурной поступокъ, и что существуетъ

лицо, которое неправильно терпитъ отъ этого поступка. Несправедливость можетъ заключаться и въ томъ, что мы поступаемъ съ кѣмъ либо не хуже, а лучше чѣмъ съ другими, которые не заслуживаютъ, чтобы съ ними поступали хуже: въ такомъ случаѣ эти другіе и будутъ лицами, неправильно терпящими отъ несправедливаго поступка. И такъ, по моему мнѣнію,—видовое различіе между справедливостію и великодушіемъ или благотворительностію, заключается въ томъ, что справедливость предполагаетъ существованіе права, соотвѣтствующаго нравственной обязанности. Въ понятіи справедливости заключается не только обязанность что либо дѣлать или не дѣлать, но и нравственное право извѣстнаго лица требовать, чтобы мы что либо по отношенію къ нему дѣлали или не дѣлали. Нравственнаго права на наше великодушіе или на нашу благотворительность никто не можетъ имѣть, потому что на насъ не лежитъ нравственной обязанности примѣнять эти добродѣтели въ отношеніяхъ къ тому или другому лицу. Это опредѣленіе справедливости, равно какъ и всякое правильное опредѣленіе, находитъ себѣ самое сильное подтвержденіе именно въ томъ, что, повидимому, ему противорѣчитъ. Если моралистъ станетъ утверждать,—какъ это многіе и утверждали,—что не тотъ или другой индивидуумъ, а все человѣчество вообще имѣетъ право на все то добро, какое только мы можемъ сдѣлать, то

при такой постановкѣ вопроса великодушіе и благотворительность войдутъ въ категорію справедливости, и моралистъ неизбѣжно придетъ къ тому заключенію, что мы должны посвящать всѣ наши заботы благу нашихъ ближнихъ, слѣдовательно признаетъ благотворительность долгомъ,— или же что мы только заботами о благѣ ближнихъ и можемъ вознаградить общество за то, что оно для насъ дѣлаетъ, т. е. что мы должны быть благотворительны изъ благодарности: въ обоихъ случаяхъ благотворительность перестаетъ уже быть добродѣтелью и становится требованіемъ справедливости. Такимъ образомъ, если моралистъ не признаетъ сдѣланнаго нами различенія между справедливостію и нравственностію вообще, то онъ не найдетъ другаго между ними различія и придетъ къ совершенному отождествленію справедливости и нравственности.

Опредѣливъ тотъ особый элементъ, который входитъ въ составъ идеи справедливости и отличаетъ ее отъ нравственности, мы можемъ теперь приступить къ разрѣшенію вопроса: чувство, соотвѣтствующее идеѣ справедливости, есть ли особый даръ природы, или же истекаетъ изъ самой этой идеи, или же наконецъ, истекаетъ изъ требованій пользы.

Я признаю, что само чувство справедливости не истекаетъ изъ идеи пользы, примемъ ли мы это выраженіе „польза“ въ общеупотребительномъ

или въ правильномъ смыслѣ, но изъ идеи пользы истекаетъ весь нравственный элементъ этого чувства.

Чувство справедливости, какъ мы видѣли, заключаетъ въ себѣ два существенные ингредіента: желаніе наказать человѣка, сдѣлавшаго зло, и сознаніе, что существуетъ лицо или лица, которымъ сдѣлано зло.

По моему мнѣнію, желаніе наказать человѣка за то, что онъ сдѣлалъ кому либо зло, истекаетъ непосредственно изъ двухъ чувствъ, которыя оба въ высшей степени естественны, такъ сказать инстинктивны или похожи на инстинктъ, — изъ побужденія къ самозащищенію и изъ чувства симпатіи.

Весьма естественно негодовать, отражать, мстить, когда дѣлаютъ или пытаются сдѣлать зло намъ лично или тѣмъ, кого мы любимъ. Нѣтъ необходимости останавливаться на томъ, откуда происходитъ это чувство: есть ли оно инстинктъ, или истекаетъ изъ разума; во всякомъ случаѣ оно существуетъ въ насъ, и не только въ насъ, но и составляетъ общую принадлежность всѣхъ животныхъ. Каждое животное старается нанести зло тому, кто дѣлаетъ или кого оно считаетъ готовымъ сдѣлать зло ему или его дѣтенышамъ. Человѣкъ въ этомъ отношеніи отличается отъ другихъ животныхъ только тѣмъ, что онъ способенъ симпатизировать не только своимъ дѣтямъ, и не

только какому либо другому животному, которое особенно ему близко, какъ это мы встрѣчаемъ и у нѣкоторыхъ животныхъ, но всему, что только носитъ образъ человѣческій, и даже всему, что только одарено чувствомъ. Кромѣ того, такъ какъ человѣкъ одаренъ высшими умственными способностями, чѣмъ другія животныя, то онъ отличается въ этомъ отношеніи отъ другихъ животныхъ еще тѣмъ, что его чувства болѣе объемлющи какъ въ отношеніи къ нему лично, такъ и въ отношеніи къ другимъ людямъ и существамъ. Независимо даже отъ объема, какого можетъ достигать въ человѣкѣ чувство симпатіи, вслѣдствіе того уже, что человѣкъ одаренъ высшими умственными способностями, онъ способенъ доходить до такого обобщенія своихъ личныхъ интересовъ съ интересами общества, въ которомъ живетъ, что всякая угроза этому обществу становится для него какъ бы угрозой ему лично и вызываетъ въ немъ инстинктъ (если только это инстинктъ) самозащищенія. Обладаніе высшими умственными способностями дѣлаетъ человѣка способнымъ достигать такой степени сочувствія къ другимъ людямъ, что всякое дѣйствіе, вредное для его племени, для его страны, или даже вообще вредное для человѣчества, можетъ пробудить въ немъ инстинктъ симпатіи и вызвать его на сопротивленіе.

И такъ, чувство справедливости въ томъ своемъ ингредіентѣ, который заключается въ жела-

нiи наказать за сдѣланное зло, есть естественное чувство возмездiя или мести. Вслѣдствiе вліянiя разума и симпатiи оно становится способнымъ возбуждаться такими дѣйствiями, которыя не направлены противъ насъ непосредственно и которыхъ отношеніе къ нашей личности условливается нашимъ отношеніемъ къ другимъ людямъ. Само по себѣ оно не имѣетъ ничего нравственнаго, и становится нравственнымъ только по мѣрѣ своего подчиненiя требованiямъ чувства симпатiи. Въ естественномъ своемъ состоянiи оно возбуждается безразлично всякимъ непрiятнымъ для насъ дѣйствiемъ; принимая же въ себя нравственный элементъ, по мѣрѣ подчиненiя своего чувству симпатiи, оно получаетъ способность возбуждаться только сообразно съ требованiемъ общаго блага: въ справедливомъ человѣкѣ чувство возмездiя возбуждается всякимъ зломъ, какое дѣлается обществу, хотя это зло и не касается его непосредственно, и напротивъ, — оно безмолствуетъ въ немъ, когда совершаются дѣйствiя, хотя и крайне для него тяжелыя, но такiя, что общество не имѣетъ никакого интереса въ возмездiи за нихъ.

Говорятъ, что когда наше чувство справедливости оскорблено и, слѣдовательно, въ насъ возбуждено чувство возмездiя, то мы въ то время не думаемъ ни объ обществѣ, ни о какомъ коллективномъ интересѣ, а имѣемъ въ виду одно только оскорбленiе. Замѣчанiе это совершенно вѣр-

но, но оно не заключаетъ въ себѣ никакого возраженія противъ сдѣланнаго нами опредѣленія справедливости. Конечно, это составляетъ явленіе довольно обыкновенное, но тѣмъ не менѣе вовсе не похвальное, что нами овладѣваетъ жажда мести непосредственно потому только, что мы терпимъ; но только у того человѣка чувство мщенія есть дѣйствительно нравственное чувство, который, прежде чѣмъ мстить, разсуждаетъ, слѣдуетъ ли ему прибѣгать къ возмездію,— такой человѣкъ если и не можетъ сказать рѣшительно, что въ немъ чувство мести возбуждается единственно ради общественнаго интереса, то тѣмъ не менѣе онъ тогда только рѣшается на возмездіе, когда сознаетъ, что этимъ возмездіемъ охраняется такое правило, которое полезно не только для него, но равно полезно и для другихъ. Когда же человѣкъ этого не сознаетъ,—когда онъ мститъ единственно потому, что ему лично сдѣлано зло, то нельзя признать, чтобы этотъ человѣкъ былъ сознательно справедливъ, чтобы онъ заботился о справедливости своихъ поступковъ. Это признаютъ даже и анти-утилитаріанскіе моралисты. Изреченіе, въ которомъ Кантъ хотѣлъ выразить основной принципъ нравственности: „поступай такъ, „чтобы то правило, которое руководитъ твоими „дѣйствіями, могло быть признано за законъ всѣ„ми разумными существами,“ —это изреченіе хотя прямо и не высказываетъ, но тѣмъ не менѣе не-

обходимо предполагаетъ признаніе, что когда человѣкъ добросовѣстно разсуждаетъ о нравственности поступка, то долженъ имѣть въ виду, если не коллективный интересъ человѣчества, то по крайней мѣрѣ вообще интересы людей безразлично. Въ противномъ же случаѣ изреченіе Канта не имѣетъ смысла, потому что нѣтъ ни малѣйшаго основанія утверждать, чтобы самое даже крайне эгоистическое правило не могло быть принято всѣми разумными существами, — чтобы для принятія такого правила существовала какая либо неодолимая преграда въ самой природѣ вещей. Принципъ Канта только тогда имѣетъ смыслъ, если мы будемъ понимать его такимъ образомъ, что мы должны руководиться въ нашихъ поступкахъ такимъ правиломъ, которое могутъ признать всѣ разумныя существа съ пользою для ихъ коллективнаго интереса.

Повторимъ—идея справедливости предполагаетъ двѣ вещи: правило поведенія и чувство, которымъ санкціонируется это правило. Правило поведенія необходимо предполагается общимъ всему человѣчеству и должно имѣть своею цѣлію благо всего человѣчества; чувство же, которымъ оно санкціонируется, есть желаніе, чтобы нарушители его были наказаны. Къ этому присоединяется представленіе объ извѣстномъ лицѣ или лицахъ, которыя терпятъ отъ нарушенія правила, т. е., употребляя обычный терминъ, которыхъ права нару-

шаются несоблюденіемъ правила. Чувство справедливости есть ничто иное, какъ чисто скотское желаніе отразить зло или отомстить за зло; желаніе это одинаково ощущаетъ каждое животное, когда дѣлаютъ зло ему или тѣмъ, кому оно симпатизируетъ; но у человѣка, вслѣдствіе его способности къ всеобъемлющему чувству симпатіи и къ разумному эгоизму, оно достигаетъ такихъ размѣровъ, что обнимаетъ собою всѣхъ людей. Эти два послѣдніе элемента,—всеобъемлющее чувство симпатіи и разумный эгоизмъ, — привходя къ скотскому желанію мести, и дѣлаютъ чувство справедливости нравственнымъ чувствомъ; первымъ же элементомъ, т. е. скотскимъ желаніемъ мести, условливается воспріимчивость чувства справедливости и энергія его проявленій.

Говоря о правѣ, которое присуще обиженному лицу и нарушено несправедливымъ поступкомъ, я постоянно разумѣлъ это право, не какъ особый элементъ въ составѣ идеи и чувства справедливости, а какъ одну изъ формъ, въ которыя облекаются оба элемента справедливости: съ одной стороны зло, сдѣланное извѣстному лицу или лицамъ, а съ другой—требованіе наказанія за это зло. Внимательное разсмотрѣніе сдѣлаетъ, я полагаю, очевиднымъ, что этими двумя элементами исчерпывается все содержаніе того, что мы разумѣемъ подъ выраженіемъ нарушеніе права. Говоря, что человѣкъ имѣетъ право на что нибудь,

мы этимъ выражаемъ, что онъ можетъ требовать отъ общества, чтобы оно охраняло за нимъ извѣстное обладаніе или силою закона, или силою воспитанія, или наконецъ силою общественнаго мнѣнія. И на оборотъ: когда мы признаемъ, что человѣкъ можетъ требовать отъ общества, чтобы оно гарантировало ему обладаніе чѣмъ либо, то мы говоримъ, что онъ имѣетъ право на это что либо. Желая доказать, что человѣкъ не имѣетъ права на что нибудь, мы считаемъ это окончательно доказаннымъ, какъ скоро докажемъ, что общество не должно принимать никакихъ мѣръ для охраненія его обладанія этимъ, а должно предоставить его на произволъ судьбы или его собственнымъ силамъ. Такъ, говоря, что человѣкъ имѣетъ право на то, что пріобрѣтаетъ честнымъ образомъ, мы разумѣемъ подъ этимъ, что общество не должно дозволять кому бы то ни было препятствовать человѣку пріобрѣтать столько, сколько только онъ въ состояніи пріобрѣсть. Мы не говоримъ, что человѣкъ имѣетъ право на триста фунтовъ стерлинговъ въ годъ, хотя можетъ быть онъ и пріобрѣтаетъ ихъ ежегодно,—мы этого не говоримъ, потому что мы не признаемъ, чтобы общество должно было гарантировать человѣку ежегодное пріобрѣтеніе такой суммы; наоборотъ: если человѣкъ пріобрѣтетъ 3-хъ процентныхъ бумагъ на десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ, то мы говоримъ, что онъ имѣетъ право на полученіе

ежегодно трехъ сотъ фунтовъ стерлинговъ, потому что въ этомъ случаѣ мы признаемъ, что общество обязано гарантировать ему полученіе этой суммы.

Итакъ—имѣть право значитъ имѣть что либо, обладаніе чѣмъ общество должно охранять за мною. Если спросятъ, почему же общество должно охранять за мною это обладаніе, то я не могу представить этому другаго основанія, кромѣ требованія общей пользы, — и если мнѣ возразятъ, что такое объясненіе не соотвѣтствуетъ силѣ обязанности и той энергіи, съ какой обыкновенно проявляется чувство справедливости, то я отвѣчу на это, что такое кажущееся несоотвѣтствіе происходитъ отъ того, что въ составъ чувства справедливости входитъ не только раціональный, но и животный элементъ,—жажда мести, а эта жажда мести всю свою энергію, равно какъ и свое нравственное оправданіе, черпаетъ въ томъ, что имѣетъ цѣлью самый существенный и самый драгоцѣнный видъ пользы, — она имѣетъ цѣлью безопасность, самый жизненный изъ всѣхъ интересовъ для всего, что только одарено чувствомъ. Всѣ прочіе виды пользы одному нужны, другому не нужны, и многіе изъ нихъ такого рода, что въ случаѣ нужды ихъ можно замѣнить одинъ другимъ, и даже совсѣмъ обойтись безъ нихъ; безъ безопасности же не можетъ обойтись ни одинъ человѣкъ,—она есть первое условіе нашего избавленія отъ всякаго рода золъ, — безъ нея мы жили бы

только настоящею минутой и за предѣлами этой минуты всякое благо не имѣло бы для насъ никакой цѣны, потому что безъ нея мы каждую минуту могли бы быть лишены всего первымъ, кто хотя на мгновеніе сильнѣе насъ. Послѣ пищи безопасность есть самая необходимая изъ всѣхъ необходимостей и существуетъ только при томъ условіи, чтобы машина, ее производящая, не останавливалась въ своемъ дѣйствіи ни на одно мгновеніе. Вотъ почему съ требованіемъ отъ нашихъ ближнихъ, чтобы они соединенными усиліями обезпечивали намъ то, что составляетъ существенное условіе нашего существованія, т. е. безопасность,— вотъ почему съ этимъ требованіемъ соединяются такія чувства, которыя по своей интенсивности такъ далеко превосходятъ чувства, возбуждаемыя другими видами пользы, что различіе между чувствами по степени интенсивности превращается въ различіе родовое (фактъ довольно обыкновенный въ психологіи); вотъ почему требованіе безопасности получаетъ характеръ столь абсолютный, столь, повидимому, безграничный и несоизмѣримый со всѣми тѣми соображеніями, на основаніи которыхъ мы различаемъ чувство добра и зла и чувство полезнаго и неполезнаго. Чувство, вызываемое потребностью безопасности, до такой степени могущественно и мы до такой степени увѣрены въ томъ, что оно всегда найдетъ себѣ отголосокъ во всѣхъ, такъ какъ всѣ одинаково

нуждаются въ безопасности, что выраженія нужно, слѣдуетъ, превращаются въ выраженіе: такъ должно быть, и потребность безопасности превращается въ такую нравственную необходимость, которая совершенно аналогична физической необходимости и часто не уступаетъ ей въ принудительной силѣ.

Если сдѣланный нами анализъ, или нѣчто въ родѣ анализа, не даетъ правильнаго понятія о справедливости, — если справедливость совершенно независима отъ пользы, существуетъ per se и, слѣдовательно, познается непосредственно чрезъ самосозерцаніе, то трудно понять, почему же этотъ сидящій внутри человѣка оракулъ иногда выражается такъ двусмысленно, и почему же столько вещей людямъ представляются то справедливыми, то несправедливыми, смотря по тому, съ какой точки зрѣнія они на нихъ смотрятъ.

Намъ часто приходится слышать, что польза есть принципъ крайне неопредѣленный, что каждый понимаетъ ее по своему и что нѣтъ другаго исхода, какъ положиться на неизмѣнныя и непреложныя правила справедливости, которыя очевидны сами по себѣ и не зависятъ отъ колебаній мнѣнія. Могутъ подумать, что и въ самомъ дѣлѣ требованія справедливости стоятъ внѣ всякаго спора, что, принявъ справедливость за руководство нашихъ поступковъ, мы и въ самомъ дѣлѣ будемъ имѣть для каждаго даннаго случая ясное

указаніе, какъ слѣдуетъ поступать, — указаніе столь же несомнѣнное, какъ математическій доводъ. Но въ дѣйствительности это далеко не такъ: мнѣнія о томъ, что справедливо, столь же разнообразны, какъ и мнѣнія о томъ, что полезно, и между ними идетъ борьба не менѣе упорная. Понятія о справедливости не только различны у различныхъ народовъ и у различныхъ индивидуумовъ, но даже и въ индивидуальномъ сознаніи справедливость не есть какой либо единичный принципъ, единичное правило, но состоитъ изъ многихъ принциповъ или правилъ, которые нерѣдко разнятся между собой, и въ случаѣ такого разногласія человѣкъ оказываетъ предпочтеніе тому или другому изъ разнорѣчащихъ правилъ, руководствуясь какимъ нибудь внѣшнимъ мотивомъ или просто своими личными наклонностями.

Такъ напримѣръ, одни утверждаютъ, что наказаніе справедливо только тогда, когда имѣетъ цѣлью благо самого наказуемаго. Другіе же говорятъ совершенно на оборотъ, что наказывать совершеннолѣтняго человѣка ради его собственной пользы есть деспотизмъ и несправедливость, такъ какъ каждый человѣкъ есть самъ судья своей пользы, но что его слѣдуетъ наказывать для охраненія другихъ отъ зла и такое наказаніе справедливо, потому что основано на законномъ правѣ самозащищенія. Оуэнъ же утверждаетъ, что наказаніе во всякомъ случаѣ есть несправедливость,

такъ какъ человѣкъ не самъ создаетъ свой характеръ и дѣлается преступникомъ вслѣдствіе воспитанія и вслѣдствіе вліянія окружающихъ его обстоятельствъ, а воспитаніе и окружающія обстоятельства отъ него не зависятъ и, слѣдовательно, несправедливо, чтобы онъ за нихъ отвѣчалъ. Каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ весьма прочное основаніе, и я не вижу возможности опровергнуть ни одного изъ нихъ, пока споръ будетъ стоять на вопросѣ о томъ, что справедливо, не касаясь принциповъ справедливости и источника ея авторитета. Каждое изъ приведенныхъ нами мнѣній основывается на несомнѣнныхъ, общепризнанныхъ правилахъ справедливости. Сторонники перваго мнѣнія ссылаются на общее сознаніе, что несправедливо, еели на то нѣтъ согласія самаго индивидуума, жертвовать его благомъ для блага другихъ. Защитники втораго мнѣнія указываютъ на общепризнанное право самозащищенія и на общепризнанную несправедливость принуждать человѣка сообразоваться съ чужимъ мнѣніемъ касательно того, что для него есть благо. Послѣдователи Оуэна основываютъ свое мнѣніе на той несомнѣнной истинѣ, что несправедливо наказывать человѣка за то, въ чемъ онъ не виноватъ. И такъ каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ въ своемъ основаніи несомнѣнныя правила справедливости, и до тѣхъ поръ неопровержимо, пока не вынуждено принять въ соображеніе и другія пра-

вила справедливости, столь же несомнѣнныя, какъ и тѣ, на которыхъ оно основывается; но, разъ сопоставивъ всѣ эти различныя правила, каждое изъ нихъ оказывается одинаково несостоятельнымъ и не можетъ провести своихъ требованій справедливости, не нарушивъ другихъ ея требованій, столь же обязательныхъ. Вотъ какія затрудненія представляетъ намъ понятіе справедливости. Затрудненія эти чувствовались всегда и не мало средствъ изобрѣталось, чтобы выйти изъ нихъ. Впрочемъ эти средства только обходили затрудненія, но не побѣждали ихъ. Такъ для того, чтобъ обойдти возраженіе Оуэна, что несправедливо наказывать человѣка за то, въ чемъ онъ не виноватъ, придумали такъ называемую свободу воли,—думали, что не иначе можно оправдать наказаніе человѣка, который имѣетъ злую волю, какъ предположивъ, что воля дѣлается злою по произволу человѣка, независимо отъ предшествовавшихъ обстоятельствъ. Для устраненія другихъ затрудненій любимымъ средствомъ служила та фикція, что будто люди, вступая между собой въ общество, еще въ незапамятное время заключили договоръ, которымъ обязались исполнять законы и согласились принимать наказаніе въ случаѣ ихъ неисполненія, и такимъ образомъ законодатели получили право, котораго безъ этого договора и не имѣли бы, — право наказывать людей ради ихъ собственной пользы или ради пользы общества.

На эту фикцію обыкновенно смотрѣли, какъ на окончательное устраненіе всѣхъ затрудненій и на окончательное оправданіе наказанія, такъ какъ, по другому общепризнанному правилу справедливости, volenti non fit injuria, т. е. никакое дѣйствіе не можетъ быть несправедливымъ по отношенію къ тому лицу, съ согласія котораго оно дѣлается. Едва ли есть надобность оговаривать, что если бы даже это согласіе людей принимать наказаніе и не было даже простою фикціей, то и въ такомъ случаѣ оно не составляло бы такого принципа, который имѣлъ бы большій авторитетъ, чѣмъ тѣ другіе принципы, которые думали замѣнить имъ; — оно и тогда было бы не болѣе, какъ весьма поучительный примѣръ, какъ произвольно и какъ безпорядочно возникаютъ разные мнимые принципы справедливости. Во всякомъ случаѣ очевидно, что оно обязано было своимъ признаніемъ тому обстоятельству, что удовлетворяло грубымъ требованіямъ судебной практики, такъ какъ суды бываютъ иногда вынуждены довольствоваться самыми сомнительными предположеніями для того, чтобы избѣжать большаго зла, какое могло бы возникнуть, если бы они были болѣе разборчивы въ своихъ правилахъ. Впрочемъ даже и суды, при всей своей не разборчивости, не всегда примѣняютъ этотъ принципъ: они не признаютъ обязательности добровольнаго соглашенія, когда оказывается, что соглашеніе состоялось вслѣдствіе об-

мана или даже просто вслѣдствіе ошибки или недоразумѣнія.

Не менѣе разнорѣчащія пониманія справедливости встрѣчаемъ мы и по вопросу относительно соразмѣрности наказанія съ преступленіемъ. Lex talionis, око за око, зубъ за зубъ,—вотъ правило, которое наиболѣе удовлетворяетъ первобытному, естественному чувству справедливости. Хотя этотъ принципъ еврейскаго и магометанскаго закона въ настоящее время на практикѣ и не признается, но тѣмъ не менѣе я полагаю, что большинство питаетъ къ нему втайнѣ сильное расположеніе: то общее удовольствіе, какое обыкновенно обнаруживается, когда преступникъ по какому либо случаю получаетъ возмездіе именно въ этой формѣ, ясно свидѣтельствуетъ, что такой способъ возмездія наиболѣе соотвѣтствуетъ естественному чувству. Многіе признаютъ справедливымъ, чтобы наказаніе было пропорціонально преступленію, т. е. чтобы оно строго соизмѣрялось съ нравственной виной преступника (все равно, какой бы принципъ мы ни принимали для измѣренія нравственной виновности); вопросъ же о томъ, какая степень наказанія необходима для того, чтобы удерживать людей отъ извѣстнаго преступленія,—такой вопросъ, по ихъ мнѣнію, не имѣетъ ничего общаго съ справедливостію. Другіе же утверждаютъ совершенно на оборотъ, что справедливость и требуетъ именно того, чтобы наказаніе ни въ какомъ

случаѣ не переходило за предѣлы того, что необходимо для удержанія людей отъ повторенія преступныхъ дѣйствій и отъ подражанія имъ.

Приведемъ для примѣра еще другой вопросъ, о которомъ мы уже говорили. Справедливо или несправедливо, чтобы въ промышленно-рабочей ассоціаціи талантъ или искуство давали право на полученіе большаго вознагражденія? Тѣ, которые отвѣчаютъ на этотъ вопросъ отрицательно, основываютъ свое мнѣніе на томъ, что каждый дѣлаетъ что можетъ, слѣдовательно каждый одинаково заслуживаетъ вознагражденія; что противно справедливости ставить одного человѣка въ положеніе худшее, чѣмъ другаго, за то, въ чемъ онъ нисколько не виноватъ; что одно уже обладаніе большими способностями даетъ человѣку значительныя преимущества передъ другими: внушаетъ къ нему особенное уваженіе, даетъ ему личное вліяніе, составляетъ для него источникъ внутреннихъ наслажденій,—прибавлять ко всему этому еще большую долю другихъ благъ—совершенно несправедливо, и общество обязано не увеличивать еще эти преимущества, а скорѣе вознаградить тѣхъ, кто ихъ не имѣетъ, за такое незаслуженное ими неравенство. Противники же этого мнѣнія утверждаютъ, что чѣмъ лучше работникъ, тѣмъ больше пользы получаетъ отъ него общество, и слѣдовательно, тѣмъ большее должно давать ему вознагражденіе,—что большая доля, получаемая хоро-

шимъ работникомъ, есть результатъ его же труда, и, слѣдовательно, лишать его этой доли есть своего рода разбой, — что хорошій работникъ, получая столько же, сколько получаютъ худшіе, справедливо можетъ ограничить свое производство тѣмъ, сколько производятъ самые худшіе работники, и посвящать на работу меньше труда и меньше усилій, чѣмъ другіе, менѣе способные. Кто же рѣшитъ между этими двумя противоположными принципами справедливости? Оказывается, что справедливость имѣетъ въ этомъ случаѣ двѣ стороны, которыя невозможно согласить, — и оба эти противоположныя мнѣнія, каждое съ своей точки зрѣнія, одинаково неопровержимы: одно смотритъ на вопросъ съ той стороны, что индивидуумъ можетъ справедливо получить, а другое съ той — что общество можетъ справедливо дать. Которому же изъ этихъ двухъ мнѣній слѣдуетъ отдать преимущество? Справедливость не даетъ на это никакого отвѣта и оставляетъ вопросъ на рѣшеніе произвола. Только общественная польза можетъ дать на него отвѣтъ.

А сколько различныхъ и совершенно между собою несогласимыхъ мнѣній о томъ, что справедливо и что несправедливо, возникаетъ по вопросу о распредѣленіи налога? Одни того мнѣнія, что каждый долженъ платить налогъ пропорціонально своимъ средствамъ. Другіе же признаютъ справедливымъ прогрессивный налогъ, т. е. чтобы тотъ, кто болѣе имѣетъ, платилъ большій про-

центъ. Съ точки зрѣнія естественной справедливости каждый долженъ платить государству одинаковую сумму, какія бы ни были у него средства, подобно тому какъ подписчики на обѣдъ или члены клуба, пользуясь всѣ равными правами, и платятъ за нихъ всѣ одинаково, хотя бы ихъ средства къ платежу и были не одинаковы. Покровительство закона и государства дается всѣмъ равно и всѣмъ равно нужно, слѣдовательно и не было бы никакой несправедливости, если бы государство брало за свое покровительство одинаковую сумму съ каждаго. Считается не несправедливымъ, а напротивъ справедливымъ, чтобы купецъ назначалъ на свой товаръ одинаковую цѣну для всѣхъ покупщиковъ безъ различія, а не мѣнялъ цѣну смотря по средствамъ того, кто покупаетъ; то же можно сказать и о государствѣ. Этотъ принципъ въ примѣненіи къ налогу не находитъ себѣ защитниковъ, потому что рѣзко противорѣчитъ чувству гуманности и общественной пользы, но тѣмъ не менѣе онъ столь же истиненъ и столь же обязателенъ, какъ и другіе принципы справедливости, которые могутъ быть приведены противъ него, и поэтому всѣ доводы въ пользу другихъ родовъ прямыхъ налоговъ, болѣе или менѣе, основываются на немъ, хотя и не явно. Для оправданія того, что богатые платятъ государству больше чѣмъ бѣдные, прибѣгаютъ обыкновенно къ тому аргументу, что государство бо-

гатымъ даетъ больше чѣмъ бѣднымъ, тогда какъ въ дѣйствительности совсѣмъ не такъ, потому что богатый всегда болѣе способенъ охранять самъ себя, чѣмъ бѣдный, и если бы не было законовъ и правительства, то онъ, по всей вѣроятности, обратилъ бы бѣднаго въ своего раба. Другіе же утверждаютъ, что всѣ должны платить равный налогъ за охрану самихъ себя, такъ какъ всѣ равно охраняются, и—неравный налогъ за охрану своихъ имуществъ, такъ какъ по неравенству имуществъ не всѣ равно пользуются этой охраной. Третьи же возражаютъ на это, что всѣ пользуются одинаковой охраной во всѣхъ отношеніяхъ. Изъ всей этой путаницы нѣтъ другаго выхода, какъ утилитаріанизмъ.

Неужели же, скажутъ мнѣ, различіе между справедливостію и пользою есть только воображаемое и человѣчество ошибалось, считая, что справедливость есть нѣчто болѣе священное, чѣмъ разсчетъ, и что разсчетомъ слѣдуетъ руководиться только уже тогда, когда удовлетворены всѣ требованія справедливости? Вовсе нѣтъ. Чувство справедливости, и по природѣ своей и по происхожденію, какъ я ихъ объяснилъ, представляетъ дѣйствительное различіе отъ пользы, и я утверждаю, что ни одинъ изъ самыхъ ярыхъ противниковъ утилитаріанизма не признаетъ за этимъ различіемъ такой высокой важности, какую я за нимъ признаю. Опровергая теорію, которая признаетъ

какой то мнимый принципъ справедливости, не основанный на пользѣ, я признаю, что справедливость имѣетъ своею основою пользу и составляетъ главную часть всей нравственности, самую священную и самую обязательную изъ всѣхъ частей. Справедливость есть названіе извѣстнаго рода нравственныхъ правилъ, которыя ближе, чѣмъ всѣ другія нравственныя правила, касаются самыхъ существенныхъ сторонъ человѣческаго благосостоянія и потому имѣютъ наиболѣе абсолютную обязательность; кромѣ того, самое то понятіе, которое мы признали составляющимъ сущность идеи справедливости, понятіе о правѣ, присущемъ индивидууму, предполагаетъ и свидѣтельствуетъ, что нравственныя правила, называемыя справедливостію, имѣютъ наибольшую обязательность, чѣмъ какія либо другія.

Правила, воспрещающія людямъ наносить вредъ другъ другу (сюда относится и вредъ свободѣ другаго), болѣе существенны для человѣческаго благосостоянія, чѣмъ всякія другія, какъ бы онѣ ни были важны, которыя имѣютъ своимъ предметомъ не болѣе какъ только лучшее веденіе той или другой отрасли человѣческихъ дѣлъ. Кромѣ того, эти правила имѣютъ ту особенность, что ими главнымъ образомъ условливается все направленіе соціальныхъ чувствъ человѣчества, потому что только благодаря соблюденію ихъ и сохраняется миръ между людьми, и если бы исполненіе ихъ не было общимъ

явленіемъ, а неисполненіе — исключеніемъ, тогда каждый человѣкъ боялся бы найдти въ другомъ себѣ врага, противъ котораго онъ долженъ быть всегда на сторожѣ. Едва ли менѣе важно и то, что люди имѣютъ самый сильный и самый непосредственный интересъ понуждать другъ друга къ исполненію этихъ правилъ: однѣ только наставленія или совѣты были бы совершенно безсильны, — покрайней мѣрѣ люди не полагаются на ихъ силу; внушить каждому дѣланіе добра, какъ положительную обязанность, представляетъ, конечно, несомнѣнный интересъ, но все таки не столь важный, какъ исполненіе правилъ справедливости, потому что человѣкъ можетъ обойтись и безъ благодѣяній, но онъ всегда нуждается въ томъ, чтобы ему не дѣлали вреда. И такъ, тѣ нравственныя правила, которыя имѣютъ цѣлью охранять человѣка отъ того, чтобы другіе люди не сдѣлали ему зла и не помѣшали ему свободно стремиться къ достиженію своего блага, — такія правила всего ближе сердцу каждаго и каждый имѣетъ самые сильные мотивы проповѣдывать и подкрѣплять ихъ и словомъ, и дѣломъ. Только чрезъ соблюденіе этихъ правилъ человѣкъ и дѣлается способенъ жить въ обществѣ, потому что этимъ условливается его вредность или невредность для тѣхъ, съ кѣмъ онъ входитъ въ сношеніе. Эти-то нравственныя правила и установляютъ то, что составляетъ первичное требованіе

справедливости. Насиліе надъ человѣкомъ — вотъ первая, отнятіе у человѣка того, что должно ему принадлежать — вотъ другая изъ самыхъ яркихъ несправедливостей, которыя въ наибольшей степени вызываютъ въ человѣкѣ то отвращеніе, которое составляетъ отличительный признакъ чувства справедливости. Въ обоихъ этихъ случаяхъ оскорбленіе чувства справедливости состоитъ въ томъ, что человѣку наносится положительный вредъ, или въ формѣ прямаго страданія, или въ формѣ лишенія его какого нибудь блага, физическаго или соціальнаго, на которое онъ имѣлъ разумное основаніе разсчитывать.

Тѣже могучіе мотивы, которые побуждаютъ къ исполненію этихъ правилъ, побуждаютъ и къ наказанію ихъ нарушителей. Нарушеніе этихъ правилъ вызываетъ насъ къ самозащищенію, къ защищенію другихъ, къ мести, и поэтому возмездіе или отплата зломъ за зло всегда находится въ тѣсной связи съ чувствомъ справедливости, всегда и вездѣ входило въ составъ самой идеи справедливости. Отплата добромъ за добро есть также одно изъ правилъ справедливости, но хотя соціальная польза этого правила и очевидна, хотя оно также опирается на естественное чувство человѣка, тѣмъ не менѣе съ перваго взгляда оно не представляетъ осязательной связи съ вредомъ или зломъ, которое присуще самымъ элементарнымъ проявленіямъ справедливости или несправедливости,

и составляетъ источникъ, отъ котораго чувство справедливости получаетъ свою особенную интенсивность. Впрочемъ эта связь, хотя и менѣе очевидна, но тѣмъ не менѣе существуетъ. Тотъ, кто принимаетъ отъ другаго услугу и отказываетъ заплатить тѣмъ же, когда оказавшій ему услугу нуждается въ этомъ, тотъ наноситъ дѣйствительное зло, потому что обманываетъ одно изъ самыхъ естественныхъ и разумныхъ ожиданій, которыя онъ, хотя и молча, но самъ же возбудилъ, принимая услугу, потому что если бы не возбуждалъ этого ожиданія, то едвали бы и была оказана ему услуга. Какое важное мѣсто занимаютъ обманутыя ожиданія среди человѣческихъ золъ и несчастій, это видно изъ того, что онѣ составляютъ главную преступность двухъ самыхъ безнравственныхъ поступковъ, каковы измѣна: друга и нарушеніе обѣщанія. Не много такихъ страданій, которыя бы сильнѣе чувствовались людьми и глубже поражали ихъ, — когда то, на что они привыкли разчитывать съ полной увѣренностью, вдругъ измѣняетъ имъ въ минуту нужды; немного такихъ золъ, которыя были бы тяжеле для нихъ, чѣмъ это неполученіе ожидаемаго блага, и никакое другое зло не возбуждаетъ болѣе сильнаго негодованія какъ въ самомъ терпящемъ, такъ и въ тѣхъ, которые ему симпатизируютъ. Поэтому принципъ возмездія всѣмъ по заслугамъ, т. е. какъ зломъ за зло, такъ равно и добромъ за добро,

не только заключается въ идеѣ справедливости, какъ мы ее опредѣлили, но и даетъ чувству справедливости ту интенсивность, которая ставитъ справедливое въ общемъ сознаніи выше просто полезнаго.

Тѣ правила справедливости, на которыя люди обыкновенно ссылаются въ своихъ поступкахъ и которыхъ примѣненіе всего чаще встрѣчается въ дѣйствительной жизни, суть по большей части не что иное, какъ только орудія, посредствомъ которыхъ совершается выполненіе изложенныхъ нами принциповъ справедливости. Человѣкъ отвѣчаетъ только за то, что онъ сдѣлалъ добровольно или чего могъ не сдѣлать, если бы захотѣлъ, — несправедливо осуждать человѣка не выслушавъ его, — наказаніе должно быть соразмѣрно винѣ, и другія подобныя правила имѣютъ цѣлью предупредить, чтобы справедливый принципъ воздаянія зломъ за зло не превратился въ причиненіе зла, когда никакого зла не сдѣлано. Большая часть этихъ общеизвѣстныхъ правилъ перешла въ общее употребленіе изъ судебной практики, которая весьма естественно должна была скорѣе, чѣмъ остальное общество, придти къ ясному пониманію и къ выработкѣ этихъ правилъ, такъ какъ онѣ ей необходимы для выполненія лежащей на ней двойной обязанности: налагать наказаніе, когда оно заслужено, и присуждать каждому то, на что онъ имѣетъ право.

Безпристрастіе, эта самая главная изъ судейскихъ добродѣтелей, есть также обязанность, которую справедливость налагаетъ на томъ же, отчасти, основаніи, о которомъ мы передъ этимъ говорили. Быть безпристрастнымъ составляетъ необходимое условіе для выполненія другихъ обязанностей, налагаемыхъ справедливостью. Но не въ этомъ только заключается основаніе, почему столь высокое мѣсто занимаютъ въ средѣ человѣческихъ обязанностей эти правила равенства и безпристрастія, которыя, какъ по общему сознанію, такъ равно и по сознанію самыхъ просвѣщенныхъ умовъ, принадлежатъ къ числу правилъ справедливости. Съ одной стороны дѣйствительно онѣ могутъ быть разсматриваемы, какъ выводы изъ изложенныхъ нами принциповъ справедливости: если мы обязаны воздавать каждому должное, добромъ за добро и зломъ за зло, то изъ этого необходимо слѣдуетъ, что мы обязаны поступать одинаково (если только этому не препятствуетъ какая либо высшая обязанность) со всѣми тѣми, кто оказываетъ по отношенію къ намъ одинаковую заслугу, и слѣдовательно общество должно одинаково поступать со всѣми, чьи заслуги передъ обществомъ одинаковы, т. е. абсолютно одинаковы. Вотъ высшій отвлеченный принципъ соціальной и распредѣляющей справедливости, къ осуществленію котораго должны всѣми силами стремиться всѣ учрежденія и всѣ дѣйствія хорошихъ гражданъ. Но не на

этомъ только основывается эта великая нравственная обязанность; она не есть только логическій выводъ изъ второстепенныхъ или производныхъ принциповъ, но имѣетъ болѣе глубокій корень, истекаетъ непосредственно изъ основнаго принципа нравственности, изъ принципа пользы или величайшаго счастія. Принципъ этотъ былъ бы не болѣе, какъ только пустой наборъ словъ безъ всякаго раціональнаго смысла, если бы счастіе каждаго человѣка не признавалось одинаково цѣннымъ, какъ и счастіе всякаго другаго человѣка, предполагая, что люди имѣютъ равную степень счастія (принимая при оцѣнкѣ степени счастія въ должное вниманіе и самый родъ счастія). Вотъ на какомъ основаніи изреченіе Бентама, что „каждый долженъ считаться за одного и не долженъ считаться болѣе, чѣмъ за одного“ можетъ быть подписано подъ принципомъ пользы, какъ объяснительный коментарій *). Признаніе моралистомъ

*) По мнѣнію г. Герберта Спенсера (въ его «Social statics»), включеніе безпристрастія въ основной принципъ утилитаріанизма доказываетъ несостоятельность принципа пользы быть руководителемъ права, такъ какъ (говоритъ онъ) это показываетъ, что принципъ пользы предполагаетъ существованіе другаго принципа, а именно: что каждый имѣетъ равное право на счастіе. Правильнѣе было бы выразиться такъ: принципъ пользы подразумѣваетъ, что равно желательна равная степень счастія какъ для себя, такъ и для другихъ. Во всякомъ случаѣ принципъ пользы тутъ ничего не предполагаетъ, а только подразумѣваетъ, потому что это подразумѣваемое не есть посылка, которая бы вела къ принципу

и законодателемъ, что каждый человѣкъ имѣетъ равное право на счастіе, заключаетъ въ себѣ и признаніе того, что каждый имѣетъ равное право на средства къ достиженію счастія, за исключеніемъ тѣхъ только точно опредѣленныхъ ограниченій, которыя истекаютъ изъ неизбѣжныхъ условій человѣческой жизни и изъ требованій общей пользы, составляющей вмѣстѣ и частную пользу каждаго. Какъ и всѣ другія правила справедливости, это правило не всегда и не вездѣ одинаково примѣняется и не можетъ быть всегда и вездѣ одинаково примѣнимо, а напротивъ, какъ я уже это замѣтилъ прежде, примѣненіе его находится всегда

пользы, а есть самый этотъ принципъ, — и какое же, въ самомъ дѣлѣ, другое значеніе можетъ имѣть принципъ пользы, какъ не то, что выраженія: счастіе и желаемое, суть синонимы? Если включеніе безпристрастія въ принципъ пользы предполагаетъ существованіе какого либо другаго принципа, то развѣ того только, что ариѳметическія истины также примѣнимы и къ оцѣнкѣ счастія, какъ и къ оцѣнкѣ всѣхъ другихъ измѣримыхъ величинъ.

(По поводу этого примѣчанія г. Гербертъ Спенсеръ написалъ частное письмо, въ которомъ говоритъ, что неправильно считать его противникомъ утилитаріанской доктрины, что онъ признаетъ счастіе конечною цѣлью нравственности, но что, по его мнѣнію, цѣль эта можетъ быть не вполнѣ, а только отчасти достигаема эмпирическимъ обобщеніемъ наблюденій, сдѣланныхъ надъ послѣдствіями поступковъ, а вполнѣ можетъ достигаться только чрезъ выводъ изъ законовъ жизни и изъ условій существованія, какого рода дѣйствія необходимо ведутъ къ счастію, и какого—къ несчастію. Я не имѣю ничего возразить противъ этого мнѣнія, исключая того только, что тутъ совершенно излишнее слово: «необходимо»; если опустить это слово, то, я полагаю, противъ этого мнѣнія не будетъ

подъ вліяніемъ того, какъ понимаютъ общественную пользу; но тѣмъ не менѣе оно всегда признается, какъ требованіе справедливости, когда только считается примѣнимымъ. Всѣ люди признаются имѣющими право на равное съ ними обхожденіе, за исключеніемъ тѣхъ только случаевъ, когда общественная польза требуетъ противнаго. Зависимостью примѣненія этого правила отъ пониманія пользы и объясняется, почему всѣ тѣ общественныя неравенства, которыя не признаются болѣе полезными, представляются людямъ не только безполезными, но несправедливыми, и даже до такой степени тираническими, что люди обыкновенно удивляются, какимъ образомъ эти неравенства могли быть когда либо терпимы, и забываютъ при этомъ, что можетъ быть въ то же время,

---

спорить ни одинъ изъ поборниковъ утилитаріанизма. Конечно, Бентамъ (котораго Спенсеръ имѣетъ преимущественно въ виду въ своей Social statics) менѣе, чѣмъ кто либо, заслуживаетъ упрекъ въ неохотности выводить отношеніе поступковъ къ счастію изъ законовъ человѣческой природы и изъ общихъ условій человѣческой жизни; напротивъ, его обыкновенно упрекаютъ въ томъ, что онъ слишкомъ исключительно опирается на подобнаго рода дедукціи и совершенно отклоняетъ обобщенія спеціальнаго опыта, которымъ будто бы, по мнѣнію Спенсера, обыкновенно ограничиваются поборники утилитаріанизма. По моему мнѣнію (которое, какъ я полагаю, раздѣляетъ и Спенсеръ), какъ во всѣхъ другихъ отрасляхъ научнаго изслѣдованія, такъ и въ этикѣ, всякое общее положеніе тогда только достигаетъ той очевидности, которая необходима для признанія его научно доказаннымъ, когда оно провѣрено и подтверждено обоими процессами, и дедукціей, и эмпирическимъ обобщеніемъ.

вслѣдствіе неправильнаго пониманія пользы, они и сами допускаютъ и одобряютъ существованіе такихъ неравенствъ, которыя впослѣдствіи, при болѣе правильномъ пониманіи пользы, окажутся столь же чудовищными, какъ и тѣ, къ которымъ теперь они относятся съ такимъ негодованіемъ. Вся исторія общественнаго развитія есть ничто иное, какъ рядъ такихъ превращеній, что обычаи, учрежденія, признававшіеся необходимыми для существованія общества, становятся предметомъ общаго осужденія, какъ несправедливость и тиранія. Такъ было съ различіемъ людей на рабовъ и свободныхъ, на дворянъ и крѣпостныхъ, на патриціевъ и плебеевъ; такъ будетъ современемъ, а отчасти есть уже и теперь, съ аристократіей цвѣта, расы, пола.

Итакъ, справедливостью называются извѣстныя нравственныя требованія, которыя, будучи разсматриваемы въ ихъ коллективности, занимаютъ высшее мѣсто въ ряду требованій общественной пользы и потому имѣютъ высшую обязательность, чѣмъ другія требованія. Это впрочемъ нисколько не исключаетъ возможности такого частнаго случая, въ которомъ какая либо другая общественная обязанность можетъ оказаться столь важною, что получаетъ перевѣсъ надъ которымъ либо изъ общихъ правилъ справедливости. Такъ напр. для того, чтобы спасти жизнь человѣка, не только дозволительно, но даже обязательно, украсть или от-

нять силою необходимую для этого вещь или лекарство, притащить силою или насильно заставить доктора лечить, когда нѣтъ другаго доктора. Но мы никогда не называемъ справедливымъ то, что не есть добродѣтель, и потому въ подобныхъ случаяхъ мы не говоримъ, что справедливость должна была уступить другому нравственному принципу, а что справедливое въ обыкновенныхъ случаяхъ стало несправедливымъ въ этомъ частномъ случаѣ вслѣдствіе вмѣшательства другаго принципа. Благодаря этому способу выраженія, для насъ остается ненарушенной та непреложность, которую мы признаемъ за справедливостью, и мы такимъ образомъ избѣгаемъ необходимости признать, что можетъ существовать похвальная несправедливость.

Представленныя мною соображенія устраняютъ, какъ я полагаю, то единственное препятствіе, которое дѣйствительно существовало для признанія утилитаріанской теоріи нравственности. Всегда признавалось очевиднымъ, что все, что справедливо, вмѣстѣ съ тѣмъ и полезно: различіе справедливости отъ пользы заключалось всегда только въ особенности того чувства, которое соединяется съ требованіями справедливости. Если особенность этого чувства достаточно объяснена и для объясненія этой особенности нѣтъ надобности приписывать ему какое нибудь особенное происхожденіе, если оно есть ничто иное, какъ естествен-

ное чувство мести, морализовавшееся чрезъ принятіе въ себя требованій общественнаго блага, если, наконецъ, это чувство не только существуетъ, но и необходимо должно существовать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, къ которымъ только примѣнима идея справедливости, то и самая идея справедливости не составляетъ болѣе камня преткновенія для утилитаріанизма. Справедливость получаетъ значеніе названія извѣстныхъ соціальныхъ полезностей, которыя далеко превосходятъ всѣ другія полезности своею важностью, и потому болѣе абсолютны и болѣе непреклонны въ своихъ требованіяхъ, чѣмъ другія (хотя и не до такой степени, чтобы совершенно исключать возможность преобладанія другихъ полезностей въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ). Такого рода полезности должны быть охраняемы и на самомъ дѣлѣ естественно охраняются чувствомъ, совершенно особеннымъ не только по степени, но и по роду своему, и отличающимся отъ того болѣе кроткаго чувства, которое обыкновенно соединяютъ съ идеей объ увеличеніи человѣческихъ наслажденій или удобствъ, большею опредѣленностью своихъ требованій и большею непреклонностью своихъ санкцій.

О СВОБОДѢ.

О СВОБОДѢ.

ГЛАВА I.

Введеніе.

Предметъ моего изслѣдованія — не такъ называемая свобода воли, столь неудачно противопоставленная доктринѣ, ложно именуемой доктриною философской необходимости, а свобода гражданская или общественная, — свойства и предѣлы той власти, которая можетъ быть справедливо признана принадлежащей обществу надъ индивидуумомъ. Вопросъ этотъ рѣдко ставился и едва-ли даже когда либо разсматривался въ общихъ его основаніяхъ, но тѣмъ не менѣе онъ былъ присущъ всѣмъ практическимъ вопросамъ нашего времени, имѣлъ сильное вліяніе на ихъ практическое рѣшеніе, и скоро, вѣроятно, наступитъ время, когда онъ будетъ признанъ самымъ жизненнымъ вопро-

сомъ будущаго. Собственно говоря, это вопросъ не новый,—можно даже сказать, что онъ, почти съ самыхъ отдаленныхъ временъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, раздѣлялъ людей; но на той ступени прогресса, на которую въ настоящее время вступила наиболѣе цивилизованная часть человѣчества, онъ представляется при совершенно новыхъ условіяхъ, и потому требуетъ совершенно иного и болѣе основательнаго разсмотрѣнія.

Борьба между свободой и властью есть наиболѣе рѣзкая черта въ тѣхъ частяхъ исторіи, съ которыми мы всего ранѣе знакомимся, а въ особенности въ исторіи Рима, Греціи и Англіи. Въ древнія времена борьба эта происходила между подданными, или нѣкоторыми классами подданныхъ, и правительствомъ. Тогда подъ свободой разумѣли охрану противъ тираніи политическихъ правителей, думая (за исключеніемъ нѣкоторыхъ греческихъ демократій), что правители по самому положенію своему необходимо должны имѣть свои особые интересы, противоположные интересамъ управляемыхъ. Политическая власть въ тѣ времена принадлежала обыкновенно одному лицу, или цѣлому племени, или кастѣ, которыя получали ее или по наслѣдству, или вслѣдствіе завоеванія, а не вслѣдствіе желанія управляемыхъ,—и управляемые, обыкновенно, не осмѣливались, а можетъ быть и не желали оспаривать у нихъ этой власти, хотя и старались оградить себя всевозможными мѣрами

противъ ихъ притѣснительныхъ дѣйствій, — они смотрѣли на власть своихъ правителей, какъ на нѣчто необходимое, но и въ тоже время въ высшей степени опасное, какъ на орудіе, которое могло быть одинаково употреблено и противъ нихъ, какъ и противъ внѣшнихъ враговъ. Тогда признавалось необходимымъ существованіе въ обществѣ такого хищника, который былъ бы довольно силенъ, чтобы сдерживать другихъ хищниковъ и охранять отъ нихъ слабыхъ членовъ общества; но такъ какъ и этотъ царь хищниковъ былъ также не прочь попользоваться на счетъ охраняемаго имъ стада, то вслѣдствіе этого каждый членъ общины чувствовалъ себя въ необходимости быть вѣчно на сторожѣ противъ его клюва и когтей. Поэтому въ тѣ времена главная цѣль, къ которой направлялись всѣ усилія патріотовъ, состояла въ томъ, чтобы ограничить власть политическихъ правителей. Такое ограниченіе и называлось свободой. Эта свобода достигалась двумя различными способами: или, во первыхъ, чрезъ признаніе правителемъ такихъ льготъ, называвшихся политическою свободой или политическимъ правомъ, нарушеніе которыхъ со стороны правителя считалось нарушеніемъ обязанности и признавалось законнымъ основаніемъ къ сопротивленію и общему возстанію;—или же, во вторыхъ, чрезъ установленіе конституціонныхъ преградъ. Этотъ второй способъ явился позднѣе перваго;

онъ состоялъ въ томъ, что для нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ дѣйствій власти требовалось согласіе общества или же какого нибудь учрежденія, которое считалось представителемъ общественныхъ интересовъ. Въ большей части европейскихъ государствъ политическая власть должна была болѣе или менѣе подчиниться первому изъ этихъ способовъ ограниченія. Но не такъ было со вторымъ способомъ, и установленіе конституціонныхъ преградъ,—или же, тамъ, гдѣ они существовали, улучшеніе ихъ,—стало по всюду главною цѣлью поклонниковъ свободы. Вообще либеральныя стремленія не шли далѣе конституціонныхъ ограниченій, пока человѣчество довольствовалось тѣмъ, что противопоставляло одного врага другому и соглашалось признавать надъ собой господина, съ условіемъ только имѣть болѣе или менѣе дѣйствительныя гарантіи противъ злоупотребленія имъ своей власти.

Но съ теченіемъ времени въ развитіи человѣчества наступила наконецъ такая эпоха, когда люди перестали видѣть неизбѣжную необходимость въ томъ, чтобы правительство было властію независимою отъ общества, имѣющею свои особые интересы, различные отъ интересовъ управляемыхъ. Признано было за лучшее, чтобы правители государства избирались управляемыми и смѣнялись по ихъ усмотрѣнію. Установилось мнѣніе, что только этимъ путемъ и можно предохранить себя

отъ злоупотребленій власти. Такимъ образомъ прежнее стремленіе къ установленію конституціонныхъ преградъ замѣнилось. мало по малу, стремленіемъ къ установленію такихъ правительствъ, гдѣ бы власть была въ рукахъ выборныхъ и временныхъ правителей, — и къ этой цѣли направились всѣ усилія народной партіи повсюду, гдѣ только такая партія существовала. Такъ какъ вслѣдствіе этого борьба за свободу утратила прежнее свое значеніе борьбы управляемыхъ противъ правителей и стала борьбой за установленіе такихъ правительствъ, которыя бы избирались на опредѣленное время самими управляемыми, то при этомъ возникла мысль, что ограниченіе власти вовсе не имѣетъ того значенія, какое ему приписываютъ, — что оно необходимо только при существованіи такихъ правительствъ, которыхъ интересы противуположны интересамъ управляемыхъ, — что для свободы нужно не ограниченіе власти, а установленіе такихъ правителей, которые бы не могли имѣть другихъ интересовъ и другой воли, кромѣ интересовъ и воли народа, а при такихъ правителяхъ народу не будетъ никакой надобности въ ограниченіи власти, потому что ограниченіе власти было бы въ такомъ случаѣ охраненіемъ себя отъ своей собственной воли: не будетъ же народъ тиранить самъ себя. Полагали, что имѣя правителей, которые передъ нимъ отвѣтственны и которыхъ онъ можетъ смѣнять по своему усмотрѣ-

нію, онъ можетъ довѣрить имъ власть безъ всякаго ограниченія, такъ какъ эта власть будетъ въ такомъ случаѣ ни что иное, какъ его же собственная власть, только извѣстнымъ образомъ концентрированная ради удобства. Такое пониманіе, или правильнѣе сказать, такія чувства были общи всему послѣднему поколѣнію европейскаго либерализма, и на континентѣ Европы онѣ преобладаютъ еще и до сихъ поръ. Тамъ до сихъ поръ еще встрѣчаются только, какъ блистательное исключеніе, такіе политическіе мыслители, которые бы признавали существованіе извѣстныхъ предѣловъ, далѣе которыхъ не должна простираться правительственная власть, если только правительство не принадлежитъ къ числу такихъ, какихъ, по ихъ мнѣнію, и существовать вовсе не должно. Можетъ быть такое направленіе еще и теперь господствовало-бы также и у насъ, въ Англіи, если-бы не измѣнились тѣ обстоятельства, которыя его одно время поддерживали.

Успѣхъ не рѣдко разоблачаетъ такіе пороки и недостатки, которые при неуспѣхѣ легко укрываются отъ наблюденія: это замѣчаніе равно примѣнимо не только къ людямъ, но и къ философскимъ и политическимъ теоріямъ. Мнѣніе, что будто народъ не имѣетъ никакой надобности ограничивать свою собственную власть надъ самимъ собою, — такое мнѣніе могло казаться аксіомой, пока народное правленіе существовало только, какъ

мечта, или какъ преданіе давно минувшихъ дней. Мнѣніе это не могли поколебать и такія необычайныя событія, выходящія изъ обыкновеннаго порядка вещей, какъ нѣкоторыя изъ тѣхъ, которыми ознаменовалась французская революція, такъ какъ эти событія были дѣломъ только не многихъ, захватившихъ въ свои руки власть, и виноваты въ нихъ были не народныя учрежденія, а тотъ аристократическій и монархическій деспотизмъ, который вызвалъ собою столь страшный конвульсивный взрывъ. Но когда образовалась обширная демократическая республика и заняла мѣсто въ международной семьѣ, какъ одинъ изъ самыхъ могущественныхъ ея членовъ, тогда избирательное и отвѣтственное правительство стало предметомъ наблюденія и критики, какъ это бываетъ со всякимъ великимъ фактомъ. Тогда замѣтили, что подобныя фразы, какъ само-управленіе и власть народа надъ самимъ собою, не совсѣмъ точны. Нар дъ, облеченный властію, не всегда представляетъ тождество съ народомъ, подчиненнымъ этой власти, и такъ называемое самоуправленіе не есть такое правленіе, гдѣ бы каждый управлялъ самъ собою, а такое, гдѣ каждый управляется всѣми остальными. Кромѣ того, воля народа на самомъ дѣлѣ есть ничто иное, какъ воля наиболѣе многочисленной или наиболѣе дѣятельной части народа, т. е. воля большинства или тѣхъ, кто успѣваетъ заставить себя признать за большинство, — слѣдовательно,

народная власть можетъ имѣть побужденія угнетать часть народа, и поэтому противъ ея злоупотребленій также необходимы мѣры, какъ и противъ злоупотребленій всякой другой власти. Стало быть ограниченіе правительственной власти надъ индивидуумомъ не утрачиваетъ своего значенія и въ томъ случаѣ, когда облеченные властію отвѣтственны предъ народомъ, т. е. предъ большинствомъ народа. Этотъ взглядъ не встрѣтилъ возраженій со стороны мыслителей и нашелъ сочувствіе въ тѣхъ классахъ европейскаго общества, которыхъ дѣйствительные или мнимые интересы не сходятся съ интересами демократіи, поэтому онъ распространился безъ всякаго затрудненія и въ настоящее время въ политическихъ умозрѣніяхъ „тиранія большинства“, обыкновенно, включается въ число тѣхъ золъ, противъ которыхъ общество должно быть на сторожѣ.

Но мыслящіе люди сознаютъ, что когда само общество, т. е. общество колективно становится тираномъ по отношенію къ отдѣльнымъ индивидуумамъ, его составляющимъ, то средства его къ тираніи не ограничиваются тѣми только средствами, какія можетъ имѣть правительственная власть. Общество можетъ приводить и приводитъ само въ исполненіе свои собственныя постановленія, и если оно дѣлаетъ постановленіе неправильное или такое, посредствомъ котораго вмѣшивается въ то, во что не должно вмѣшиваться, тогда въ этомъ

случаѣ тиранія его страшнѣе всевозможныхъ политическихъ тираній, потому что хотя она и не опирается на какія нибудь крайнія уголовныя мѣры, но спастись отъ нея гораздо труднѣе, — она глубже проникаетъ во всѣ подробности частной жизни и кабалитъ самую душу. Вотъ почему недостаточно имѣть охрану только отъ правительственной тираніи, но необходимо имѣть охрану и отъ тираніи господствующаго въ обществѣ мнѣнія или чувства, — отъ свойственнаго обществу тяготѣнія, хотя и не уголовными мѣрами, когда оно насильно навязываетъ свои идеи и свои правила тѣмъ индивидуумамъ, которые съ нимъ расходятся въ своихъ понятіяхъ, — отъ его наклонности не только прекращать всякое развитіе такихъ индивидуальностей, которыя не гармонируютъ съ господствующимъ направленіемъ, но, если возможно, то и предупреждать ихъ образованіе и вообще сглаживать всѣ индивидуальныя особенности, вынуждая индивидуумовъ сообразовать ихъ характеры съ извѣстными образцами. Есть граница, далѣе которой общественное мнѣніе не можетъ законно вмѣшиваться въ индивидуальную независимость; надо установить эту границу, надо охранить ее отъ нарушеній, — это также необходимо, какъ необходима охрана отъ политическаго деспотизма.

Что такая граница необходима, это—безспорно; но практическій вопросъ, какъ провести эту

границу, какъ согласить личную независимость и общественный контроль, — этотъ вопросъ почти еще не тронутъ. Все, что дѣлаетъ для человѣка цѣннымъ его существованіе, условливается наложеніемъ ограниченій на свободу дѣйствій другихъ людей. Слѣдовательно, необходимо, чтобы законъ,— а въ тѣхъ случаяхъ, которые не могутъ быть предметомъ закона, необходимо, чтобы общественное мнѣніе обязывало людей исполнять извѣстныя правила поведенія. Но какія же должны быть эти правила,—вотъ въ чемъ самый важный для людей вопросъ, а между тѣмъ, за весьма немногими только исключеніями, это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, въ разрѣшеніи которыхъ сдѣлано наименѣе успѣха.

Не найдется двухъ такихъ столѣтій и едва-ли найдется двѣ такія страны, которыя бы рѣшали этотъ вопросъ одинаково. Мало того: рѣшеніе одного столѣтія дѣлается обыкновенно предметомъ удивленія для другаго столѣтія, а равно рѣшеніе одной страны—для другой. А между тѣмъ, если мы остановимся на отношеніи къ этому вопросу людей извѣстной эпохи и извѣстной страны, то мы увидимъ, что рѣшеніе его представлялось для нихъ столь же мало затруднительнымъ, какъ если бы онъ и не былъ вопросомъ и былъ бы уже разъ навсегда единогласно порѣшенъ человѣчествомъ. Правила, которыя у нихъ господствовали, казались имъ несомнѣнными, очевидными сами по

себѣ; эта почти всеобщая иллюзія представляетъ собою одинъ изъ примѣровъ магическаго вліянія привычки, которая не есть только, какъ говоритъ пословица, вторая натура, но постоянно ошибочно принимается за первую. Дѣйствіе привычки устраняетъ въ людяхъ всякое сомнѣніе относительно непреложности господствующихъ правилъ поведенія, и дѣйствіе это тѣмъ болѣе сильно, что люди обыкновенно не чувствуютъ потребности въ какихъ либо доказательствахъ для убѣжденія себя въ истинности этихъ правилъ или для оправданія ихъ передъ другими. Въ тѣхъ предметахъ, къ которымъ обыкновенно относятся эти правила, свидѣтельство нашихъ собственныхъ чувствъ стоитъ всевозможныхъ доказательствъ и дѣлаетъ всѣ доказательства безполезными,—таково общераспространенное мнѣніе, которое поддерживаютъ даже люди, имѣющіе притязаніе быть философами. Каждому человѣку присуще желаніе, чтобы другіе люди поступали такимъ же образомъ, какъ онъ самъ поступаетъ, и всѣ сочувственные ему люди имѣютъ въ этомъ отношеніи одинаковое съ нимъ желаніе, — вотъ что въ дѣйствительности руководитъ мнѣніемъ людей касательно правилъ поведенія. Конечно, люди не сознаютъ, чтобы ихъ мнѣнія о правилахъ поведенія условливались ихъ личнымъ вкусомъ; но тѣмъ не менѣе мы не можемъ не признать дѣломъ личнаго вкуса такія мнѣнія, которыя въ подтвержденіе своей истин-

ности не приводятъ никакихъ доводовъ, или же, вмѣсто всякихъ доводовъ, ссылаются на то, что такъ думаютъ и другіе люди, тогда какъ это обстоятельство, что извѣстное мнѣніе раздѣляется многими людьми, нисколько не доказываетъ истинности мнѣнія, а свидѣтельствуетъ только, что извѣстный вкусъ принадлежитъ не одному, а многимъ индивидуумамъ. Для людей, не выходящихъ изъ общаго уровня, ихъ личный вкусъ, когда его раздѣляютъ другіе люди, составляетъ не только совершенно достаточное доказательство, но и единственную основу тѣхъ ихъ понятій о нравственности, которыя не основаны на религіи, и служитъ для нихъ даже главнымъ истолкователемъ тѣхъ нравственныхъ правилъ, которыя даетъ имъ религія. Слѣдовательно, мнѣніе людей о томъ, что похвально и что предосудительно, находится въ зависимости отъ тѣхъ разнообразныхъ причинъ, которыя вліяютъ на образованіе въ человѣкѣ того или другаго желанія касательно поведенія другихъ людей, и которыя въ этомъ случаѣ столь же многочисленны, какъ и вообще при образованіи всякаго рода желаній. Причины эти заключаются иногда въ степени умственнаго развитія людей, а иногда въ ихъ предразсудкахъ и предубѣжденіяхъ, — часто въ ихъ соціальныхъ стремленіяхъ, а не рѣдко и въ стремленіяхъ антисоціальныхъ, въ зависти, гордости, презрѣніи, — но большею же частію въ ихъ законныхъ или

незаконныхъ личныхъ цѣляхъ, въ тѣхъ желаніяхъ и опасеніяхъ, которыя возбуждаются въ нихъ ихъ личными интересами. Во всѣхъ обществахъ, гдѣ одинъ классъ господствуетъ надъ другими, большая часть общественной нравственности условливается интересами господствующаго класса и его сознаніемъ своего превосходства. Такъ въ отношеніяхъ между Спартанцами и Илотами, между плантаторами и неграми, между правителями и управляемыми, между благородными и неблагородными, между мужчинами и женщинами, большая чэсть понятій истекаетъ изъ интересовъ и чувствъ господствующаго класса, и эти понятія въ свою очередь воздѣйствуютъ на нравственныя понятія членовъ господствующаго класса касательно ихъ отношеній между собою. Напротивъ, въ тѣхъ обществахъ, гдѣ классъ, нѣкогда господствовавшій, утратилъ свое преобладаніе, или гдѣ его преобладаніе стало непопулярнымъ, тамъ нерасположеніе къ этому преобладанію становится нерѣдко главнымъ условіемъ, вліяющимъ на нравственныя чувства людей. Другой принципъ, играющій важную роль въ образованіи правилъ поведенія, налагаемыхъ на людей закономъ или общественнымъ мнѣніемъ, состоитъ въ раболѣпствѣ, въ желаніи угодить своимъ временнымъ господамъ или богамъ. Это раболѣпство хотя по существу своему и есть чувство совершенно эгоистическое, но тѣмъ не менѣе оно не имѣетъ въ себѣ ничего

лицемѣрнаго, — оно порождаетъ въ людяхъ антипатіи, совершенно искреннія, — этому-то чувству люди и обязаны были своею способностію жечь колдуновъ и еретиковъ. Кромѣ того, въ направленіи нравственныхъ чувствъ, при всѣхъ этихъ, болѣе низкихъ по своему достоинству, вліяніяхъ, всегда имѣло свою долю участія, и довольно значительную, также и то, что составляло очевидный общественный интересъ. Правда, — вліяніе общественнаго интереса на нравственныя понятія обыкновенно было не ради самаго этого интереса, — не истекало изъ сознанія людьми того значенія, какое общественный интересъ долженъ имѣть по отношенію къ ихъ поступкамъ, а было только слѣдствіемъ тѣхъ симпатій или антипатій, которыя этотъ интересъ порождалъ въ людяхъ, и хотя стремленія этихъ симпатій или антипатій не имѣли ничего общаго или имѣли весьма мало общаго съ общественными интересами, но это нисколько не умаляло ихъ вліянія на установленіе тѣхъ или другихъ нравственныхъ правилъ.

И такъ, симпатіи и антипатіи общества или наиболѣе могущественной части общества, — вотъ что въ дѣйствительности главнымъ образомъ опредѣляетъ, какія именно правила обязаны соблюдать индивидуумы подъ страхомъ, въ случаѣ несоблюденія ихъ, навлечь на себя преслѣдованіе со стороны закона или со стороны общественнаго мнѣнія. Люди, стоявшіе выше общаго уровня по своему ум-

ственному развитію и по своимъ чувствамъ, обыкновенно оставляли неприкосновеннымъ самый принципъ, на которомъ основывался такой порядокъ вещей, хотя и входили съ нимъ въ столкновеніе въ нѣкоторыхъ частныхъ его примѣненіямъ. Ихъ занималъ вопросъ о томъ, что должно быть для общества предметомъ симпатіи и антипатіи, а не о томъ, должны ли общественныя симпатіи и антипатіи быть закономъ для индивидуумовъ. Они не вступались за еретиковъ, не дѣйствовали во имя свободы, а стремились только къ тому, чтобы измѣнить тѣ господствующія чувства, которыя не были согласны съ ихъ личными чувствами. Только по религіозному вопросу нѣкоторые индивидуумы становились по пременамъ на болѣе высшую точку зрѣнія и упорно отстаивали ее: это обстоятельство весьма поучительно во многихъ отношеніяхъ, а не только въ томъ отношеніи, что представляетъ собою наиболѣе разительный примѣръ погрѣшимости такъ называемаго нравственнаго чувства, такъ какъ odium theologicum въ людяхъ, искренно набожныхъ, составляетъ самое непреложное проявленіе этого чувства. Тѣ, которые первые свергли съ себя иго такъ называемой всемірной церкви, были вообще также мало расположены допускать различіе въ религіозныхъ мнѣніяхъ, какъ и сама эта церковь. Но когда, наконецъ, послѣ ожесточенной борьбы, не доставившей рѣшительнаго торжества ни одной

изъ борящихся сторонъ, различныя церкви или секты вынуждены были ограничить свои желанія сохраненіемъ того, что уже имѣли, тогда меньшинство, утративъ надежду сдѣлаться большинствомъ, увидѣло себя въ необходимости направить всѣ свои усилія только къ тому, чтобы тѣ, которыхъ оно не успѣло обратить въ свою вѣру, не препятствовали ему исповѣдывать свои особыя религіозныя мнѣнія. И такъ, власть общества надъ индивидуумомъ вызывала противъ себя прямой протестъ почти исключительно только въ дѣлѣ религіи, и только въ религіозной сферѣ права индивидуума по отношенію къ обществу были заявлены, какъ принципъ. Большая часть великихъ писателей, которымъ мы и обязаны той религіозной свободой, какую только имѣемъ, признавали право совѣсти неотъемлемымъ правомъ человѣка и рѣшительно отрицали, чтобы человѣкъ былъ обязанъ кому либо отчетомъ въ своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ. Но людямъ вообще столь свойственна нетерпимость во всемъ, что близко ихъ сердцу, что едва ли когда нибудь религіозная свобода существовала иначе, какъ благодаря религіозной индеферентности, которая не любитъ, чтобы ея покой нарушали какими нибудь богословскими спорами. По общему понятію религіозныхъ людей, едва-ли не всѣхъ безъ исключенія, и даже въ тѣхъ странахъ, которыя пользуются наибольшей религіозной свободой, терпимость въ

дѣлѣ религіи должна быть допускаема не иначе, какъ съ извѣстными ограниченіями. По понятію однихъ можетъ быть терпимо разномысліе по вопросамъ, касающимся церковнаго управленія, но никакъ не разномысліе по догмѣ; по понятію же другихъ могутъ быть терпимы всякаго рода иновѣрцы, но только не паписты и не унитаріи; третьи признаютъ терпимыми всѣ иновѣрія, которыя не отрицаютъ откровенія, и только не многіе идутъ далѣе этого и ставятъ условіемъ терпимости вѣру въ Бога и въ будущую жизнь. Вездѣ, гдѣ только большинство проникнуто искреннимъ, сильнымъ религіознымъ чувствомъ, тамъ оно почти нисколько не поступилось своими притязаніями на исключительное господство.

Въ Англіи, вслѣдствіе нѣкоторыхъ особенностей ея политической исторіи, хотя иго общественнаго мнѣнія можетъ быть и тяжеле, но за то иго закона легче, чѣмъ въ какой либо другой странѣ Европы; тамъ существуетъ довольно сильное нерасположеніе къ всякаго рода вмѣшательству законодательной или исполнительной власти въ частную жизнь, но это происходитъ не столько вслѣдствіе уваженія къ индивидуальной независимости, сколько вслѣдствіе старой привычки смотрѣть на правительство, какъ на представителя интересовъ, противоположныхъ интересамъ общества. Большинство англійскаго общества еще не дошло до сознанія, что правительственная власть

есть его собственная власть и что мнѣнія правительственныя суть его собственныя мнѣнія. Когда оно дойдетъ до этого сознанія, то свобода индивидума по всей вѣроятности въ такой же степени будетъ терпѣть отъ правительственнаго вмѣшательства, въ какой въ настоящее время терпитъ отъ вмѣшательства общественнаго мнѣнія. И теперь Англичане готовы всегда встрѣтить сильнымъ отпоромъ всякую попытку со стороны закона контролировать индивидуумовъ по такимъ предметамъ, по которымъ они привыкли стоять внѣ всякаго контроля; но при этомъ они нисколько не разбираютъ, дѣйствительно-ли извѣстный предметъ долженъ или не долженъ подлежать легальному контролю, и влѣдствіе этого нерасположеніе ихъ къ правительственному вмѣшательству, само по себѣ весьма похвальное, хотя часто и примѣняется кстати, но часто также примѣняется и совершенно не впопадъ. У нихъ нѣтъ принципа, которымъ бы они оцѣнивали правильность или неправильность правительственнаго вмѣшательства, всѣ ихъ сужденія въ этомъ случаѣ совершенно произвольны,—каждый судитъ по своимъ личнымъ наклонностямъ. Одни охотно поощряютъ правительство на всякое дѣло, если только видятъ, что правительство въ этомъ случаѣ можетъ принести пользу или устранить вредъ,—другіе же предпочитаютъ лучше перенести зло, чѣмъ расширять сферу правительственной дѣятельности. Таковы два главныя

направленія,—и когда возникаетъ вопросъ о правительственномъ вмѣшательствѣ по какому нибудь частному случаю, одни становятся за вмѣшательство, другіе противъ, смотря потому, котораго изъ этихъ двухъ направленій они придерживаются,—или же, смотря по интересу, какой возбуждаетъ въ нихъ тотъ предметъ, на который предполагается обратить правительственную дѣятельность,—или же, смотря потому, ожидаютъ-ли отъ правительства, что оно поступитъ именно такъ, какъ того желаютъ, или же поступитъ иначе; но рѣдко, чтобы сужденія въ этомъ случаѣ основывались на твердо установившемся мнѣніи: долженъ ли извѣстный предметъ подлежать правительственному вмѣшательству или не долженъ. По неимѣнію принципа, который бы руководилъ ихъ сужденіемъ, какъ та, такъ и другая сторона часто впадаютъ въ заблужденіе: одни не рѣдко обращаются къ правительственному вмѣшательству, когда этого вовсе не слѣдуетъ, а другіе нерѣдко осуждаютъ это вмѣшательство, когда оно вовсе не заслуживаетъ осужденія.

Цѣль настоящаго изслѣдованія состоитъ въ томъ, чтобы установить тотъ принципъ, на которомъ должны основываться отношенія общества къ индивидууму, т. е. на основаніи котораго должны быть опредѣлены какъ тѣ принудительныя и контролирующія дѣйствія общества по отношенію къ индивидууму, которыя совершаются съ помощію физической силы въ формѣ легальнаго

преслѣдованія, такъ и тѣ дѣйствія, которыя заключаются въ нравственномъ насиліи надъ индивидуумомъ чрезъ общественное мнѣніе. Принципъ этотъ заключается въ томъ, что люди, индивидуально или коллективно, могутъ справедливо вмѣшиваться въ дѣйствія индивидуума только ради самоохраненія, что каждый членъ цивилизованнаго общества только въ такомъ случаѣ можетъ быть справедливо подвергнутъ какому нибудь принужденію, если это нужно для того, чтобы предупредить съ его стороны такія дѣйствія, которыя вредны для другихъ людей,—личное же благо самого индивидуума, физическое или нравственное, не составляетъ достаточнаго основанія для какого бы то ни было вмѣшательства въ его дѣйствіе. Никто не имѣетъ права принуждать индивидуума что либо дѣлать, или что либо не дѣлать, на томъ основаніи, что отъ этого ему самому было бы лучше, или что отъ этого онъ сдѣлался бы счастливѣе, или, наконецъ, на томъ основаніи, что, по мнѣнію другихъ людей, поступить извѣстнымъ образомъ было бы благороднѣе и даже похвальнѣе. Все это можетъ служить достаточнымъ основаніемъ для того, чтобы поучать индивидуума, уговаривать, усовѣщивать, убѣждать его, но никакъ не для того, чтобы принуждать его или дѣлать ему какое нибудь возмездіе за то, что онъ поступилъ не такъ, какъ того желали. Только въ томъ случаѣ дозволительно подобное

вмѣшательство, если дѣйствія индивидуума причиняютъ вредъ кому либо. Власть общества надъ индивидуумомъ не должна простираться далѣе того, на сколько дѣйствія индивидуума касаются другихъ людей; въ тѣхъ же своихъ дѣйствіяхъ, которыя касаются только его самого, индивидуумъ долженъ быть абсолютно независимъ надъ самимъ собою,—надъ своимъ тѣломъ и духомъ онъ неограниченный господинъ.

Едва ли есть надобность оговаривать, что подъ индивидуумомъ я разумѣю въ этомъ случаѣ человѣка, который находится въ полномъ обладаніи своихъ способностей, и что высказанный мною принципъ не примѣнимъ, конечно, къ дѣтямъ и малолѣтнимъ и вообще къ такимъ людямъ, которые по своему положенію требуютъ, чтобъ о нихъ заботились другіе люди и охраняли ихъ не только отъ того зла, какое могутъ имъ сдѣлать другіе, но и отъ того, какое они могутъ сдѣлать сами себѣ. По тѣмъ же причинамъ мы должны считать этотъ принципъ равно непримѣнимымъ и къ обществамъ, находящимся въ такомъ состояніи, которое справедливо можетъ быть названо состояніемъ младенческимъ. Въ этомъ младенческомъ состояніи обществъ обыкновенно встрѣчаются столь великія препятствія для прогресса, что едва ли и можетъ быть рѣчь о предпочтеніи тѣхъ или другихъ средствъ къ ихъ преодолѣнію, и въ этомъ случаѣ достиженіе прогресса можетъ оправдывать

со стороны правителя такія дѣйствія, которыя не согласны съ требованіями свободы, потому что въ противномъ случаѣ всякій прогрессъ, можетъ быть, былъ бы совершенно недостижимъ. Деспотизмъ можетъ быть оправданъ, когда идетъ дѣло о народахъ варварскихъ и когда при этомъ его дѣйствія имѣютъ цѣлію прогрессъ и на самомъ дѣлѣ приводятъ къ прогрессу. Свобода не примѣнима какъ принципъ при такомъ порядкѣ вещей, когда люди еще не способны къ саморазвитію путемъ свободы; въ такомъ случаѣ самое лучшее, что они могутъ сдѣлать для достиженія прогресса, это—безусловно повиноваться какому нибудь Акбару или Карлу Великому, если только такъ будутъ счастливы, что въ средѣ ихъ найдутся подобныя личности. Но какъ скоро люди достигаютъ такого состоянія, что становятся способны развиваться чрезъ свободу (а такого состоянія давно уже достигли всѣ народы, которыхъ можетъ касаться наше изслѣдованіе), тогда всякое принужденіе, прямое или косвенное, посредствомъ преслѣдованія или кары, можетъ быть оправдано только, какъ необходимое средство чтобы оградить другихъ людей отъ вредныхъ дѣйствій индивидуума, но не какъ средство сдѣлать добро самому тому индивидууму, котораго свобода нарушается этимъ принужденіемъ.

Здѣсь кстати замѣтить, что я не пользуюсь для моей аргументаціи тѣми доводами, которые могъ бы заимствовать изъ идеи абстрактнаго права,

предполагающей право совершенно независимымъ отъ пользы. Я признаю пользу верховнымъ судьей для разрѣшенія всѣхъ этическихъ вопросовъ, т. е. пользу въ обширномъ смыслѣ, ту пользу, которая имѣетъ своимъ основаніемъ постоянные интересы, присущіе человѣку, какъ существу прогрессивному. Я утверждаю, что эти интересы оправдываютъ подчиненіе индивидуума внѣшнему контролю только по такимъ его дѣйствіямъ, которыя касаются интересовъ другихъ людей. Если кто либо совершитъ поступокъ, вредный для другихъ, то á prima facie подлежитъ или легальной карѣ, или же общественному осужденію, если печальная кара въ данномъ случаѣ неудобопримѣнима. Индивидуумъ можетъ быть справедливо принуждаемъ совершать нѣкоторыя положительныя дѣйствія ради пользы другихъ людей, такъ напримѣръ—свидѣтельствовать въ судѣ, принимать извѣстную долю участія въ общей защитѣ или въ какомъ либо общемъ дѣлѣ, необходимомъ для интересовъ того общества, покровительствомъ котораго онъ пользуется, совершать нѣкоторыя добрыя дѣла, напр. въ нѣкоторыхъ случаяхъ спасти жизнь своего ближняго или оказать покровительство беззащитному противъ злоупотребленій сильнаго;—все это такого рода дѣйствія, которыя индивидуумъ обязанъ совершать и за несовершеніе которыхъ онъ можетъ быть совершенно правильно подвергнутъ отвѣтственности передъ обществомъ. Человѣкъ мо-

жетъ вредить другимъ не только своими дѣйствіями, но также и своимъ бездѣйствіемъ: въ обоихъ случаяхъ онъ отвѣтственъ въ причиненномъ злѣ, но только привлеченіе къ отвѣту въ послѣднемъ случаѣ требуетъ большей осмотрительности, чѣмъ въ первомъ. Дѣлать человѣка отвѣтственнымъ за то, что онъ причинилъ зло, это есть общее правило; дѣлать же его отвѣтственнымъ за то, что онъ не устранилъ зла, это уже не правило, а, говоря сравнительно, только исключеніе. Но много такихъ случаевъ, которые, по своей очевидности и по своей важности, совершенно оправдываютъ подобное исключеніе. Во всемъ, что такъ или иначе касается другихъ людей, индивидуумъ de jure отвѣтственъ или прямо передъ тѣми, чьи интересы затронуты, или же передъ обществомъ, какъ ихъ охранителемъ.

Нерѣдко случается, что индивидуумъ по совершенно основательнымъ причинамъ не подвергается никакой отвѣтственности за причиненное имъ зло; но причины эти не въ томъ заключаются, чтобъ индивидуумъ дѣйствительно не долженъ былъ подлежать отвѣтственности въ данномъ случаѣ, а истекаютъ изъ соображеній совершенно иного рода. Такъ напримѣръ случается, когда контроль общества оказывается недѣйствительнымъ и даже вреднымъ, и люди обыкновенно поступаютъ лучше, если предоставлены самимъ себѣ и освобождены отъ всякаго контроля,—или когда ока-

зывается, что контроль общества ведетъ за собой другое зло, еще большее, чѣмъ то, которое желательно предупредить. Но когда подобнаго рода причины препятствуютъ подвергать индивидуума отвѣтственности за сдѣланное имъ зло, то въ такихъ случаяхъ собственная совѣсть самого индивидуума должна заступать мѣсто отсутствующаго судьи и охранять тѣ интересы, которые такимъ образомъ лишены внѣшней охраны, и индивидуумъ долженъ быть самъ для себя въ такихъ случаяхъ тѣмъ болѣе строгимъ судьею, что совершенно свободенъ отъ всякаго другаго суда.

Но въ жизни человѣка есть такая сфера, которая не имѣетъ никакого отношенія къ интересамъ общества, или, по крайней мѣрѣ, не имѣетъ никакого непосредственнаго къ нимъ отношенія: сюда принадлежитъ вся та сторона человѣческой жизни и дѣятельности, которая касается только самаго индивидуума, а если и касается другихъ людей, то не иначе, какъ вслѣдствіе ихъ совершенно сознательнаго на то согласія или желанія. Совершающееся въ этой сферѣ можетъ и не касаться прямо другихъ людей, а только косвенно, то есть чрезъ посредство того индивидуума, котораго касается непосредственно, — и на этомъ основаніи мнѣ могутъ быть предъявлены нѣкоторыя возраженія, которыя, впрочемъ, я разсмотрю впослѣдствіи, а теперь остановлюсь на томъ, что та сфера человѣческой

жизни, которая имѣетъ непосредственное отношеніе только къ самому индивидууму, и есть сфера индивидуальной свободы. Сюда принадлежитъ, во первыхъ, свобода совѣсти въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, абсолютная свобода мысли, чувства, мнѣнія касательно всѣхъ возможныхъ предметовъ, и практическихъ, и спекулятивныхъ, и научныхъ, и нравственныхъ, и теологическихъ. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что свобода выражать и опубликовывать свои мысли должна подлежать совершенно инымъ условіямъ, такъ какъ она принадлежитъ къ той сферѣ индивидуальной дѣятельности, которая касается другихъ людей; но на самомъ дѣлѣ она имѣетъ для индивидуума почти совершенно такое же значеніе, какъ и свобода мысли, и въ дѣйствительности неразрывно съ нею связана. Во вторыхъ сюда принадлежитъ свобода выбора и преслѣдованія той или другой цѣли, свобода устраивать свою жизнь сообразно съ своимъ личнымъ характеромъ, по своему личному усмотрѣнію, къ какимъ бы это ни вело послѣдствіямъ для меня лично, и если я не дѣлаю вреда другимъ людямъ, то люди не имѣютъ основанія вмѣшиваться въ то, что я дѣлаю, какъ бы мои дѣйствія ни казались имъ глупыми, предосудительными, безразсудными. Отсюда вытекаетъ третій видъ индивидуальной свободы, подлежащій тому же ограниченію,—свобода дѣйствовать сообща съ другими индивидуумами, соединяться съ ними

для достиженія какой либо цѣли, которая не вредна другимъ людямъ; при этомъ предполагается конечно, что къ дѣйствію сообща привлекаются люди совершеннолѣтніе, и притомъ не обманомъ и не насиліемъ.

Не свободно то общество, какая бы ни была его форма правленія, въ которомъ индивидуумъ не имѣетъ свободы мысли и слова, свободы жить, какъ хочетъ, свободы ассоціаціи, — и только то общество свободно, въ которомъ всѣ эти виды индивидуальной свободы существуютъ абсолютно и безразлично одинаково для всѣхъ его членовъ. Только такая свобода и заслуживаетъ названія свободы, когда мы можемъ совершенно свободно стремиться къ достиженію того, что считаемъ для себя благомъ, и стремиться тѣми путями, какіе признаемъ за лучшіе,—съ тѣмъ только ограниченіемъ, чтобы наши дѣйствія не лишали другихъ людей ихъ блага, или не препятствовали бы другимъ людямъ въ ихъ стремленіяхъ къ его достиженію. Каждый индивидуумъ есть лучшій самъ для себя охранитель своего здоровья, какъ физическаго, такъ и умственнаго и духовнаго. Предоставляя каждому жить такъ, какъ онъ признаетъ за лучшее, человѣчество вообще гораздо болѣе выигрываетъ, чѣмъ принуждая каждаго жить такъ, какъ признаютъ за лучшее другіе.

То, что я высказалъ, не заключаетъ въ себѣ ничего новаго и можетъ даже показаться совершеннымъ трю-

измомъ, а между тѣмъ едва ли какая другая доктрина представляетъ болѣе рѣзкое противорѣчіе съ тѣмъ общимъ направленіемъ, какое мы вообще встрѣчаемъ какъ въ мнѣніяхъ, такъ и въ практикѣ. Общества, обыкновенно, съ неменьшимъ рвеніемъ заботились (сообразно степени своего развитія) о подчиненіи индивидуумовъ своимъ понятіямъ о личномъ благѣ, какъ и о благѣ общественномъ. Древнія республики считали себя въ правѣ регулировать всѣ стороны частной жизни на томъ основаніи, что для государства въ высшей степени важно все, что касается физическаго или умственнаго состоянія его гражданъ. Мнѣніе это раздѣляли и древніе философы. Такой взглядъ древнихъ на отношеніе общества къ индивидууму могъ имѣть свое оправданіе въ томъ, что древнія общества были маленькія республики, которыя, будучи окружены сильными врагами, находились постоянно въ опасности погибнуть отъ внѣшняго нападенія или вслѣдствіе внутреннихъ сотрясеній; понятно, что не въ состояніи были положиться на индивидуальную свободу тѣ общества, которыя находились въ такихъ условіяхъ, что за самое даже кратковременное ослабленіе своей энергіи и своего самообладанія могли поплатиться существованіемъ. Общества же новаго времени были могущественныя государства, и, притомъ, въ этихъ обществахъ духовная власть была отдѣлена отъ свѣтской,

вслѣдствіе чего управленіе совѣстію людей и управленіе ихъ земными дѣлами находилось не въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ: вотъ почему мы не находимъ въ нихъ такого вмѣшательства со стороны закона въ частную жизнь, какое существовало въ древнемъ мірѣ. Но за то въ этихъ обществахъ индивидуумъ находился даже подъ болѣе тяжелымъ нравственнымъ гнетомъ въ томъ, что касалось его лично, чѣмъ въ томъ, что касалось общества, такъ какъ религія, составлявшая самый могущественный элементъ нравственнаго чувства, почти постоянно была орудіемъ въ рукахъ честолюбивой іерархіи, стремившейся подчинить своему контролю всѣ стороны человѣческой жизни, или же была проникнута духомъ пуританизма. Замѣтимъ, что даже нѣкоторые изъ новѣйшихъ реформаторовъ, которые съ наибольшей силой возставали противъ религій прошедшаго, не уступятъ любой церкви или любой сектѣ относительно признанія правъ духовнаго господства; укажу на Конта, котораго соціальная система, какъ онъ ее развилъ въ своемъ Traitè de Politique Positive, стремится установить (правда болѣе нравственнымъ вліяніемъ, чѣмъ легальностію) такой деспотизмъ общества надъ индивидуумомъ, который далеко оставляетъ за собой даже все то, что мы находимъ въ политическихъ идеалахъ самыхъ строгихъ дисциплинаторовъ изъ числа древнихъ философовъ.

*

Не только въ доктринахъ мыслящихъ индивидуумовъ, но и вообще въ людяхъ замѣтна возрастающая склонность къ расширенію господства общества надъ индивидуумомъ, какъ чрезъ общественное мнѣніе, такъ и чрезъ посредство закона, далѣе должныхъ предѣловъ; и такъ какъ всѣ измѣненія, совершающіяся въ существующихъ порядкахъ, обнаруживаютъ тяготѣніе къ усиленію общества и къ ослабленію индивидуума, то чрезмѣрное увеличеніе власти общества надъ индивидуумомъ представляется намъ не такимъ зломъ, которое обѣщало бы со временемъ прекратиться само собою, а напротивъ, это такое зло, которое все болѣе и болѣе растетъ. Та наклонность, которую мы замѣчаемъ не только въ правителяхъ по отношенію къ управляемымъ, но и вообще въ гражданахъ по отношенію къ ихъ согражданамъ, наклонность навязывать другимъ свои мнѣнія и вкусы, находитъ себѣ столь энергическую поддержку какъ въ нѣкоторыхъ самыхъ лучшихъ, такъ и въ нѣкоторыхъ самыхъ худшихъ чувствахъ, свойственныхъ человѣческой природѣ, что едва ли ее что либо воздерживаетъ, кромѣ недостатка средствъ, — а такъ какъ средства къ порабощенію индивидуума не только не уменьшаются, но напротивъ все болѣе и болѣе растутъ, то мы должны ожидать, что при такихъ условіяхъ господство общества надъ индивидуумомъ будетъ все болѣе и болѣе увеличиваться,

если только это зло не встрѣтитъ для себя сильной преграды въ твердомъ нравственномъ убѣжденіи.

Я нахожу соотвѣтствующимъ моей задачѣ не приступать прямо къ общему тезису, а ограничиться сперва тою его частію, по отношенію къ которой высказанный мною принципъ, если не вполнѣ, то, по крайней мѣрѣ, до нѣкоторой степени признается общепринятыми мнѣніями, — а именно: свободою мысли. Съ этою свободой неразрывно связана свобода говорить и писать. Хотя оба эти вида свободы въ значительной степени входятъ въ политическую нравственность во всѣхъ странахъ, которыя только имѣютъ притязаніе на вѣротерпимость и на свободныя учрежденія, но тѣ основы, какъ философскія, такъ и практическія, на которыя они опираются, едва ли до такой степени общеизвѣстны и едва ли надлежащимъ образомъ оцѣниваются даже многими изъ руководителей мнѣнія, какъ этого можно было бы ожидать. Эти основы, будучи правильно поняты, имѣютъ болѣе широкую примѣнимость, а не только по отношенію къ свободѣ мысли и слова, и подробное разсмотрѣніе этой части вопроса будетъ, я полагаю, лучшимъ введеніемъ въ остальную его часть. Я надѣюсь, что тѣ изъ моихъ читателей, которые не найдутъ для себя ничего новаго въ томъ, что я скажу, извинятъ мнѣ это, принявъ въ сообра-

женіе то, что побуждаетъ меня пускаться въ разсужденія о такомъ предметѣ, о которомъ уже такъ много разсуждали въ теченіи трехъ столѣтій.

ГЛАВА II.

О свободѣ мысли и критики.

Дозволительно надѣяться, что миновало уже то время, когда надо было доказывать, что свобода печати есть одна изъ необходимыхъ гарантій противъ правительственнаго произвола или притѣсненія. Дозволительно также предположить безполезной всякую аргументацію въ подтвержденіе того, что народъ не долженъ терпѣть, чтобы какая бы то ни было, законодательная или исполнительная власть, предписывала ему имѣть извѣстныя мнѣнія или опредѣляла бы, какія мнѣнія или доктрины могутъ свободно доходить до его слуха и какія нѣтъ (что, конечно, бываетъ только въ томъ случаѣ, когда интересы власти не тождественны съ интересами народа). Кромѣ того, эта сторона вопроса столь часто и съ такой неотразимой убѣдительностію разсматривалась предше-

ствовавшими мнѣ писателями, что не нуждается ни въ какихъ новыхъ доводахъ. Хотя англійскій законъ о печати и до сихъ поръ еще также подлъ, какъ былъ во времена Тюдоровъ, но мало опасности, чтобы онъ когда либо былъ примѣнимъ на самомъ дѣлѣ, исключая развѣ въ паническую минуту, по случаю какихъ либо необычайныхъ обстоятельствъ, когда напр. страхъ возстанія выведетъ министровъ и судей изъ ихъ нормальнаго состоянія. Говоря вообще, нѣтъ основанія опасаться, чтобы конституціонныя правительства, какая бы ни была на самомъ дѣлѣ ихъ отвѣтственность передъ народомъ, часто посягали на свободу выраженія мнѣній, если только такого посягательства не требуетъ отъ нихъ нетерпимость самого общества. Но если мы предположимъ даже, что правительство и народъ находятся между собой въ полномъ единеніи и что правительство никогда даже и въ мысляхъ не имѣетъ, въ чемъ либо стѣснять свободу слова, за исключеніемъ когда того требуетъ самъ народъ, то и въ такомъ случаѣ всякое стѣсненіе свободы не менѣе нетерпимо. Я отрицаю, чтобы самъ народъ имѣлъ право какимъ бы то ни было образомъ стѣснять свободу выраженія мнѣній, чрезъ посредство-ли правительства, или какъ нибудь иначе; я утверждаю, что такого права вовсе не существуетъ, — что его одинаково не имѣютъ никакія правительства, ни самыя лучшія, ни самыя

худшія, какія бы то ни было. Когда это мнимое право примѣняется на дѣлѣ вслѣдствіе требованія общественнаго мнѣнія, то это не только не менѣе вредно. но даже еще болѣе вредно, чѣмъ когда оно примѣняется вопреки общественному мнѣнію. Если бы весь родъ человѣческій за исключеніемъ только одного индивидуума былъ извѣстнаго мнѣнія, а этотъ индивидуумъ былъ мнѣнія противнаго, то и тогда все человѣчество имѣло бы не болѣе права заставить молчать этого индивидуума, чѣмъ какое имѣлъ бы и самъ индивидуумъ заставить молчать все человѣчество, если бы имѣлъ на то возможность Хотя бы какое нибудь мнѣніе и было исключительнымъ достояніемъ только извѣстнаго лица и имѣло бы цѣну только для него одного, и слѣдовательно преслѣдованіе этого мнѣнія было бы только преслѣдованіемъ одного этого лица, то тутъ разница была бы только въ числѣ непосредственно терпящихъ лицъ, а самое качество дѣйствія было бы то же. Особенное же качество дѣйствій, нарушающихъ свободу слова, состоитъ въ томъ, что они во всякомъ случаѣ составляютъ воровство по отношенію ко всему человѣчеству, какъ къ будущимъ, такъ и къ настоящимъ поколѣніямъ, какъ по отношенію къ тѣмъ, кто усвоилъ бы себѣ преслѣдуемое мнѣніе, такъ и по отношенію къ тѣмъ, кто бы его отвергъ. Если мнѣніе правильно, то запрещать

выражать его значитъ запрещать людямъ знать истину и препятствовать имъ выйти изъ заблужденія; если же мнѣніе неправильно, то препятствовать свободному его выраженію значитъ препятствовать достиженію людьми не меньшаго блага, чѣмъ и въ первомъ случаѣ, а именно: болѣе яснаго уразумѣнія истины и болѣе глубокаго въ ней убѣжденія, какъ это обыкновенно имѣетъ своимъ послѣдствіемъ всякое столкновеніе истины съ заблужденіемъ. Необходимо разсмотрѣть отдѣльно обѣ эти гипотезы, такъ какъ каждая изъ нихъ имѣетъ свою особенность по отношенію къ общему тезису. Мы никогда не можемъ быть совершенно увѣрены, чтобы мнѣніе, которое намѣреваемся уничтожить, было мнѣніе ложное, а если бы и были въ томъ увѣрены, то уничтоженіе такого мнѣнія есть также зло.

Первая гипотеза: мнѣніе, которое хотятъ насильственнымъ образомъ уничтожить, можетъ быть истина. Желающіе уничтожить какое нибудь мнѣніе, конечно, признаютъ его ложнымъ; но они могутъ ошибаться, и притомъ никто не имѣетъ права рѣшать какой бы то ни было вопросъ за все человѣчество и лишать кого бы то ни было средствъ принять участіе въ обсужденіи вопроса. Не дозволять высказываться мнѣнію на томъ основаніи, что оно ложно, значитъ признавать свои личныя мнѣнія за абсолютную истину, — значитъ объявлять притязаніе на непогрѣшимость. Какъ

ни простъ этотъ аргументъ, но простота не лишаетъ его силы, и этого простаго аргумента достаточно, чтобы произнесть окончательный приговоръ надъ всякимъ препятствіемъ свободно высказываться какому бы то ни было мнѣнію.

Но, въ ущербъ здравому смыслу, людская непогрѣшимость далеко не имѣетъ на практикѣ того значенія, какое за ней обыкновенно признается въ теоріи. Люди охотно признаютъ, что могутъ ошибаться, но мало такихъ людей, которые бы считали нужнымъ принимать какія нибудь мѣры предосторожности противъ своей погрѣшимости и допускали бы предположеніе, что можетъ быть мнѣніе, считаемое ими истиннымъ, и есть одинъ изъ примѣровъ той погрѣшимости, которую они сознаютъ за собой. Люди, облеченные обширною властью и вообще люди, привыкшіе къ тому, чтобы окружающіе ихъ безусловно соглашались съ ихъ мнѣніями, обыкновенно питаютъ къ своимъ личнымъ мнѣніямъ безграничное довѣріе, къ какому бы предмету онѣ ни относились. Тѣ же люди, которые въ этомъ отношеніи находятся въ положеніи болѣе счастливомъ и которымъ приходится иногда выслушивать возраженія и даже исправлять свои мнѣнія по указаніямъ другихъ людей, такіе люди обыкновенно имѣютъ безграничное довѣріе только къ тѣмъ своимъ мнѣніямъ, которыя раздѣляются всѣми ихъ окружающими, или, по крайней мѣрѣ, тѣми, которыхъ они особенно уважаютъ. Таково

общее явленіе, что чѣмъ менѣе человѣкъ полагается на свое личное сужденіе, тѣмъ болѣе полагается онъ на непогрѣшимость „всего міра“, а этотъ „весь міръ“ на самомъ дѣлѣ есть не болѣе, какъ та часть міра, съ которою индивидуумъ находится въ соприкосновеніи, т. е. какая нибудь партія, секта, церковь, какой либо классъ общества: того человѣка, для котораго это выраженіе „весь міръ“ означаетъ его страну или его вѣкъ, можно даже назвать, по сравненію съ другими, человѣкомъ либеральнаго и широкаго ума. Вѣра человѣка въ этотъ коллективный авторитетъ „всего міра“ нисколько не ослабляется даже сознаніемъ, что другіе вѣка, страны, секты, церкви, классы, партіи, думали и теперь даже думаютъ совершенно иначе. Люди обыкновенно не считаютъ себя лично отвѣтственными въ качествѣ своихъ мнѣній и всю отвѣтственность въ этомъ отношеніи возлагаютъ на свои міры; ихъ нисколько не смущаетъ мысль, что если они принадлежатъ къ тому, а не другому міру, то это дѣло случая, и что если они англичане, то потому только, что родились и живутъ въ Лондонѣ, а что если бы они родились и жили въ Пекинѣ, то были бы буддистами или поклонниками Конфуція. Вѣка не болѣе непогрѣшимы, чѣмъ индивидуумы: это до такой степени очевидная истина, что къ очевидности ея ничего не прибавятъ никакіе аргументы. Нѣтъ вѣка, который бы не исповѣдывалъ многихъ такихъ

мнѣній, которыя послѣдующими вѣками признавались не только ложными, но и просто нелѣпыми. Какъ теперешній нашъ вѣкъ отвергаетъ многое, что составляло нѣкогда общепризнанную истину, такъ и будущія вѣка несомнѣнно отвергнутъ многое, что составляетъ общепризнанную истину нашего вѣка.

Мы можетъ ожидать слѣдующаго рода возраженія на нашъ аргументъ: „запрещать распространеніе заблужденія обнаруживаетъ не большее „притязаніе на непогрѣшимость, чѣмъ и всякій „другой актъ общественной власти. Разсудокъ данъ „людямъ для того, чтобы они пользовались имъ, „и если, руководствуясь разсудкомъ, люди могутъ „ошибаться, то развѣ изъ этого слѣдуетъ, что они „не должны имъ пользоваться? Люди запрещаютъ „то, что признаютъ вреднымъ, не потому, что имѣ„ютъ притязаніе на непогрѣшимость, а потому что, „хотя и сознаютъ себя способными заблуждаться, „но тѣмъ не менѣе обязаны въ данномъ случаѣ „дѣйствовать по своему убѣжденію. Если мы не „должны дѣйствовать по нашимъ убѣжденіямъ, по„тому что эти убѣжденія могутъ быть ошибочны, „то въ такомъ случаѣ мы должны прекратить вся„кія заботы о нашихъ интересахъ и прекратить „исполненіе всякихъ нашихъ обязанностей. Очевид„но, что вашъ аргументъ (могутъ сказать мнѣ) „имѣетъ значеніе по отношенію ко всѣмъ дѣйстві„ямъ человѣка и потому не можетъ служить аргу-

„ментомъ противъ одного какого либо рода дѣй-
„ствій, а равно и противъ того, который теперь
„разсматривается. И правительство, и индивидуумы
„равно обязаны употреблять всѣ усилія, чтобы
„имѣть самыя истинныя мнѣнія, — должны тща-
„тельно заботиться объ ихъ истинности и ни въ
„какомъ случаѣ не навязывать ихъ другимъ, если
„не увѣрены въ томъ, что онѣ суть истина. Но
„если они, будучи совершенно увѣрены въ истин-
„ности своихъ мнѣній (такъ обыкновенно говорятъ
„люди противнаго намъ мнѣнія), не будутъ руко-
„водиться ими въ своихъ дѣйствіяхъ, и на томъ
„основаніи, что въ эпохи менѣе просвѣщенныя бы-
„вали примѣры преслѣдованія мнѣній, которыя по-
„томъ оказывались истинными, дозволятъ свободно
„пропагандировать такія доктрины, которыя по ихъ
„убѣжденію, опасны для блага людей въ настоящей
„или будущей жизни, то такой образъ дѣйствій съ
„ихъ стороны не только не будетъ исполненіемъ
„долга, а напротивъ будетъ просто нарушеніемъ
„долга. Правительство и народъ заблуждались не
„только въ своихъ дѣйствіяхъ по отношенію къ
„тѣмъ или другимъ мнѣніямъ, но и въ другихъ
„предметахъ, а вѣдь никто же не утверждаетъ,
„что эти другіе предметы не должны подлежать
„вмѣшательству власти. Налагались несправедливые
„налоги, велись неправильныя войны, — но вѣдь
„изъ этого не слѣдуетъ же, чтобы мы должны
„были не налагать налоговъ, не вести войны. И

„люди, и правительства, должны стараться дѣй-
„ствовать самымъ лучшимъ образомъ, на сколько
„способны, и когда они дѣйствуютъ на основаніи
„своихъ мнѣній, то не потому, чтобы имѣли при-
„тязаніе на абсолютную истину, а потому, что
„имѣютъ увѣренность въ истинности своихъ мнѣ-
„ній, достаточную для выполненія цѣлей человѣ-
„ческой жизни. Мы можемъ, мы должны имѣть на
„столько увѣренности въ истинѣ нашего мнѣнія,
„чтобы руководиться имъ въ своихъ поступкахъ,—
„и далѣе этого не идетъ наша притязательность,
„когда мы запрещаемъ злымъ людямъ развращать
„общество пропагандою такихъ мнѣній, которыя,
„по нашему убѣжденію, ложны и вредны.“

Я отвѣчу противникамъ свободы, что ихъ воз-
раженіе заключаетъ въ себѣ больше притязатель-
ности, чѣмъ сколько они это сознаютъ. Большая
разница — предполагать извѣстное мнѣніе истин-
нымъ на томъ основаніи, что оно не было опровер-
гнуто, не смотря на полную свободу опровергать его,
или—утверждать просто, что такое-то мнѣніе ис-
тинно, и на этомъ только основаніи, не дозволять ни-
какихъ на него возраженій. Полная свобода возра-
жать на наше мнѣніе, оспаривать его,—составляетъ
существенное условіе, необходимое для оправданія съ
нашей стороны такой увѣренности въ его истинѣ, чтобъ
мы могли руководиться имъ въ своихъ дѣйствіяхъ: су-
щество, имѣющее не болѣе какъ только человѣческія
способности, не можетъ безъ этого условія имѣть

сколько нибудь раціональной увѣренности въ истинѣ своего мнѣнія.

Какъ объясните вы, почему мнѣнія людей и вообще ихъ образъ дѣйствій не хуже, чѣмъ какъ они суть на самомъ дѣлѣ? Не непосредственною же силою человѣческаго пониманія! Возьмите любой предметъ, который требуетъ сколько нибудь размышленія для своего уразумѣнія, и вы найдете, что девяносто девять на сто окажутся неспособными имѣть о немъ сужденіе, и одинъ изъ ста, оказавшійся способнымъ судить о предметѣ, способенъ только относительно, т. е. по сравненію съ степенью неспособности остальныхъ девяносто девяти, такъ какъ большинство самыхъ даровитыхъ людей всѣхъ прошлыхъ поколѣній всегда держалось многихъ такихъ мнѣній, которыя теперь признаны ошибочными,—совершало или ободряло много такихъ вещей, которыхъ въ настоящее время никто не станетъ оправдывать. Почему же, однако, между людьми, говоря вообще, преобладаютъ раціональныя мнѣнія и раціональный образъ дѣйствій? Если такое преобладаніе дѣйствительно существуетъ — а оно существуетъ дѣйствительно, потому что иначе люди находились бы въ самомъ отчаянномъ положеніи — то благодаря только тому качеству человѣческаго ума, изъ котораго истекаетъ все достоинство человѣческое, какъ интелектуальное, такъ и нравственное, а именно тому его качеству, которое дѣлаетъ его способнымъ

исправлять свои ошибки. Умъ человѣка способенъ исправлять свои ошибки чрезъ критику и опытъ. Но онъ не можетъ ихъ исправлять только чрезъ одинъ опытъ: критика необходима для того, чтобы сдѣлать виднымъ то, что разскрывается опытомъ. Ошибочныя мнѣнія и обыкновенія постепенно уступаютъ факту и аргументу; но факты и аргументы, чтобы произвести какое нибудь дѣйствіе на умъ человѣка, должны быть предъявлены этому уму. Весьма немного такихъ фактовъ, которые способны были бы сами повѣствовать свою исторію и не нуждались бы въ коментаріи для разскрытія своего смысла. Все достоинство человѣческаго сужденія условливается тѣмъ его свойствомъ, что оно способно исправлять свои ошибки, а слѣдовательно только къ тому сужденію можно имѣть довѣріе, которое постоянно имѣло всѣ средства, чтобы быть правильнымъ. Какимъ образомъ человѣкъ достигаетъ того, что его сужденіе дѣйствительно заслуживаетъ довѣрія? Не тѣмъ ли, что, подвергая постоянно критикѣ свои мнѣнія и поступки, онъ со вниманіемъ выслушиваетъ все, что можетъ быть сказано противъ него, исправляетъ свое сужденіе, на сколько возраженія оказываются справедливыми, охотно сознаетъ, а при случаѣ и объясняетъ другимъ, ложность того, что оказалось ошибочнымъ въ его мнѣніяхъ. Не такого ли человѣка сужденіе только и заслуживаетъ довѣрія, который сознаетъ, что единственное

средство сколько нибудь приблизиться къ полному знанію предмета состоитъ въ томъ, чтобы выслушивать внимательно все, что можетъ быть сказано о немъ людьми всѣхъ возможныхъ мнѣній,— изучать его со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ только могутъ взглянуть на него люди. Не инымъ какимъ путемъ, а именно этимъ, умные люди и достигали мудрости; другого пути нѣтъ и онъ невозможенъ по самому свойству человѣческаго ума.

Привычка постоянно исправлять и дополнять свое мнѣніе чрезъ сравненіе съ мнѣніями другихъ людей, не только не производитъ въ человѣкѣ сомнѣнія или колебанія касательно примѣненія своего мнѣнія на практикѣ, а напротивъ составляетъ единственное прочное основаніе справедливаго къ нему довѣрія. Такой человѣкъ, который сознаетъ, что внимательно выслушалъ все, что можетъ быть сказано противъ его мнѣнія, что тщательно провѣрилъ свое мнѣніе со всѣми возраженіями своихъ противниковъ, что не только не избѣгалъ, а напротивъ искалъ возраженій и затрудненій, и съ радостью ловилъ всякую мысль, которая могла разъяснить предметъ, откуда бы эта мысль ни исходила,—такой человѣкъ имѣетъ основаніе думать, что его сужденіе лучше, чѣмъ сужденіе другаго человѣка или чѣмъ сужденіе толпы, которое не выдерживало подобнаго процесса.

Нѣтъ ничего чрезмѣрнаго въ этомъ требованіи,

чтобы пестрая коллекція индивидуумовъ, называемая публикой, въ которой столь мало умныхъ и столь много глупыхъ людей,—чтобы эта публика по отношенію къ своимъ мнѣніямъ подчинялась тѣмъ же условіямъ, выполненіе которыхъ самые умные люди, имѣвшіе болѣе основанія, чѣмъ кто либо, полагаться на самихъ себя, считали однако необходимымъ для того, чтобы можно было довѣриться своему сужденію. Даже Римско-католическая церковь, которая отличается большею нетерпимостью, чѣмъ какая либо другая,—даже и эта церковь прежде чѣмъ канонизировать святаго, даетъ слово „адвокату дьявола“ и терпѣливо выслушиваетъ его. Самые святые люди, повидимому, не иначе могутъ быть удостоены подобающихъ имъ посмертныхъ почестей, какъ когда выслушано и взвѣшано все, что можетъ сказать противъ нихъ дьяволъ. Если бы было запрещено критиковать философію Ньютона, то человѣчество не могло бы имѣть въ ея истинности такой полной увѣренности, какую теперь имѣетъ. Для насъ не существуетъ никакого другаго ручательства въ истинности какого бы то ни было мнѣнія, кромѣ того, что каждому человѣку предоставляется полная свобода доказывать его ошибочность, а между тѣмъ ошибочность его не доказана. Если вызовъ на критику не принятъ, или если принятъ, но критика оказалась безсильной, то это еще нисколько не значитъ, что мы обладаемъ исти-

ной, — мы можемъ быть еще очень далеко отъ истины, но, по крайней мѣрѣ, мы сдѣлали все для ея достиженія, что только могло быть сдѣлано при настоящемъ состояніи человѣческаго пониманія,—мы по крайней мѣрѣ не пренебрегли ничѣмъ, что могло раскрыть намъ истину, и если поле для критики остается открытымъ, то мы можемъ надѣяться, что ошибки, какія есть въ нашемъ мнѣніи, будутъ раскрыты для насъ, какъ только умъ человѣческій сдѣлается способенъ къ ихъ разскрытію, а покамѣсть имѣемъ основаніе думать, что на столько приблизились къ истинѣ, на сколько это возможно для насъ въ данную минуту. Вотъ только до какой степени человѣкъ достигаетъ знанія истины, и вотъ единственный путь, которымъ онъ можетъ достигать этого знанія.

Странно, что люди обыкновенно признаютъ значеніе аргументовъ, приводимыхъ въ пользу свободной критики, и въ тоже время упрекаютъ аргументаторовъ „въ крайности выводовъ“,—странно, какъ они не видятъ, что если аргументы не доказываютъ крайнихъ выводовъ, то и ровно ничего не доказываютъ. Странно, какимъ образомъ могутъ утверждать, что не имѣютъ никакого притязанія на непогрѣшимость, тѣ люди, которые допускаютъ свободную критику только относительно предметовъ сомнительныхъ и отрицаютъ ее относительно извѣстныхъ принциповъ или доктринъ на

томъ основаніи, что эти принципы или доктрины несомнѣнны, т. е. на томъ основаніи, что для нихъ несомнѣнна ихъ истинность. Признавать что либо несомнѣннымъ и запрещать опроверженія, когда оказывается хотя одинъ человѣкъ, желающій опровергать, — не значитъ ли это себя и тѣхъ, кто съ нами одного мнѣнія, признавать судьями несомнѣнности, и притомъ такими судьями, которые судятъ, не выслушавъ противной стороны.

Въ нашъ вѣкъ, который обыкновенно описываютъ какъ лишенный вѣры, и вмѣстѣ съ тѣмъ напуганный скептицизмомъ, люди не столько увѣрены въ истинности своихъ мнѣній, сколько въ томъ, что не знали бы что дѣлать, если бы ихъ не имѣли, — въ нашъ вѣкъ притязаніе какого либо мнѣнія на охрану отъ гласной критики основывается собственно не на его истинности, а скорѣе на значеніи его для общества. Утверждаютъ, что нѣкоторыя вѣрованія столь полезны, чтобъ не сказать необходимы для общаго блага, что охранять ихъ для правительства не менѣе обязательно, какъ и охранять какіе либо другіе общественные интересы, — что когда грозитъ опасность вѣрованіямъ, которыя имѣютъ важное значеніе для общественнаго блага и, слѣдовательно, которыхъ охраненіе составляетъ прямую обязанность правительства, то правительства не только могутъ съ полнымъ основаніемъ, но даже обязаны дѣйствовать

по своему мнѣнію, подтверждаемому общимъ мнѣніемъ людей, и для оправданія своихъ дѣйствій не нуждаются въ притязаніи на непогрѣшимость. Часто утверждаютъ, и еще чаще думаютъ, что только одни злые люди могутъ желать ослабленія благодѣтельныхъ для общества вѣрованій, и что, слѣдовательно, нѣтъ ничего дурнаго принимать мѣры противъ злыхъ людей и воспрещать имъ то, чего только они одни и желаютъ. Такой взглядъ ставитъ оправданіе ограниченій свободы критики въ зависимость не отъ истинности охраняемыхъ доктринъ, а отъ ихъ полезности, и сторонники этого взгляда воображаютъ себѣ, что они такимъ образомъ отстраняютъ отъ себя упрекъ въ притязаніи быть непогрѣшимыми судьями мнѣній, — они не видятъ, что такой взглядъ не отстраняетъ притязанія на непогрѣшимость, а только перемѣщаетъ его съ одного пункта на другой. Полезность какого либо мнѣнія есть также предметъ сужденія, и предметъ столь же спорный, также подлежащій критикѣ и также нуждающійся въ критикѣ, какъ и самое мнѣніе. Утверждать, что такое-то мнѣніе вредно и на этомъ основаніи лишать его свободы высказываться, — предполагаетъ такое же притязаніе на непогрѣшимость, какъ если бы дѣло шло не о вредѣ или пользѣ мнѣнія, а объ его истинности или ложности. Неправильно утверждать, что будто можетъ быть дозволено доказывать пользу или

безвредность мнѣнія, и запрещено только доказывать или опровергать его истинность, потому что истинность мнѣнія составляетъ всегда существенную часть его полезности. Желая знать, желательно или не желательно, чтобы такое-то мнѣніе было общепризнано, можемъ ли мы не принять при этомъ въ соображеніе истинно оно или ложно? По мнѣнію не дурныхъ, а лучшихъ людей, никакое вѣрованіе, противное истинѣ, не можетъ быть полезно, и когда эти люди отрицаютъ какую нибудь доктрину, которую вы признаете полезною, а онѣ признаютъ ложною, то на какомъ основаніи можете вы запретить имъ доказывать, что ложное не можетъ быть полезно? Люди, держащіеся охраняемаго вами мнѣнія, развѣ не пользуются этимъ аргументомъ, а вѣдь вы не находите же дурнымъ, что они не отдѣляютъ вопросъ о пользѣ отъ вопроса о истинности! Полезность или необходимость признанія какой либо доктрины не доказывается ли главнымъ образомъ тѣмъ, что эта доктрина есть истина? Если этотъ самый существенный аргументъ въ вопросѣ о полезности той или другой доктрины дозволителенъ только одной сторонѣ, а не дозволителенъ другой, то при такихъ условіяхъ споръ невозможенъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда законъ или общественное чувство не дозволяютъ оспаривать истинность какого либо мнѣнія, не съ одинаковою ли нетерпимостію относятся они и къ отрицанію его полезности?

Смягчать его абсолютную необходимость, или положительную преступность его отрицанія — вотъ крайніе предѣлы того, что они считаютъ дозволительнымъ.

Чтобъ выставить еще съ большею ясностію, какое это великое зло—не дозволять выражаться мнѣніямъ на томъ основаніи, что мы считаемъ ихъ вредными, я перенесу нашъ споръ съ общаго тезиса на частныя примѣненія и возьму для примѣра тѣ именно примѣненія, которыя для меня наименѣе благопріятны, въ которыхъ аргументъ противъ свободы мнѣній, какъ по отношенію къ истинности, такъ и по отношенію къ пользѣ, признается наиболѣе сильнымъ. Возьмемъ для примѣра вѣру въ Бога, вѣру въ будущую жизнь, или какую хотите самую общепризнанную нравственную доктрину. Я очень хорошо знаю, что перенося споръ на такую почву, даю противъ себя большое преимущество недобросовѣстному противнику, который безъ сомнѣнія скажетъ (а вслѣдъ за нимъ повторятъ и другіе, хотя и не по недостатку добросовѣстности): развѣ вы считаете эти доктрины недостаточно несомнѣнными, чтобы законъ могъ взять ихъ подъ свое покровительство? Ужь не принадлежитъ ли по вашему и вѣра въ Бога къ числу такихъ мнѣній, которыя намъ не дозволительно считать несомнѣнными, потому что это значило бы, — какъ вы говорите — признавать себя непогрѣшимыми? Позволю себѣ замѣтить на

это, что я вовсе не считаю убѣжденія въ истинности какого бы то ни было мнѣнія или доктрины притязаніемъ на непогрѣшимость, — я говорю только, что рѣшать какой бы то ни было вопросъ за другихъ и не дозволять имъ выслушивать возраженія на это рѣшеніе, значитъ признавать себя непогрѣшимымъ судьей этого вопроса, а такое притязаніе я осуждаю и протестую противъ него со всею энергіею, хотя бы имъ охранялись и самыя дорогія для меня убѣжденія. Какъ бы ни было сильно въ человѣкѣ убѣжденіе не только въ ложности, но и въ вредности,—не только въ вредности, но и (употребляя обыкновенныя въ этомъ случаѣ выраженія, значеніе которыхъ я совершенно отрицаю) въ безнравственности и нечестіи какого либо мнѣнія, и еслибы даже его убѣжденіе касательно этого мнѣнія раздѣлялось его страной или его современниками,— во всякомъ случаѣ, лишить это мнѣніе свободы высказываться будетъ съ его стороны притязаніемъ на непогрѣшимость. И такое притязаніе не только не менѣе опасно и не менѣе предосудительно, потому что относится къ такому мнѣнію, которое признается безнравственнымъ и нечестивымъ, а напротивъ, въ этихъ случаяхъ оно еще болѣе бѣдственно, чѣмъ въ какихъ либо другихъ. Въ такихъ-то случаяхъ именно и совершались людьми тѣ страшныя ошибки, которыя составляютъ предметъ удивленія и ужаса для потомства; къ

такимъ именно случаямъ и относятся тѣ достопамятные примѣры исторіи, когда сила закона употреблялась на гибель самыхъ лучшихъ людей и на искорененіе самыхъ великихъ доктринъ. Преслѣдованія людей увѣнчивались къ несчастію полнымъ успѣхомъ, и люди гибли; но нѣкоторымъ доктринамъ удалось пережить преслѣдованіе, и теперь на это ссылаются (какъ будто въ насмѣшку) для оправданія преслѣдованія мнѣній, которыя не согласны съ этими доктринами, или не согласны съ общепринятымъ ихъ толкованіемъ.

Никогда не излишне напомнить людямъ, какъ бы часто это имъ ни напоминали, что жилъ когда то человѣкъ, по имени Сократъ, котораго легальныя власти и общественное мнѣніе убили, какъ преступника. По общему свидѣтельству, та эпоха и та страна, къ которымъ онъ принадлежалъ, были богаты индивидуальнымъ величіемъ, а самъ онъ былъ самымъ добродѣтельнымъ человѣкомъ своего времени. Мы знаемъ, что онъ — глава и прототипъ всѣхъ великихъ учителей добродѣтели, которые только были послѣ него, что онъ виновникъ высокаго вдохновенія Платона и утилитаріанизма Аристотеля „i maestri di color che sanno,“ что онъ учитель этихъ двухъ творцевъ, какъ этической, такъ и всякой другой философіи. И что же! этотъ великій человѣкъ, котораго всѣ бывшіе послѣ него великіе мыслители признавали своимъ учителемъ, котораго слава постоянно росла

въ теченіи двухъ тысячелѣтій и превосходитъ славу всѣхъ другихъ, прославившихъ его отечество, — этотъ человѣкъ приговоренъ былъ къ смерти и казненъ своими согражданами за безнравственность и нечестіе. Онъ былъ виновенъ въ нечестіи, потому что отрицалъ боговъ, которыхъ признавало его государство; обвинитель его утверждалъ, что онъ не вѣруетъ ни въ какихъ боговъ. Онъ былъ виновенъ въ безнравственности, потому что его ученія и его наставленія „развращали юношество“. Мы имѣемъ полное основаніе думать, что судъ совершенно добросовѣстно призналъ виновнымъ въ этихъ преступленіяхъ самого лучшаго изъ людей и осудилъ его на смерть, какъ преступника.

Но есть еще примѣръ судебной несправедливости, единственный впрочемъ, на который можно указать даже и послѣ осужденія Сократа, не отступая отъ правильной аргументаціи, не переходя отъ болѣе сильнаго аргумента къ менѣе сильному. Я говорю о томъ событіи, которое совершилось назадъ тому восемнадцать столѣтій. Люди не только не узнали своего благодѣтеля, — они признали его чудовищемъ нечестія, поступили съ нимъ, какъ съ злодѣемъ, и чрезъ это сами потомъ стали примѣромъ нечестія самого чудовищнаго.

Увлекаясь тѣми чувствами, которыя въ на-

стоящее время возбуждаютъ оба приведенныя нами событія, особенно же послѣднее изъ нихъ,—люди обыкновенно судятъ крайне несправедливо о виновникахъ этихъ событій. Судя по всему, это были не дурные люди, — они были не хуже, чѣмъ какими люди обыкновенно бываютъ, а скорѣе даже лучше; это были люди вполнѣ, или можетъ быть даже нѣсколько чрезмѣрно проникнутые религіозными, нравственными и патріотическими чувствами своего времени и своего народа, — они принадлежали къ разряду тѣхъ людей, которые во всѣ времена, не исключая и нашего, наиболѣе способны прожить свой вѣкъ безупречно и пользуясь общимъ уваженіемъ. Когда первосвященникъ разодралъ на себѣ одѣяніе, услышавъ такія слова, которыя, по понятіямъ его страны, составляли самое черное изъ преступленій, то его ужасъ и его негодованіе были, по всей вѣроятности, не менѣе искренны, чѣмъ нравственныя и религіозныя чувства благочестивыхъ и достойныхъ людей нашего времени, — и многіе изъ тѣхъ, которые теперь приходятъ въ ужасъ при мысли о Распятомъ, если бы жили въ тѣ времена и родились Евреями, то сдѣлали бы тоже самое, что сдѣлалъ первосвященникъ. Не должны забывать тѣ православные, которые думаютъ, что они лучше тѣхъ людей, которые побили камнями первыхъ мучени-

ковъ,—не должны они забывать, что между бросающими каменья былъ и Св. Павелъ.

Приведу еще одинъ примѣръ, самый поразительный изъ всѣхъ, если только поразительность заблужденія измѣряется мудростію и добродѣтелью того, кто въ него впадаетъ. Если когда либо человѣкъ, облеченный властію, имѣлъ основаніе считать себя лучшимъ и самымъ просвѣщеннѣйшимъ изъ своихъ современниковъ, то таковымъ былъ, безъ сомнѣнія, императоръ Маркъ-Аврелій. Будучи неограниченнымъ властелиномъ всего цивилизованнаго міра, онъ всю свою жизнь былъ не только человѣкомъ самой безупречной справедливости, но — чего менѣе можно было ожидать отъ его стоическаго воспитанія — и человѣкомъ самаго нѣжнаго сердца. Всѣ тѣ немногія ошибки, которыя ему приписываются, происходили отъ его снисходительности. Сочиненія его составляютъ самое высокое этическое произведеніе древняго ума, и если представляютъ какое различіе отъ христіанскаго ученія, то самое незначительное. И этотъ человѣкъ, который былъ лучшимъ христіаниномъ во всѣхъ отношеніяхъ (за исключеніемъ только догматическаго смысла этого слова), чѣмъ многіе когда либо бывшіе, собственно такъ называемые, христіанскіе государи, и этотъ человѣкъ преслѣдовалъ христіанство. Находясь на такой

умственной высотѣ, какую только дѣлали достижимой всѣ предшествовавшія судьбы человѣчества, будучи ума самого чуткаго и самого либеральнаго, обладая такимъ характеромъ, что былъ способенъ въ своихъ сочиненіяхъ возвыситься даже до христіанскаго идеала, онъ при всемъ этомъ не понялъ, что христіанство — благо для міра, а не зло. Онъ сознавалъ, что общество находится въ самомъ плачевномъ состояніи; но какъ ни было дурно это состояніе, онъ видѣлъ, или воображалъ что видитъ, что если еще общество сколько нибудь держится и не впадаетъ въ состояніе еще болѣе худшее, то благодаря вѣрѣ и уваженію къ признаннымъ божествамъ. Какъ правитель, онъ считалъ своею обязанностію охранять общество отъ окончательнаго распаденія, и не понималъ, какимъ бы образомъ оно могло существовать, если бы основы, на которыхъ оно держалось, были низпровергнуты. А между тѣмъ новая религія открыто стремилась къ ниспроверженію этихъ основъ. Слѣдовательно, если только онъ не сознавалъ своимъ долгомъ признать эту религію, то ему должно было представляться очевиднымъ, что его прямой долгъ ее уничтожить. Христіанская теологія не убѣдила его въ своей истинности или въ божественности своего происхожденія; вся эта странная исторія о распятомъ Богѣ была для него невѣроятна, и онъ не могъ

предвидѣть, чтобы система, основанная на томъ, что для него было совершенной небылицей, имѣла столь великую живительную силу, какую потомъ обнаружила, — и такимъ образомъ самый лучшій и самый добрый изъ философовъ и правителей, слѣдуя очевидному для него указанію долга, сдѣлался гонителемъ христіанства. По моему мнѣнію, это одно изъ самыхъ трагическихъ событій во всей исторіи.

Во всякомъ случаѣ противно было бы справедливости и противно истинѣ не признать, что Маркъ-Аврелій имѣлъ для преслѣдованія христіанъ всѣ основанія, какія только могутъ быть представлены для преслѣдованія любаго анти-христіанскаго ученія. Изъ всѣхъ людей, жившихъ въ то время, Маркъ-Аврелій былъ болѣе способенъ, чѣмъ кто либо понять христіанство, а между тѣмъ онъ былъ убѣжденъ, что христіанство есть ложь, что оно стремится къ разрушенію общества, и убѣжденіе его было не менѣе искренно, чѣмъ вѣра христіанина въ ложность и антиобщественность атеизма. Мы можемъ по крайней мѣрѣ сказать противникамъ свободы мнѣнія: если вы не считаете себя людьми болѣе умными и болѣе добродѣтельными, чѣмъ Маркъ-Аврелій, — если вы не признаете за собой, чтобъ вы въ большей степени, чѣмъ Маркъ-Аврелій, обладали всею мудростію своего времени, и болѣе высоко,

чѣмъ онъ стояли надъ своимъ вѣкомъ, — если вы не сознаете, чтобы васъ одушевляла болѣе пламенная любовь къ истинѣ и болѣе пламенная къ ней преданность, чѣмъ какая одушевляла Марка-Аврелія,—то воздержитесь отъ преслѣдованія мнѣній, подумайте о томъ, къ какимъ бѣдственнымъ послѣдствіямъ вѣра въ непогрѣшимость своего мнѣнія и мнѣнія толпы привела великаго Антонина.

Будучи обличены въ невозможности привесть какой либо аргументъ въ свою защиту, который бы въ то же время не оправдывалъ и Марка-Аврелія, враги религіозной свободы бросаются не рѣдко въ другую сторону для оправданія религіозныхъ преслѣдованій и вмѣстѣ съ Джонсономъ утверждаютъ, что гонители христіанства были правы,—что гоненіе есть испытаніе, чрезъ которое должна проходить истина и изъ которой она всегда выходитъ торжествующей, — что всѣ преслѣдованія, въ концѣ концовъ, оказываются безсильными противъ истины и, къ счастію людей дѣйствительны только противъ вредныхъ заблужденій.

Этотъ аргументъ въ пользу религіозной нетерпимости довольно замѣчателенъ, чтобы его можно было обойдти молчаніемъ.

Такая доктрина, которая оправдываетъ преслѣдо-

ваніе истины тѣмъ, что противъ истины безсильно всякое преслѣдованіе, — такая доктрина, конечно, не можетъ быть обвинена въ преднамѣренной враждебности къ новымъ истинамъ, но мы не можемъ согласиться, чтобы она отличалась великодушіемъ по отношенію къ тѣмъ людямъ, которые являются ихъ возвѣстителями. Открыть людямъ то, чего они прежде не знали и что для нихъ въ высшей степени важно,—доказать имъ, что они ошибались въ чемъ либо такомъ, что имѣетъ существенное значеніе для ихъ временныхъ или духовныхъ интересовъ, это самая великая заслуга, какую только человѣкъ можетъ оказать своимъ ближнимъ, и тѣ, которые раздѣляютъ мнѣніе Джонсона, признаютъ, что первые христіане и реформаторы оказали человѣчеству самую величайшую услугу, какая только возможна. И что же! Если этихъ благодѣтелей человѣчества, въ воздаяніе за ихъ благодѣяніе, предаютъ мучительной смерти, если съ ними поступаютъ, какъ съ самыми послѣдними злодѣями, то это не есть заблужденіе, не есть бѣдствіе, которое человѣчество должно было бы оплакивать, посыпавъ главу пепломъ, а напротивъ, по доктринѣ Джонсона, это фактъ совершенно нормальный! Признать такую доктрину — не все ли это равно, какъ если бы мы признали, что съ тѣмъ человѣкомъ, который возвѣщаетъ новую истину, слѣдуетъ поступить такъ, какъ Локрійцы поступали съ тѣмъ, кто предла-

галъ новый законъ, — надѣть ему веревку на шею и задушить его, если его предложеніе не будетъ немедленно же принято. Людей, которые защищаютъ подобную доктрину, нельзя, конечно, заподозрить, чтобы они слишкомъ высоко цѣнили то благодѣяніе, которое оказываютъ человѣчеству возвѣстители новыхъ истинъ, и я полагаю, что признавать такую доктрину могутъ только тѣ люди, которые находятъ, что если и было время, когда желательны были новыя истины, то теперь это время уже прошло.

Изреченіе, что истина всегда торжествуетъ надъ преслѣдованіемъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ странныхъ заблужденій, которыя такъ охотно повторяются людьми, что обращаются наконецъ для нихъ въ обиходную истину, не смотря на всѣ опроверженія, какія встрѣчаются противъ нихъ въ дѣйствительной жизни. Исторія богата примѣрами, какъ преслѣдованіе заставляло безмолствовать истину, и если не истребляло ее навсегда, то, по крайней мѣрѣ, отдаляло ея торжество на цѣлыя столѣтія. Ограничусь указаніемъ на преслѣдованія религіозныхъ мнѣній. Реформація, по крайней мѣрѣ, двадцать разъ начиналась еще до Лютера, и каждый разъ была задавлена. Арнольдъ изъ Брешіи, Фра-Дольчино, Савонарола, Альбигойцы, Вальденцы, Лолларды, Гусситы, — развѣ всѣ они не были задавлены! Даже и послѣ Лютера преслѣдованіе было вездѣ

успѣшно, гдѣ только велось настойчиво. Въ Испаніи, Италіи, Фландріи, въ Австрійской имперіи, протестантизмъ былъ вырванъ съ корнемъ; то же самое случилось бы вѣроятно и въ Англіи, если бы королева Марія жила подольше, или королева Елизавета умерла пораньше. Преслѣдованіе всегда удавалось тамъ, гдѣ еретики не составляли изъ себя довольно сильной партіи, чтобы противостоять преслѣдованію. Ни одинъ разсудительный человѣкъ не сомнѣвается въ томъ, что въ Римской имперіи христіанство могло быть истреблено до корня, — что если оно уцѣлѣло и потомъ восторжествовало, то единственно потому, что преслѣдованія были случайны, кратковременны, съ большими промежутками, а пропаганда почти совершенно свободна. Слѣдовательно, это не болѣе, какъ только пустое сантиментальничанье, утверждать, что будто истина, потому уже, что она — истина, обладаетъ такою присущею ей силою, которой не имѣетъ заблужденіе и противъ которой безсильны и тюрьмы, и костры. Обыкновенно бываетъ такъ, что люди служатъ истинѣ не съ большею ревностію, чѣмъ съ какою служатъ и заблужденію. Преслѣдованіе со стороны властей или даже только со стороны общественнаго мнѣнія дѣйствуетъ одинаково успѣшно противъ всякой пропаганды, будетъ ли имѣть эта пропаганда своею цѣлью распространеніе того, что истинно, или того, что ложно. Существенное

въ этомъ отношеніи преимущество истины надъ заблужденіемъ состоитъ только въ томъ, что, будучи задавлена, истина всегда имѣетъ вѣроятность, что съ теченіемъ времени явятся люди, которые снова вызовутъ ее къ жизни, и что одно изъ такихъ ея возрожденій совпадетъ когда нибудь съ извѣстными условіями, которыя позволятъ ей, хотя на время, избѣжать преслѣдованій и достаточно окрѣпнуть, чтобы потомъ быть въ состояніи выдержать преслѣдованіе.

Намъ могутъ сказать, что въ настоящее время не предаютъ уже смерти проповѣдниковъ новыхъ мнѣній, не казнятъ пророковъ. Правда,—еретиковъ уже болѣе не казнятъ, правда,—чувства, господствующія въ современныхъ обществахъ, едва ли потерпятъ, чтобы преслѣдованіе какого бы то ни было мнѣнія, даже самаго ненавистнаго, переходило далѣе извѣстныхъ предѣловъ, а преслѣдованіе въ этихъ предѣлахъ едва ли можетъ быть довольно дѣйствительно, чтобы совершенно искоренить какое нибудь мнѣніе. Но это было бы съ нашей стороны лестію самимъ себѣ, если бы мы стали утверждать, что въ наше время законъ уже не преслѣдуетъ людей за то, что они имѣютъ то или другое мнѣніе, что мы уже совершенно освободились отъ этого позора. У насъ до сихъ поръ еще существуютъ законы, которые опредѣляютъ наказаніе за мнѣніе, или по крайней мѣрѣ за выраженіе мнѣнія, и законы

эти не до такой степени потеряли свое значеніе, примѣненіе ихъ не до такой степени безпримѣрно даже и въ наше время, чтобъ мы могли считать совершенной невѣроятностью, чтобъ они когда либо ожили съ полною силой. На лѣтнихъ ассизахъ въ 1857 году, въ графствѣ Корнуалисъ, человѣкъ *) безупречнаго (какъ гововорятъ) во всѣхъ отношеніяхъ поведенія былъ приговоренъ къ заключенію въ тюрьму на двадцать одинъ мѣсяцъ за то, что написалъ гдѣ-то на дверяхъ какія-то слова, оскорбительныя будто бы для христіанства. Около того же времени въ Ольдъ-Бейли, въ двухъ отдѣльныхъ случаяхъ двое **) не были допущены до исполненія обязанности присяжныхъ, потому что прямо объявили, что не имѣютъ никакой вѣры, при чемъ одинъ изъ нихъ былъ грубо оскорбленъ судьею и однимъ изъ членовъ суда. Одному иностранцу ***), по той же причинѣ отказано было въ правосудіи противъ вора. Этотъ отказъ въ правосудіи сдѣланъ былъ на основаніи той легальной доктрины, что никто не можетъ быть до-

---

*) Томасъ Пули, Бодминскія ассизы, 31-го Іюля 1857 г.: въ Декабрѣ мѣсяцѣ того же года онъ былъ помилованъ.

**) Георгъ Іаковъ Голіокъ 17-го Августа 1857 г. Эдуардъ Трюлау въ Іюлѣ 1857 г.

***) Баронъ Глейхенъ въ полицейскомъ судѣ улицы Мальбругъ, 4-го Августа 1857 г.

пущенъ до свидѣтельства въ судѣ, кто не вѣритъ въ Бога и въ будущую жизнь. Не равносильно ли это тому, какъ если бы прямо было признано, что люди, не вѣрующіе въ Бога и въ будущую жизнь, стоятъ внѣ закона и лишаются покровительства судовъ, — что можно безнаказанно грабить и оскорблясь не только ихъ самихъ, но и всѣхъ другихъ людей, если только бывшіе при этомъ свидѣтели не имѣютъ извѣстныхъ мнѣній. Доктрина эта имѣетъ своимъ основаніемъ то предположеніе, что клятва человѣка, невѣрующаго въ будущую жизнь, не имѣетъ никакой цѣны. Предположеніе это обнаруживаетъ въ его защитникахъ крайнее невѣденіе исторіи. Можно ли не знать, что по большей части тѣ люди, которые своими добродѣтелями и своими благими стремленіями заслужили себѣ самую чистую славу, были невѣрующіе, какъ это свидѣтельствуютъ близко ихъ знавшіе. Кромѣ того надо замѣтить, что эта доктрина сама въ себѣ носитъ свое осужденіе, сама разрушаетъ свою собственную основу; исходя изъ того предположенія, что атеисты — лжецы, она допускаетъ къ свидѣтельству тѣхъ атеистовъ, которые въ самомъ дѣлѣ лгутъ, и не допускаетъ только тѣхъ, которые довольно честны, чтобы не лгать, и предпочитаютъ лучше подвергнуть себя всѣмъ тяжелымъ послѣдствіямъ, какія имѣетъ для нихъ честное выраженіе ихъ

убѣжденій. Доктрина, основанная на такомъ предположеніи, есть, безъ сомнѣнія, ничто иное, какъ выраженіе ненависти, какъ орудіе преслѣдованія, и при томъ—орудіе, имѣющее ту отличительную особенность, что человѣкъ навлекаетъ его на себя именно тѣмъ самымъ своимъ дѣйствіемъ, которое, наоборотъ, представляетъ очевидное доказательство, что онъ такого преслѣдованія не заслуживаетъ: человѣка признаютъ лжецомъ за то самое его дѣйствіе, которое, напротивъ, свидѣтельствуетъ о его честности. Едва ли эта доктрина столько же неосновательна и по отношенію къ вѣрующимъ, какъ и по отношенію къ невѣрующимъ: если тотъ, кто не вѣритъ въ будущую жизнь, необходимо долженъ быть лжецъ, то изъ этого слѣдуетъ, что тотъ, кто вѣритъ, не лжетъ только потому—если въ самомъ дѣлѣ не лжетъ—что боится ада. Мы не хотимъ оскорблять виновниковъ и приверженцевъ этой доктрины, — мы не хотимъ предполагать, чтобы такое понятіе о христіанской добродѣтели имѣло своимъ источникомъ ихъ личное сознаніе,—мы готовы признать, что это не болѣе, какъ лохмотье, обрывковъ прежняго времени, на который слѣдуетъ смотрѣть скорѣе не какъ на признакъ желанія преслѣдованія, а какъ на одинъ изъ примѣровъ того, столь часто встрѣчающагося у англичанъ, умственнаго недостатка, что они находятъ какое то странное удовольствіе

упорно отстаивать какой нибудь дурной принципъ, хотя сами давно уже стали не такъ дурны, чтобы желать дѣйствительнаго его примѣненія. Но, къ несчастію, умственное состояніе современнаго общества не представляетъ намъ никакихъ ручательствъ, чтобы самыя даже худшія орудія легальнаго преслѣдованія не могли быть снова употреблены въ дѣло. Тѣ попытки, которыя въ нашъ вѣкъ, по временамъ, хотя на поверхности нѣсколько смущаютъ невозмутимую тишь и гладь рутины, — эти попытки столь же часто имѣютъ своею цѣлію возстановленіе прежнихъ золъ, какъ и достиженіе какого либо новаго блага. То, что въ настоящее время обыкновенно превозносится, какъ возрожденіе религіи, на самомъ дѣлѣ въ узкихъ и неразвитыхъ умахъ есть столько же возрожденіе религіи, какъ и возрожденіе фанатизма; въ чувствахъ нашего народа до сихъ поръ существуетъ сильная закваска нетерпимости, которою всегда отличались наши средніе классы, и немного надо, чтобы вызвать эти чувства на преслѣдованіе тѣхъ мнѣній, которыя, собственно говоря, наше общество и не переставало никогда считать заслуживающими преслѣдованія *). Имен-

*) Не можетъ не служить для насъ весьма важнымъ предостереженіемъ та страсть къ преслѣдованію, какую, по случаю возстанія сипаевъ, обнаружили наши соотечественники вмѣстѣ съ другими дурными сторонами ихъ на-

но въ этомъ, т. е. въ мнѣніяхъ и чувствахъ, которыя преобладаютъ въ нашемъ народѣ по отношенію къ людямъ, нераздѣляющимъ тѣхъ его

ціональнаго характера. Положимъ, что неистовства фанатиковъ или шарлатановъ каѳедры не заслуживаютъ вниманія; но можемъ ли мы оставаться равнодушны, когда главы Евангелической партіи открыто провозглашаютъ, какъ принципъ, которымъ слѣдуетъ руководствоваться въ управленіи Индусами и Магометанами, что ни одна школа, въ которой не обучаютъ Библіи, не должна получать субсидій, и что тотъ, кто не исповѣдуетъ христіанской вѣры или, по крайней мѣрѣ, не признаетъ себя христіаниномъ, не долженъ быть допускаемъ ни до какихъ общественныхъ должностей. Вотъ какъ выражался 12 Ноября 1857 года въ рѣчи къ своимъ избирателямъ человѣкъ, занимавшій должность помощника государственнаго секретаря: «терпимость со стороны британскаго правительства къ ихъ вѣрѣ (къ вѣрѣ ста милліоновъ англійскихъ подданныхъ), или, правильнѣе сказать, къ тѣмъ предразсудкамъ, которые они называютъ своею религіей,—эта терпимость имѣла то послѣдствіе, что задержала возростаніе величія англійскаго имени и помѣшала спасительному распространенію христіанства!» Вѣротерпимость была великимъ краеугольнымъ камнемъ нашей религіозной свободы, и намъ недозволительно такъ извращать смыслъ этого драгоцѣннаго слова, какъ извращаетъ его помощникъ государственнаго секретаря. Онъ, какъ видно изъ его словъ, понимаетъ подъ вѣротерпимостію свободу христіанскихъ вѣроисповѣданій, которыя всѣ имѣютъ одно и то же основаніе,—терпимость христіанскихъ ученій, которыя всѣ вѣрятъ въ Искупителя. Я желаю обратить вниманіе на тотъ фактъ, что человѣкъ, считавшійся способнымъ занимать столь высокую должность въ правительствѣ нашей страны, и при томъ еще при либеральномъ министерствѣ, утверждаетъ, что вѣротерпимость должна простираться только на тѣхъ, кто признаетъ божественность Христа. Послѣ этой глупой рѣчи помощника государственнаго секретаря Англіи можно ли еще оставаться въ той иллюзіи, что будто время религіозныхъ преслѣдованій миновало для насъ навсегда и не можетъ болѣе возвратиться?

вѣрованій, которыя онъ считаетъ наиболѣе важными, — именно въ этомъ и заключается причина, почему Англія до сихъ поръ еще не есть страна умственной свободы. У насъ давно уже главное зло легальныхъ преслѣдованій и состоитъ именно въ томъ, что эти преслѣдованія на самомъ дѣлѣ суть не что иное, какъ исполненіе приговоровъ самого общества. Въ нетерпимости нашего общества и заключается главное зло,—зло столь сильное, что мы чаще встрѣчаемъ въ другихъ странахъ выраженіе мнѣній, которыя тамъ влекутъ за собой судебное преслѣдованіе, чѣмъ въ Англіи выраженіе такихъ мнѣній, которыя хотя и не влекутъ за собой легальной кары, но осуждаются обществомъ. За исключеніемъ людей, имѣющихъ такія средства къ существованію, которыя ставятъ ихъ въ совершенную независимость отъ другихъ, за этимъ исключеніемъ, для всѣхъ остальныхъ людей осужденіе общества равносильно легальной карѣ, — тутъ вся разница въ томъ, что людей не сажаютъ за мнѣнія въ тюрьму, а лишаютъ ихъ насущнаго хлѣба. Что же касается до тѣхъ, которые имѣютъ совершенно обезпеченныя средства къ существованію и въ этомъ отношеніи не нуждаются въ благосклонности къ нимъ другихъ людей или общества, то такіе люди, высказывая какое бы то ни было мнѣніе, ничѣмъ инымъ не рискуютъ, какъ развѣ только тѣмъ, что о нихъ будутъ дурно думать, дурно говорить.

Такой рискъ, конечно, не предполагаетъ никакого особеннаго героизма со стороны тѣхъ, кто ему подвергается, — тутъ еще нѣтъ, конечно, такого зла, ради котораго можно было бы взывать ad misericordiam. Однако замѣтимъ при этомъ, что хотя мы теперь уже и не подвергаемъ тѣхъ, кто съ нами не согласенъ, такимъ сильнымъ карамъ, какимъ подвергали ихъ прежде, но нашъ теперешній образъ дѣйствія по отношенію къ нимъ едва ли не причиняетъ намъ самимъ не меньшій вредъ, чѣмъ какой когда либо причиняли всѣвозможныя преслѣдованія. Сократъ былъ преданъ смерти, но философія Сократа, какъ солнце, взошла и освѣтила весь умственный горизонтъ человѣчества. Христіанъ бросали на съѣденіе львамъ, но христіанская церковь выросла могучимъ, величественнымъ деревомъ, которое переросло всѣ старыя деревья и заглушила ихъ своею тѣнью. Наша нетерпимость, чисто общественная, не убиваетъ людей за мнѣнія, не вырываетъ мнѣнія съ корнемъ, но она производитъ то, что люди скрываютъ свои мнѣнія, или воздерживаются отъ всякаго дѣятельнаго усилія къ ихъ распространенію. Въ нашъ вѣкъ, не такъ какъ прежде, мы не видимъ, чтобы каждое десятилѣтіе или съ каждымъ новымъ поколѣніемъ замѣтно усиливались или слабѣли тѣ или другія еретическія мнѣнія. Теперь эти мнѣнія никогда не горятъ широкимъ и яркимъ свѣтомъ, а только тлѣютъ въ тѣсныхъ

кружкахъ людей науки и мысли, гдѣ получаютъ свое происхожденіе,—общее теченіе дѣлъ человѣческихъ не озаряется болѣе новыми лучами свѣта, ни истинными, ни ложными. Такой порядокъ вещей многіе находятъ совершенно удовлетворительнымъ, такъ какъ онъ охраняетъ внѣшній покой господствующихъ мнѣній, не прибѣгая для этого къ непріятной процедурѣ — сажать людей въ тюрьмы или подвергать ихъ какимъ либо карамъ, и въ то же время не запрещаетъ совершенно дѣятельность мысли тѣмъ людямъ, которые страдаютъ болѣзнію мышленія: онъ сохраняетъ покой въ умственномъ мірѣ и предоставляетъ наиболѣе ручательствъ, что и завтра все будетъ идти также, какъ шло сегодня. Но поклонники этого порядка вещей забываютъ, какою дорогой цѣной покупается это умственное замиреніе: ради него мы жертвуемъ всѣмъ нравственнымъ мужествомъ человѣческаго ума. Такія условія жизни, когда самые дѣятельные и самые пытливые умы находятъ нужнымъ скрывать настоящіе принципы и основанія своихъ убѣжденій и, обращаясь къ обществу, связывать свои убѣжденія съ такими посылками, отъ которыхъ внутренно давно уже отреклись, — такія условія жизни не могутъ, конечно, образовать такихъ прямыхъ, мужественныхъ характеровъ, такихъ сильныхъ, логическихъ умовъ, какими нѣкогда славился умственный міръ. При этихъ условіяхъ мы находимъ только такихъ

людей, которые раболѣпствуютъ предъ тѣмъ, что существуетъ,—или же только такихъ прислужниковъ истины, которые не служатъ истинѣ прямо тѣми аргументами, которые убѣдили ихъ самихъ, а соображаютъ свою аргументацію съ требованіями своихъ слушателей. Тѣ же люди, которые не могутъ раболѣпствовать, или которые не хотятъ подчинять истину требованіямъ толпы,—тѣ люди вынуждены съуживать свои мысли и стремленія такими предметами, о которыхъ можно говорить не затрогивая принциповъ, т. е. тѣми мелкими практическими предметами, которые сами собой нашли бы свое разрѣшеніе при сильной и широкой умственной жизни, и которые не могутъ достигнуть разрѣшенія, пока люди не будутъ прямо и смѣло относиться ко всѣмъ великимъ вопросамъ человѣчества жизни, потому что безъ этого невозможна сколько нибудь сильная и широкая умственная жизнь.

Тѣ, которые не видятъ въ этомъ порядкѣ вещей ничего дурного, должны бы были прежде всего принять во вниманіе, что при этомъ порядкѣ еретическія мнѣнія никогда не подвергаются полному и всестороннему обсужденію, и что тѣ изъ этихъ мнѣній, которыя никогда не были бы въ состояніи выдержать подобнаго обсужденія, хотя и не распространяются, но тѣмъ не менѣе существуютъ. Притомъ, общественное осужденіе, тяготѣющее надъ всякаго рода изслѣдованіемъ,

которое несогласно въ своихъ выводахъ съ ортодоксіей, дѣлаетъ главнымъ образомъ вредъ собственно не еретикамъ, а напротивъ, тѣмъ, кто вѣренъ ортодоксіи: для нихъ, главнымъ образомъ, оно и составляетъ препятствіе къ умственному развитію и сковываетъ ихъ умъ страхомъ впасть въ какую нибудь ересь. Сколько людей случается намъ встрѣчать, которые съ робкимъ характеромъ соединяютъ въ себѣ самыя высокія дарованія, и какъ исчислить ту великую потерю, какую несетъ міръ отъ того, что эти люди не имѣютъ довольно мужества, чтобы идти по указанію какой нибудь смѣлой, сильной и независимой мысли, а находятся постоянно подъ вліяніемъ страха, чтобы такая мысль не привела ихъ къ выводамъ, которые могли бы быть признаны антирелигіозными или безнравственными? Между этими людьми находимъ мы нерѣдко такихъ, которые отличаются самою высокою добросовѣстностію, самымъ тонкимъ, проницательнымъ умомъ, и которые, будучи не въ состояніи заставить умолкнуть свой разумъ, проводятъ всю жизнь въ томъ, что пробавляются пустою софистикой и тратятъ всѣ свои силы въ попыткахъ, часто совершенно безплодныхъ, согласить съ ортодоксіей указанія своей совѣсти и своего разума. Какихъ бы великихъ дарованій человѣкъ ни былъ, не можетъ онъ сдѣлаться великимъ мыслителемъ, если не признаетъ первымъ своимъ долгомъ — слѣдовать

указаніямъ разума, къ какимъ бы выводамъ разумъ его ни приводилъ. Истина даже болѣе выигрываетъ отъ заблужденій тѣхъ людей, которые, имѣя надлежащую подготовку, мыслятъ самостоятельно, чѣмъ отъ правильнаго сужденія тѣхъ, которые имѣютъ правильныя мнѣнія только потому, что сами не дерзаютъ мыслить. Не для того исключительно и не для того главнымъ образомъ необходима свобода мысли, чтобы могли образоваться великіе мыслители; напротивъ, она въ такой же степени и даже еще въ большей необходима для того, чтобъ сдѣлать для людей вообще достижимою ту степень умственнаго развитія, къ какой они способны. Бывали и снова могутъ явиться великіе мыслители и при общемъ умственномъ рабствѣ; но при этомъ рабствѣ никогда не было и не можетъ быть умственно развитаго народа. Если какой народъ достигалъ когда большей или меньшей степени умственнаго развитія, то единственно потому, что, по крайней мѣрѣ, хотя на время, былъ свободенъ отъ страха предъ еретическими мнѣніями. Но тамъ, гдѣ принципы стоятъ внѣ критики, гдѣ обсужденіе величайшихъ вопросовъ человѣческой жизни считается завершеннымъ, тамъ нельзя надѣяться, чтобы могла когда нибудь развиться такая умственная дѣятельность, какою ознаменовались нѣкоторыя историческія эпохи. Только въ тѣ времена, когда критика свободно относилась къ самымъ

важнымъ предметамъ, способнымъ возбуждать энтузіазмъ въ людяхъ, — только въ тѣ времена и существовала значительная умственная дѣятельность, которая давала иногда такой сильный толчекъ всей умственной жизни народа, что даже люди самыхъ обыкновенныхъ способностей въ большей или меньшей степени достигали, достоинства мыслящихъ существъ. Такой примѣръ представляетъ намъ положеніе Европы во времена, непосредственно слѣдовавшія за реформаціей. Другой примѣръ — философское движеніе во второй половинѣ восьмнадцатаго столѣтія, которое впрочемъ ограничилось только континентомъ и, притомъ, только образованнымъ классомъ общества. Наконецъ третій примѣръ — умственное движеніе въ Германіи во времена Гете и Фихте. Всѣ эти три эпохи существенно различны по идеямъ, но имѣютъ то сходство, что умственная жизнь ихъ была свободна отъ ига авторитетовъ, прежній умственный деспотизмъ былъ низпровергнутъ, а новый еще не успѣлъ установиться. Умственная дѣятельность этихъ эпохъ и сдѣлала Европу тѣмъ, чѣмъ она есть теперь: ей Европа обязана всѣмъ улучшеніемъ, всѣмъ своимъ прогрессомъ какъ въ умственной жизни, такъ и въ учрежденіяхъ. Съ нѣкотораго времени стали появляться признаки, свидѣтельствующіе, что движеніе, сообщенное жизни умственной дѣятельностію этихъ эпохъ, истощило уже свои силы и близко къ совершенному зами-

ранію, а новаго возрожденія умственной жизни нельзя ожидать, пока не будемъ имѣть умственной свободы.

Перейдемъ теперь къ другой гипотезѣ; предположимъ, что преслѣдуемое мнѣніе есть заблужденіе, а охраняемое есть истина, и посмотримъ, какія послѣдствія имѣетъ признаніе истины недоступною для свободной критики. Какъ бы человѣкъ ни былъ твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ бы онъ ни былъ нерасположенъ допустить предположеніе, что его убѣжденіе можетъ быть ошибочно, но не можетъ же онъ быть равнодушенъ, когда то, что онъ считаетъ истиною, по причинѣ своей недоступности для свободной, всесторонней, безстрашной критики, превращается изъ живой истины въ мертвую догму.

Есть люди (къ счастію теперь ихъ меньше, чѣмъ было прежде), которые находятъ совершенно достаточнымъ, если человѣкъ исповѣдуетъ то, что есть истина, хотя бы при этомъ онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ основаніяхъ этой истины, былъ бы не въ состояніи защитить ее противъ самыхъ даже поверхностныхъ возраженій. Имѣя извѣстный credo, подобные люди обыкновенно думаютъ, что если дозволить разсуждать объ этомъ credo, то изъ этого не можетъ выйдти ничего добраго, а выйдетъ одно зло. При преобладающемъ вліяніи такихъ людей почти невозможно, чтобы господствующее мнѣніе могло встрѣтить

обдуманное, сознательное отрицаніе, но оно весьма легко можетъ подвергнуться отрицанію совершенно необдуманному, ни на чемъ неоснованному; рѣдко бываетъ возможно совершенно прекратить мысли всякій доступъ къ обсужденію какого нибудь предмета, и какъ только мысль успѣваетъ проложить себѣ путь такъ или иначе, то истина, составляющая только предметъ вѣры и не ставшая убѣжденіемъ, оказывается, обыкновенно, не въ состояніи выдержать самого даже поверхностнаго аргумента. Но положимъ, что это не такъ,— положимъ, что истина, не дѣлаясь предметомъ убѣжденія, а какъ предметъ вѣры, какъ предразсудокъ, столь сильно укореняется въ человѣческомъ умѣ, что противъ нея безсильны всякіе аргументы,—но развѣ это есть знаніе истины? развѣ такое знаніе можетъ назвать знаніемъ мыслящее существо? И наконецъ развѣ такая истина не есть то же суевѣріе, съ тою только разницей, что суевѣріе въ этомъ случаѣ облекается въ такія слова, которыя выражаютъ истину?

Если мы признаемъ, что люди должны совершенствовать свои умственныя способности, — чего протестанты по крайней мѣрѣ не отрицаютъ. — то надъ чѣмъ же и упражняться этимъ способностямъ, какъ не надъ тѣми предметами, которые считаются столь важными для людей, что признается необходимымъ, чтобы люди имѣли о нихъ установившіяся мнѣнія? Если не всякое знаніе

имѣетъ одинаковое значеніе для нашего умственнаго совершенствованія, то не первое ли мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежитъ знанію того, что мы признаемъ истиной. Признавая дѣломъ первой важности, чтобы люди имѣли правильныя сужденія объ извѣстныхъ предметахъ, не должны ли мы признать не менѣе важнымъ и то, чтобы они были въ состояніи защитить свои сужденія по крайней мѣрѣ противъ самыхъ обыкновенныхъ возраженій. Намъ могутъ возразить, „что обу„чаютъ не только мнѣніямъ, но и основаніямъ „этихъ мнѣній. Если мнѣнія объ извѣстныхъ „предметахъ не подвергаются оспариванію, то изъ „этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы люди должны „были не понимать ихъ, а только заучивать, „какъ попугаи. Знаніе геометріи состоитъ не въ „томъ, чтобы выучить наизусть теоремы, а въ „томъ, чтобы понимать ихъ и умѣть ихъ дока„зывать, но никто не станетъ утверждать, что „люди не знаютъ основаній геометрическихъ ис„тинъ, потому что не слыхали никогда никакихъ „возраженій на нихъ, не встрѣчали никакихъ „попытокъ ихъ опровергнуть.“ Относительно такого предмета, какъ математика, подобное знаніе, конечно, есть полное знаніе: въ этомъ и состоитъ особенность метематическихъ истинъ, что тутъ всѣ аргументы — на одной сторонѣ, что тутъ нѣтъ возраженій и, слѣдовательно, не можетъ требоваться никакихъ отвѣтовъ на возраженія. Но въ

такихъ предметахъ, относительно которыхъ возможны различныя мнѣнія, истина получается не иначе, какъ чрезъ сравненіе противоположныхъ аргументовъ. Даже при изученіи природы, и здѣсь всегда возможны различныя объясненія однихъ и тѣхъ же фактовъ, возможна теорія геоцентрическая и теорія геліоцентрическая, возможна и теорія флогистона и теорія кислорода, — и чтобы признать которую нибудь изъ нихъ истинною, надо доказать, что другая не есть истина, а пока это не доказано, или пока мы не знаемъ, какъ это доказывается, то, признавая одну изъ нихъ истинной, не знаемъ, значитъ, основаній мнѣнія, котораго держимся. Если же мы обратимся къ предметамъ, несравненно болѣе сложнымъ, каковы: нравственность, религія, политика, общественныя отношенія и вообще вопросы человѣческой жизни, то мы увидимъ, что три четверти аргументовъ, на которыхъ основывается извѣстное мнѣніе, заключается ни въ чемъ иномъ, какъ въ опроверженіи того, что можетъ служить основаніемъ для другого несогласнаго съ этимъ мнѣнія. Говорятъ, что Цицеронъ всегда изучалъ тезисъ своего противника съ такимъ же, если не съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ свой собственный тезисъ. Такъ поступалъ величайшій послѣ Демосѳена ораторъ древности для достиженія ораторскаго успѣха; такъ же долженъ поступать каждый, кто изучаетъ предметъ для достиженія ис-

тины. Тотъ, кто знаетъ объ извѣстномъ предметѣ только свое собственное о немъ мнѣніе, тотъ еще знаетъ весьма немного, и какъ бы ни были хороши основанія его мнѣнія, даже если бы никто не могъ ихъ опровергнуть, но если онъ въ то же время и самъ не можетъ опровергнуть основаній противнаго мнѣнія, или даже вовсе и не знаетъ ихъ, то и не имѣетъ, значитъ, никакого основанія предпочитать одно мнѣніе другому. Дѣйствуя раціонально, онъ долженъ въ такомъ случаѣ воздержаться отъ опрометчиваго сужденія, а если поступитъ иначе, то, значитъ, онъ, или подчинится какому нибудь авторитету, или же приметъ то мнѣніе, къ которому чувствуетъ особую наклонность,— какъ это обыкновенно и дѣлаетъ большая часть людей. Недостаточно слышать аргументы противнаго мнѣнія отъ учителей другого мнѣнія, которые обыкновенно представляютъ ихъ на свой манеръ, сопровождая эти аргументы тѣмъ, чѣмъ, по ихъ мнѣнію, они опровергаются. Не этимъ путемъ можетъ достигнуть человѣкъ дѣйствительнаго знанія аргументовъ противнаго мнѣнія, и не этимъ путемъ можетъ онъ оцѣнить ихъ надлежащимъ образомъ. Онъ долженъ слышать ихъ отъ тѣхъ самыхъ людей, которые признаютъ ихъ силу, которые убѣждены въ истинности того мнѣнія, которое на нихъ основывается, и одушевлены стремленіемъ доказать его истинность, — онъ долженъ знать эти аргументы въ ихъ самой сильной, са-

мой убѣдительной формѣ,—долженъ знать, тѣ затрудненія, какія встрѣчаетъ истина, во всей ихъ силѣ, а иначе онъ никогда не овладѣетъ вполнѣ тою частію истины, которая ихъ опровергаетъ. Въ такомъ именно состояніи и находятся девяносто девять на сто изъ числа такъ называемыхъ образованныхъ людей, и даже изъ числа тѣхъ, которые умѣютъ весьма краснорѣчиво защищать свои мнѣнія. Заключенія ихъ могутъ быть истинны и могутъ быть ложны на такомъ основаніи, которое имъ даже и неизвѣстно. Они никогда не становятся на точку зрѣнія тѣхъ людей, которые думаютъ иначе, чѣмъ они, никогда не вникаютъ надлежащимъ образомъ въ то, что могутъ сказать ихъ противники, и слѣдовательно, говоря въ строгомъ смыслѣ, не знаютъ даже и той доктрины, которую сами защищаютъ: не знаютъ тѣхъ частей этой доктрины, которыми объясняются и оправдываются остальныя ея части, тѣхъ основаній, которыя показываютъ, какимъ образомъ факты, повидимому совершенно между собою несогласимые, на самомъ дѣлѣ нисколько другъ другу не противорѣчатъ, или почему изъ двухъ противныхъ другъ другу и повидимому равносильныхъ аргументовъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе тому, а не другому. Имъ, обыкновенно, неизвѣстна вся та часть истины, которая собственно и опредѣляетъ сужденіе людей, вполнѣ ею владѣющихъ. Только тотъ вполнѣ знаетъ истину, кто съ равнымъ вни-

маніемъ и съ равнымъ безпристрастіемъ изучалъ всѣ различныя мнѣнія и равно уяснилъ себѣ всѣ аргументы всѣхъ различныхъ мнѣній. Это до такой степени существенно необходимо для дѣйствительнаго пониманія нравственныхъ вопросовъ и вообще вопросовъ человѣческой жизни, что если бы истина не имѣла противниковъ, то необходимо было бы предположить, что противники существуютъ, и самому себѣ противопоставить самые сильные аргументы, какіе только можетъ изобрѣсть самый ловкій адвокатъ діавола.

Для того, чтобы ослабить силу представленныхъ нами соображеній, противники свободнаго выраженія мнѣній могутъ замѣтить, что нѣтъ никакой необходимости въ томъ, чтобы всѣ люди знали и понимали все, что можетъ быть сказано pro или contra ихъ мнѣній философами и теологами, — что всѣмъ людямъ вообще нѣтъ надобности умѣть обличать искаженія или софизмы искуснаго противника, — довольно, если только нѣкоторые изъ нихъ будутъ способны на это, и такимъ образомъ ничто не будетъ оставаться безъ опроверженія, что только можетъ ввести въ заблужденіе людей необразованныхъ, — простымъ же людямъ достаточно знать главныя основанія истины, а остальное они могутъ принять на вѣру, и сознавая, что не имѣютъ ни знанія, ни таланта, чтобы разрѣшить встрѣтившееся затрудненіе, могутъ положиться на то, что эти затрудненія уже

опровергнуты или могутъ быть опровергнуты тѣми, кто этимъ спеціально занимается.

Но если мы даже сдѣлаемъ всевозможные уступки въ пользу этой доктрины, какихъ только могутъ пожелать отъ насъ люди, довольствующіеся наименьшею степенью пониманія того, во что вѣрятъ, то и въ такомъ случаѣ представленныя нами соображенія въ пользу свободнаго выраженія мнѣній нисколько не утратятъ своей силы, такъ какъ эта доктрина признаетъ, что люди должны имѣть раціональную увѣренность въ томъ, что всѣ возраженія противъ признаваемыхъ ими истинъ удовлетворительнымъ образомъ опровергнуты. Но какимъ же образомъ могутъ быть опровергнуты возраженія, когда онѣ не могутъ быть высказаны? Какъ можемъ мы знать, что возраженіе удовлетворительно опровергнуто, если неудовлетворительность опроверженія не можетъ быть указана? Если не публика, то по крайней мѣрѣ тѣ философы и богословы, которымъ предназначено опровергать возраженія, должны вполнѣ знать то, что опровергаютъ; но возможно ли это для нихъ, если эти возраженія не могутъ быть свободно высказаны со всею силою убѣжденія, какая только имъ доступна. Католическая церковь разрѣшаетъ это затрудненіе на свой манеръ. Она раздѣляетъ людей на два разряда: однимъ дозволяется убѣждаться въ истинѣ ихъ доктринъ, а другіе обязаны принимать ихъ на вѣру. Ни тѣмъ, ни дру-

гимъ, конечно, свобода мысли равно не дозволительна; но духовенству, или той части духовенства, которая признается заслуживающей довѣрія, дозволительно и даже похвально знакомиться съ аргументами противниковъ, для того чтобы опровергать ихъ,—оно можетъ читать для этой цѣли еретическія книги, прочіе же ихъ не иначе могутъ читать, какъ по особому спеціальному разрѣшенію, которое получить весьма трудно. Итакъ, католическая церковь признаетъ, что учителямъ ея доктринъ полезно знать мнѣнія противниковъ, но отвергаетъ пользу этого знанія для всего остальнаго міра,—она даетъ своимъ избраннымъ болѣе широкое умственное образованіе, но не большую степень умственной свободы, чѣмъ массамъ. Такимъ образомъ достигаетъ она той степени умственнаго совершенствованія, которая ей нужна для ея цѣлей: конечно, образованіе безъ свободы не можетъ создать широкихъ и либеральныхъ умовъ, но оно создаетъ искусныхъ nisi prius адвокатовъ, что ей и нужно. Но такъ можетъ поступать только одна католическая церковь; протестантскія же страны лишены этого средства, такъ какъ протестантизмъ, по крайней мѣрѣ въ теоріи, признаетъ, что каждый самъ на себѣ несетъ отвѣтственность въ выборѣ религіи и ни въ какомъ случаѣ не можетъ сложить ее на своихъ учителей. Кромѣ того, при теперешнемъ состояніи міра, практически невозможно устроить

такъ, чтобы сочиненія, читаемыя образованными людьми, не могли быть читаемы и людьми необразованными: слѣдовательно, если учителя человѣчества должны имѣть полное знаніе всего, что должны знать, то надо установить полную свободу писать и печатать все, безъ всякаго ограниченія.

Впрочемъ, если бы зло отъ несвободы мнѣній, когда охраняемыя мнѣнія истинны, ограничивалось только тѣмъ, что люди не знаютъ основаній того, что считаютъ истиной, то могли бы подумать, что отсутствіе свободы есть зло только по отношенію къ умственному развитію, а не по отношенію къ нравственности, — что оно нисколько не ослабляетъ нравственнаго достоинства мнѣній, т. е. того достоинства, которое измѣряется ихъ вліяніемъ на характеры людей. Но на самомъ дѣлѣ совсѣмъ не то. На самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе несвободы мнѣній, люди не только не знаютъ основанія того, что признаютъ истиной, но самая эта истина утрачиваетъ для нихъ всякій смыслъ, — выражающія ее слова перестаютъ возбуждать въ нихъ тѣ идеи, или же возбуждаютъ только отчасти, которыя ими первоначально выражались. Пропадаетъ живое сознаніе, живая вѣра, и отъ всей истины ничего не остается, кромѣ нѣсколькихъ фразъ, повторяемыхъ изъ одной привычки, а если и остается что, то развѣ только скорлупа или шелуха, а самая эссенція гибнетъ. Этотъ

фактъ имѣетъ великое значеніе въ исторіи человѣчества и поэтому требуетъ самого внимательнаго разсмотрѣнія.

Мы встрѣчаемъ этотъ фактъ въ исторіи почти всѣхъ этическихъ доктринъ и всѣхъ религіозныхъ вѣрованій. Для первыхъ учителей и для непосредственныхъ ихъ учениковъ доктрины и вѣрованія полны смысла и жизни. Ихъ смыслъ воспринимается людьми съ не меньшею, и можетъ быть даже съ большею силою, съ болѣе полнымъ сознаніемъ, пока длится борьба о преобладаніи надъ другими доктринами или вѣрованіями. Потомъ онѣ или достигаютъ преобладанія и становятся общепризнанною истиной, или же ихъ прогрессъ останавливается, онѣ вступаютъ въ обладаніе тѣмъ, что завоевали, и далѣе уже не распространяются. По мѣрѣ того, какъ выясняется тотъ или другой изъ этихъ результатовъ, возбужденные ими споры слабѣютъ и постепенно замираютъ. Наконецъ, онѣ занимаютъ извѣстное мѣсто, если не какъ общепризнанныя истины, то какъ терпимыя секты или терпимыя отступленія отъ общаго мнѣнія: тогда онѣ уже болѣе никого не обращаютъ, ихъ исповѣдуютъ только тѣ, кто получаетъ ихъ по наслѣдству, — обращеніе въ нихъ людей, исповѣдующихъ другія доктрины и вѣрованія, становится явленіемъ столь рѣдкимъ, столь исключительнымъ, что учителя ихъ перестаютъ наконецъ и заботиться объ этомъ. Вмѣсто

того, чтобы быть, какъ въ первое время, въ постоянномъ напряженіи для защиты себя или для достиженія преобладанія надъ другими, онѣ впадаютъ въ инерцію, не слушаютъ, если только могутъ не слушать, никакихъ противъ себя аргументовъ, и не безпокоятъ своими аргументами тѣхъ, кто съ ними не согласенъ (если только такіе есть). Съ этого момента и начинаетъ вымирать бывшая въ нихъ живая сила.

Мы часто слышимъ отъ учителей разныхъ вѣрованій жалобы на то, какъ трудно поддерживать въ умахъ вѣрующихъ живое сознаніе истины, какъ трудно достигать того, чтобы истина проникала въ ихъ сердце и дѣйствительно руководила ихъ поступками. Но мы не встрѣчаемъ подобныхъ жалобъ, пока вѣрованія еще не закончили своей борьбы за существованіе: тогда даже самые слабые ихъ бойцы знаютъ и чувствуютъ то, за что сражаются, знаютъ, чѣмъ ихъ доктрина отличается отъ другихъ доктринъ. Въ этотъ періодъ, который одинаково переживаютъ всѣ вѣрованія, не мало встрѣчается людей, которые реализировали основные принципы своей вѣры во всѣхъ формахъ мысли, взвѣсили и разсмотрѣли ихъ со всѣхъ важныхъ сторонъ и опытомъ вполнѣ извѣдали вліяніе, какое можетъ произвести ихъ вѣра на человѣка, вполнѣ убѣжденнаго въ ея истинности. Но когда эта вѣра становится предметомъ, передаваемымъ по наслѣд-

ству, когда она принимается пассивно, а не активно, когда исповѣдующій ее не вынужденъ болѣе, какъ въ первое время, напрягать всѣ силы своего ума для разрѣшенія вопросовъ, которые она возбуждаетъ, тогда начинаетъ обнаруживаться въ вѣрующихъ прогрессивно возростающая наклонность держаться исключительно формулъ, забывая ихъ смыслъ, или относиться къ этому смыслу тупо и бездѣйственно; въ нихь замираетъ мало по малу потребность возводить доктрину въ сознаніе и реализировать ее въ дѣйствительной жизни, и доктрина утрачиваетъ наконецъ всякую связь съ ихъ внутренней жизнію. Тогда и совершается съ людьми то, что въ настоящее время едва ли не совершилось съ большинствомъ людей: религіозное вѣрованіе становится для внутренней жизни человѣка какъ нѣчто внѣшнее, какъ будто кора, которая охраняетъ ее отъ всѣхъ вліяній, обращающихся къ высшимъ свойствамъ нашей природы,—вся его сила заключается какъ будто въ томъ, что оно не допускаетъ никакихъ живыхъ убѣжденій,—будучи мертво и для ума и для сердца, оно болѣе ничего не дѣлаетъ, какъ только охраняетъ ихъ пустоту.

До какой степени даже тѣ доктрины, которыя по внутреннему своему содержанію въ высшей степени способны имѣть надъ людьми самое сильное вліяніе, до какой степени даже и эти доктрины могутъ превращаться въ пустую вѣру, совершенно

мертвую для внутренней жизни человѣка, для его понятій, — примѣромъ этому можетъ служить то значеніе, какое доктрины христіанства имѣютъ въ настоящее время для большинства вѣрующихъ. Я разумѣю подъ христіанствомъ то, что подъ нимъ разумѣютъ всѣ церкви и секты,—правила и наставленія, заключающіяся въ Новомъ Завѣтѣ. Всѣ, носящіе имя христіанъ, признаютъ, что эти правила и наставленія священны, что онѣ суть законъ, а между тѣмъ едва ли будетъ преувеличеніемъ сказать, что изъ тысячи такъ называемыхъ христіанъ не найдете ни одного, который бы руководился ими въ своихъ сужденіяхъ и поступкахъ. Вѣрующій нашего времени руководится въ жизни не тѣмъ, что признаетъ священнымъ закономъ, а тѣмъ, что есть обычай его народа, его класса, его секты. Предъ нимъ, съ одной стороны, собраніе нравственныхъ правилъ, которыя, какъ онъ вѣруетъ, даны ему непогрѣшительною мудростію, дабы онъ руководился ими въ земной жизни,—а съ другой стороны предъ нимъ собраніе сужденій и правилъ, сложившихся непосредственно практикою жизни, которыя иногда согласны съ священными правилами, а иногда и несогласны, иногда даже совершенно противорѣчатъ имъ и вообще представляютъ собою компромиссъ между христіанской вѣрой и между земными интересами и побужденіями: первымъ онъ воздаетъ поклоненіе, а вторыя онъ исполняетъ. Всѣ

христіане вѣруютъ, что блаженны бѣдные и нищіе духомъ, всѣ плачущіе и страждущіе въ этомъ мірѣ,—что легче верблюду пройдти сквозь игольное ухо, чѣмъ богатому войдти въ царствіе небесное, — что не должны они осуждать другихъ, для того чтобъ ихъ самихъ не осудили,—что не надо божиться,—что ближняго надо любить, какъ самого себя, — что если кто взялъ у васъ верхнюю одежду, то отдайте ему и кафтанъ, — что не надо заботиться о завтрашнемъ днѣ,—что если хотятъ быть совершенны, то должны продать все, что имѣютъ и раздать бѣднымъ. И когда они говорятъ, что вѣруютъ въ эти доктрины, они нисколько не лгутъ, они говорятъ совершенно искренно, — они вѣруютъ въ нихъ такъ, какъ обыкновенно человѣкъ вѣруетъ въ то, что предъ нимъ постоянно превозносятъ, но о чемъ никто никогда не разсуждаетъ: это—не та живая вѣра, которая бы управляла жизнію человѣка, а вѣра мертвая. Собственно же говоря, эти доктрины составляютъ предметъ вѣры не болѣе, какъ на столько, на сколько въ обычаѣ ихъ исполнять,—въ чистотѣ же своей онѣ употребительны въ настоящее время только какъ орудіе противъ противниковъ; ихъ обыкновенно выставляютъ (если только есть возможность къ тому), какъ причину поступка, когда человѣкъ сдѣлаетъ что нибудь похвальное, — утверждаютъ, что человѣкъ потому будто бы и поступилъ хорошо, что ихъ исповѣ-

дуетъ. Если бы кто вздумалъ напомнить, что доктрины эти требуютъ многаго такого, чего христіане нашего времени не имѣютъ даже и въ помыслахъ, то это напоминаніе поведетъ развѣ только къ тому, что напоминающій навлечетъ на себя все нерасположеніе, съ какимъ обыкновенно люди относятся къ человѣку, въ которомъ видятъ притязаніе быть лучше, чѣмъ они. Въ нашъ вѣкъ христіанскія доктрины не имѣютъ болѣе никакой власти надъ вѣрующими въ нихъ, никакого вліянія на ихъ умы. Вѣрующіе не перестаютъ еще съ привычнымъ уваженіемъ произносить тѣ слова, въ которыхъ выражаются признаваемыя ими доктрины, но слова эти уже болѣе не пробуждаютъ въ нихъ того чувства, которое бы воспринимало самый смыслъ словъ, возводило его въ сознаніе и такимъ образомъ дѣлало бы его руководителемъ жизни. Когда вѣрующему предстоитъ рѣшиться на какой нибудь поступокъ, онъ обыкновенно справляется съ тѣмъ, что дѣлаетъ А., что дѣлаетъ Б., и это служитъ ему указаніемъ, на сколько долженъ онъ исполнять исповѣдуемыя имъ доктрины.

Не подлежитъ сомнѣнію, что не такъ было у первоначальныхъ христіанъ. Если бы христіанство и въ первое время было тѣмъ же, чѣмъ оно теперь, то никогда не сдѣлалось бы оно изъ ничтожной секты презираемаго народа религіею Римской имперіи. Когда враги христіанъ гово-

рили о нихъ: „смотри, какъ эти люди любятъ другъ друга“ (такого замѣчанія теперь никто не сдѣлаетъ), тогда, конечно, у этихъ христіанъ было болѣе живо сознаніе своихъ вѣрованій, чѣмъ какое мы встрѣчаемъ въ послѣдующія времена. Упадку живаго сознанія христіанство, по всей вѣроятности, главнымъ образомъ и обязано тѣмъ, что въ настоящее время дѣлаетъ такъ мало успѣховъ,—оно болѣе почти уже не распространяется и до сихъ поръ, послѣ восемнадцати столѣтій существованія, признается только почти одними европейцами и потомками европейцевъ. Даже люди самые религіозные, самые строгіе ревнители своихъ вѣрованій, проникнутые самымъ глубокимъ, какое только теперь встрѣчается между людьми, сознаніемъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ своихъ доктринъ,—даже и эти люди, обыкновенно, обнаруживаютъ дѣйствительно живое, говоря сравнительно, сознаніе только той части доктрины, которую они получили отъ какого нибудь Кальвина, Нокса, или вообще отъ человѣка, болѣе или менѣе подходящаго къ нимъ по своему характеру; изреченія же Христа существуютъ при этомъ въ ихъ умѣ какъ бы пассивно, едва ли производя на нихъ большее дѣйствіе, чѣмъ какое вообще способны производить на человѣка слова, исполненныя столь высокаго духа любви и кротости. Конечно, мы можемъ привести много причинъ для объясненія, почему именно доктрины,

составляющія знамя того или другаго ученія, сохраняютъ большую жизненную силу, чѣмъ тѣ доктрины, которыя общи всѣмъ имъ, почему относительно ихъ учители вѣры обнаруживаютъ большую ревность; но какія бы причины мы ни приводили, во всякомъ случаѣ главная причина заключается въ томъ, что сектантскія доктрины чаще подвергаются нападеніямъ и чаще требуютъ защиты: когда въ полѣ нѣтъ болѣе враговъ, то обыкновенно бываетъ такъ, что и учителя и ученики засыпаютъ на своемъ посту.

Говоря вообще, изложенное нами замѣчаніе одинаково вѣрно относительно всякаго рода доктринъ, которыя передаются отъ одного къ другому по преданію, а не только относительно доктринъ нравственныхъ или религіозныхъ. Во всѣхъ языкахъ, во всѣхъ литературахъ находимъ мы множество изреченій, заключающихъ въ себѣ выводъ изъ жизненнаго опыта; изреченія эти составляютъ для всѣхъ несомнѣнную, очевидную истину,—ихъ всѣ знаютъ, всѣ повторяютъ, всѣ признаютъ ихъ истинными, а между тѣмъ то, что въ нихъ выражается, для большей части людей не прежде дѣлается живою истиной, какъ когда уже ихъ тому научитъ болѣе или менѣе горькій опытъ. Какъ часто человѣкъ, подвергаясь бѣдствію или неудачѣ, припоминаетъ какую нибудь поговорку или изреченіе, которое онъ такъ часто слышалъ и такъ часто повторялъ въ своей жизни и кото-

рое предохранило бы его отъ бѣдствія, если бы онъ и прежде сознавалъ его такъ же, какъ сознаетъ теперь! Этому, конечно, могутъ быть и другія причины, а не только — отсутствіе критики: есть такія истины, которыя человѣкъ не иначе можетъ вполнѣ сознать, какъ путемъ личнаго опыта. Но даже и такого рода истины были бы болѣе и лучше понимаемы, человѣкъ глубже проникался бы ими, если бы ему случалось слышать разсужденіе о нихъ тѣхъ людей, которые ихъ сознаютъ. Вообще люди имѣютъ бѣдственную для нихъ наклонность безучастно относиться къ тому, что представляется имъ несомнѣннымъ, и эта наклонность, обыкновенно, бываетъ причиною большей части ихъ ошибокъ. Одинъ современный намъ писателя очень хорошо описалъ этотъ „глубокій сонъ установившагося мнѣнія.“

Но неужели же (могутъ мнѣ сказать) разногласіе въ мнѣніяхъ есть необходимое условіе истиннаго знанія? Неужели необходимо, чтобы одна часть человѣчества оставалась въ заблужденіи, для того чтобы другая была способна сознавать истину? Неужели люди утрачиваютъ истину, какъ скоро она дѣлается истиной всего человѣчества? До сихъ поръ признавалось, что высшая цѣль, лучшій результатъ, къ какому только можетъ стремиться умъ человѣческій, состоитъ въ томъ, чтобы убѣдить человѣчество въ сознанныхъ имъ истинахъ,—неужели же этотъ умъ съ достиженіемъ

*

цѣли утрачиваетъ пониманіе своихъ истинъ и, такимъ образомъ, окончательное достиженіе цѣли губитъ самую цѣль?

Я ничего подобнаго и не утверждаю. Конечно, съ прогрессомъ человѣчества должно постоянно возрастать число безспорныхъ или несомнѣнныхъ доктринъ, и благосостояніе людей можетъ даже быть отчасти измѣряемо числомъ и важностію доктринъ, которыя достигли несомнѣнности. Конечно, серьезный споръ по какому нибудь вопросу долженъ неизбѣжно прекращаться по мѣрѣ того, какъ устанавливается о немъ общее мнѣніе, что столько же полезно, когда устанавливается мнѣніе истинное, сколько опасно и вредно, когда устанавливается мнѣніе ложное. Но хотя такое постепенное уменьшеніе предметовъ, по которымъ происходитъ столкновеніе мнѣній, и необходимо въ обоихъ смыслахъ этого слова, т. е. необходимо потому, что неизбѣжно, и потому, что есть условіе прогресса, однако изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы и всѣ послѣдствія этого были непремѣнно хороши. Необходимость разъяснить истину, защищать ее противъ противниковъ, весьма сильно содѣйствуетъ правильному, живому ея пониманію, и эта польза отъ столкновенія различныхъ мнѣній хотя и не перевѣшиваетъ, конечно, той пользы, какая получается отъ общаго признанія истины, но тѣмъ не менѣе весьма важна. Признаюсь,—я полагаю, даже желательнымъ, чтобы наставники человѣче-

ва придумывали различныя мнѣнія по тѣмъ во-
росамъ, по которымъ различіе въ мнѣніяхъ уже
олѣе не существуетъ, — чтобы они изобрѣтали
акія нибудь затрудненія для признанія истины,
зраженія, которыя бы для ихъ учениковъ имѣ-
такое же значеніе, какъ если бы были предъ-
лены противниками, желающими обратить ихъ
противное мнѣніе.

Но вмѣсто того, чтобы изобрѣтать средства
я полученія той пользы, какая происходитъ отъ
олкновенія мнѣній, наставники человѣчества утра-
ли даже и тѣ средства, какія имѣли прежде.
нимъ изъ такихъ средствъ была сократовская
алектика, которой Платонъ представилъ намъ
иколѣпный образчикъ въ своихъ діалогахъ.
щность этой діалектики состояла въ отрица-
льной критикѣ великихъ вопросовъ науки и
зни. Критика эта была направляема съ вели-
мъ искусствомъ къ той цѣли, чтобы убѣдить
овѣка, безсознательно повторяющаго общепри-
нныя истины, что онъ не понимаетъ этихъ ис-
ъ, что исповѣдуемыя имъ доктрины не имѣютъ
него никакого ясно-опредѣленнаго смысла, —
чтобы, убѣдивъ такимъ образомъ человѣка въ
невѣжествѣ, сдѣлать его способнымъ достичь
йствительнаго знанія истины, которое бы осно-
залось на ясномъ пониманіи какъ смысла док-
ины, такъ и основаній ея несомнѣнности.
добную же отчасти цѣль имѣли и диспуты въ

средневѣковыхъ школахъ: они служили средствомъ удостовѣриться, что ученикъ понимаетъ свое мнѣніе и мнѣніе противника (что и невозможно одно безъ другаго), что онъ въ состояніи доказать первое и опровергнуть второе. Средневѣковые диспуты имѣли, конечно, тотъ неисправимый для нихъ недостатокъ, что посылки ихъ опирались на авторитетъ, а не на разумъ, и потому они, какъ средство для умственнаго развитія, стоятъ во всѣхъ отношеніяхъ ниже могучей діалектики, образовавшей Socratici viri. Но во всякомъ случаѣ, теперешнимъ своимъ умственнымъ состояніемъ человѣчество много [illegible]язано об[illegible] этимъ средствамъ, и діалектик[illegible] [illegible]испутамъ, — оно обязано имъ гораздо болѣ[illegible] какъ э[illegible] обыкновенно думаютъ, и тепе[illegible] способъ во[illegible]питанія не представляетъ нам[illegible]го, что зам[illegible]няло бы ихъ хоть сколько нибуд[illegible] тѣ л[illegible]ди, получающіе все свое образова[illegible]ител[illegible] или изъ книгъ, которые не под[illegible] обычно въ этомъ случаѣ искушенію дов[illegible]ствоваться [illegible] нимъ выучиваніемъ безъ пониманія, — даже и [illegible] люди не встрѣчаютъ обыкновенно никакого о[illegible]беннаго побужденія внимательно изучить обѣ п[illegible]тивоположныя стороны вопроса: вслѣдствіе эт[illegible] полное знаніе обѣихъ сторонъ рѣдко встрѣчае[illegible] даже и у мыслителей, и обыкновенно самую с[illegible]бую часть всѣхъ мнѣній составляетъ именно [illegible] что приводится ими какъ аргументъ противъ п[illegible]

никовъ. Теперь въ модѣ относиться съ не-
женіемъ къ отрицательной логикѣ, т. е. къ
логикѣ, которая ограничивается указаніемъ
бныхъ сторонъ теоріи или ошибокъ практики,
сама не приводитъ ни къ какимъ положитель-
мъ истинамъ. Такой отрицательный крити-
змъ не можетъ, разумѣется, служить конечною
лію, но какъ средство для достиженія положи-
льнаго знанія или убѣжденія, которое бы заслу-
ивало называться убѣжденіемъ, онъ неоцѣнимъ,
пока люди опять не будутъ систематически
ходить чрезъ школу этого критицизма, до тѣхъ
ръ немного будетъ у насъ великихъ мыслите-
й и не высоко поднимется средній уровень ум-
веннаго развитія, исключая развѣ только по
ношенію къ предметамъ математики и физики.
наніе человѣка о какомъ бы то ни было пред-
тѣ, за исключеніемъ предметовъ математики и
изики, только въ такомъ случаѣ и заслужи-
етъ называться знаніемъ, если оно прошло чрезъ
есь тотъ умственный процессъ, который обыкно-
енно совершается въ человѣкѣ, когда онъ вы-
ерживаетъ споръ съ дѣйствительнымъ оппонен-
омъ. Если критика мнѣнія до такой степени
облезна для самаго мнѣнія, которое критикуется,
о такой степени необходима, что если нѣтъ дѣй-
твительнаго оппонента, то надо какъ нибудь за-
мѣнить его, и такъ какъ подобная замѣна весьма
трудна, то, очевидно, это болѣе чѣмъ безразсуд-

ство, — уклоняться отъ критики, когда критика сама просится, чтобъ ее выслушали. Слѣдовательно, когда оказываются люди, которые оспариваютъ общепринятое мнѣніе или желали бы его оспаривать, если бы только законъ или общественное мнѣніе имъ это дозволяли, то будемъ имъ благодарны за то, выслушаемъ внимательно все, что они имѣютъ сказать: они для насъ сдѣлаютъ то, что, въ противномъ случаѣ, мы сами должны были бы для себя сдѣлать, если только дорожимъ истинностію или жизненностію своихъ убѣжденій, и что представило бы для насъ не малую трудность.

Намъ остается разсмотрѣть еще одну изъ главныхъ причинъ, почему различіе мнѣній полезно и будетъ полезно до тѣхъ поръ, пока человѣчество не достигнетъ такой степени умственнаго развитія, отъ котораго мы въ настоящее время еще неизмѣримо далеко. Мы до сихъ поръ разсмотрѣли только двѣ гипотезы: мы предположили сначала, что общепринятое мнѣніе можетъ быть ложно, и что истина, слѣдовательно, можетъ быть на сторонѣ какого нибудь непризнаннаго мнѣнія, а потомъ— что общепринятое мнѣніе истинно, и нашли, что въ такомъ случаѣ столкновеніе этого мнѣнія съ заблужденіемъ существенно необходимо для яснаго пониманія и живаго сознанія самой той истины, которая заключается въ общепринятомъ мнѣніи. Намъ остается сдѣлать еще третье предположеніе,

которое дѣйствительная жизнь осуществляетъ гораздо чаще, чѣмъ оба первыя, а именно: что ни одна изъ спорящихъ между собой доктринъ ни истинна, ни ложна, а что всѣ онѣ частію истинны и частію ложны, — что непризнанная доктрина необходима для полноты той истины, часть которой заключается въ доктринѣ общепризнанной. По предметамъ, которые не подлежатъ нашимъ чувствамъ, общепринятыя мнѣнія часто бываютъ истинны, но рѣдко или даже никогда не заключаютъ въ себѣ всей истины, а только одну часть ея, большую или меньшую, и притомъ почти всегда преувеличенную, искаженную, оторванную отъ тѣхъ истинъ, которыя необходимо должны ей сопутствовать и ограничивать ее. Съ другой же стороны еретическое мнѣніе, обыкновенно, есть не что иное, какъ часть истины, заключающейся въ общепринятомъ мнѣніи, которая этимъ мнѣніемъ задавлена или непризнана, и стремится или дополнить общепринятую часть истины, или же, относясь къ господствующему мнѣнію, какъ къ врагу, заступить его мѣсто, какъ будто бы заключаетъ въ себѣ всю истину. Стремленіе еретическихъ мнѣній къ исключительному господству было до сихъ поръ общимъ явленіемъ, такъ какъ до настоящаго времени умственная односторонность всегда составляла правило, а многосторонность была только исключеніемъ. По причинѣ этой односторонности, даже въ тѣ эпохи, когда общее мнѣніе

подвергалось революціонному перевороту, съ разъясненіемъ одной части истины соединялось обыкновенно затемнѣніе другой ея части. То, что мы называемъ прогрессомъ, заключается, по большей части, не въ ростѣ истины, какъ бы это должно было быть, а только въ замѣнѣ какой либо частной, неполной истины другою, и все улучшеніе состоитъ въ томъ, что новый осколокъ истины болѣе нуженъ, болѣе соотвѣтствуетъ потребностямъ времени, чѣмъ тотъ, котораго онъ замѣнилъ. Таковъ односторонній характеръ господствующихъ мнѣній, даже когда эти мнѣнія имѣютъ истинное основаніе, и поэтому высоко должны мы цѣнить еретическія мнѣнія, хотя бы заключающіяся въ нихъ части истины, непризнанныя господствующимъ мнѣніемъ, и затемнялись разными заблужденіями и искаженіями. Тѣхъ людей, которые указываютъ намъ, чего мы не видимъ, ни одинъ здравомыслящій человѣкъ не только не станетъ строго осуждать за то, что они не видятъ того, что мы видимъ, а напротивъ—едва ли онъ даже не признаетъ желательнымъ чтобы, при односторонности общепринятыхъ мнѣній, непризнанныя еретическія мнѣнія имѣли также своихъ исключительныхъ, односторонихъ приверженцевъ, такъ какъ такіе приверженцы отличаются обыкновенно наибольшею энергіей и наиболѣе способны заставить общество обратить вниманіе на непризнанныя имъ части истины.

Такъ въ восьмнадцатомъ столѣтіи почти всѣ

образованные люди, а по ихъ примѣру и люди необразованные, были проникнуты безграничнымъ удивленіемъ къ такъ называемой цивилизаціи, къ чудесамъ новой науки, литературы, философіи,— различіе между людьми новаго времени и людьми временъ первобытныхъ представлялось имъ въ крайне преувеличенномъ видѣ, и это различіе они объясняли исключительно въ свою пользу, чрезмѣрно высоко превознося себя надъ древнимъ человѣкомъ. При безграничномъ господствѣ такого исключительнаго, односторонняго мнѣнія парадоксы Руссо оказались весьма благодѣтельны: они, какъ бомбы, пробили крѣпко укоренившееся мнѣніе, заставили его преобразоваться и принять въ себя новые ингредіенты. Конечно, говоря вообще, господствовавшія въ то время идеи были не дальше отъ истины, чѣмъ идеи Руссо, а напротивъ: онѣ были даже ближе къ истинѣ, — въ нихъ было болѣе положительно истиннаго и менѣе положительно ложнаго; но тѣмъ не менѣе въ доктринѣ Руссо была значительная доля тѣхъ именно истинъ, которыхъ недоставало господствовавшимъ въ то время идеямъ. Увлеченіе, вызванное этой доктриной, прошло, но заключавшіяся въ ней истины не пропали: высокое достоинство простоты жизни, разслабляющее, деморализирующее дѣйствіе такъ называемаго цивилизованнаго общества, эти идеи со временъ Руссо не были совершенно чужды ни одному образованному уму и придетъ время,

когда онѣ произведутъ свое дѣйствіе, хотя нельзя не замѣтить, что теперь можетъ быть болѣе, чѣмъ когда либо, необходимо повторять ихъ, доказывать, утверждать не только словами, но и самымъ дѣломъ, такъ какъ это такой предметъ, по которому слова потеряли почти всякую силу.

Такъ въ политикѣ теперь стало уже почти общимъ мѣстомъ, что партія порядка или сохраненія statu quo, и партія прогресса или преобразованія суть два элемента, равно необходимые для здороваго состоянія политической жизни, пока та или другая изъ этихъ партій не достигнетъ наконецъ такой умственной широты, что будетъ вмѣстѣ и партіей порядка и партіей прогресса, будетъ способна распознавать и различать, что надо сохранить и что надо уничтожить. Польза, приносимая каждою изъ этихъ партій, условливается недостатками другой партіи, и только противодѣйствіе ихъ другъ другу главнымъ образомъ и сдерживаетъ ихъ въ должныхъ предѣлахъ. Если обѣ, противостоящія одна другой, стороны, и демократія и аристократія, собственность и равенство, ассоціація и соперничество, роскошь и воздержаніе, общественность и индивидуальность, свобода и дисциплина, однимъ словомъ противоположныя другъ другу стремленія по всѣмъ практическимъ вопросамъ жизни не будутъ выражаться съ одинаковой свободой, не будутъ доказываемы и защищаемы съ одинаковымъ талантомъ и энергіей, то и не будетъ,

конечно, никакого шанса, чтобы каждая сторона получила должное, и вѣсы необходимо склонятся въ пользу одной изъ нихъ. Вообще по всѣмъ великимъ практическимъ вопросамъ жизни истина заключается преимущественно въ примиреніи и соглашеніи противоположностей: это до такой степени справедливо, что весьма рѣдко встрѣчаются такіе умы, которые были бы достаточно сильны и достаточно безпристрастны, чтобы въ самихъ себѣ произвесть это соглашеніе противоположностей, и оно достигается, обыкновенно, не иначе, какъ путемъ тяжелой борьбы между противниками, стоящими подъ враждебными другъ другу знаменами. Если которое либо изъ противоположныхъ другъ другу мнѣній, по какому бы то ни было изъ вышеисчисленныхъ нами вопросовъ, имѣетъ болѣе права, чѣмъ другое, не только на то, чтобъ быть терпимымъ, но и на то, чтобъ быть поощряемымъ и поддерживаемымъ, то, конечно, то изъ нихъ, которое въ данное время и въ данномъ мѣстѣ есть меньшинство: это право — за меньшинствомъ, потому что меньшинство представляетъ собою тѣ интересы, которые въ данномъ случаѣ находятся въ пренебреженіи, оно представляетъ собою ту сторону человѣческаго благосостоянія, которая находится въ опасности, что ей не воздадутъ должнаго. У насъ въ Англіи существуетъ терпимость относительно различія въ мнѣніяхъ по всѣмъ почти исчисленнымъ мною вопросамъ, и эта терпимость можетъ

представить намъ многочисленные и несомнѣнные примѣры, доказывающіе универсальность того факта, что при теперешнемъ умственномъ состояніи человѣчества только чрезъ столкновеніе между собой различныхъ мнѣній и можетъ быть достигаемо полное знаніе истины. Когда въ обществѣ оказываются люди, несогласные съ общепринятымъ мнѣніемъ, то если бы даже общепринятое мнѣніе и было полная истина, и въ такомъ случаѣ эти люди, по всей вѣроятности, всегда имѣютъ сказать что нибудь, что обществу полезно слышать, и истина всегда что нибудь да теряетъ отъ ихъ молчанія.

Могутъ возразить; „но нѣкоторые изъ общепринятыхъ принциповъ, въ особенности же касающіеся самыхъ важныхъ и самыхъ жизненныхъ предметовъ, заключаютъ въ себѣ болѣе, чѣмъ полу-истину. Такъ напр. христіанская нравственность есть полная истина по предмету нравственности, и если кто признаетъ другую нравственность, съ ней несогласную, тотъ, безъ сомнѣнія, находится въ полномъ заблужденіи.“ Вопросъ о нравственности есть, конечно, самый важный практическій вопросъ, и поэтому онъ болѣе пригоденъ, чѣмъ какой либо другой, для провѣрки правильности изложеннаго нами мнѣнія. Прежде всего намъ представляется необходимымъ опредѣлить, что разумѣется подъ этимъ выраженіемъ: христіанская нравственность. Если подъ этимъ

выраженіемъ разумѣютъ нравственность Новаго Завѣта, то нельзя не удивляться, какъ могутъ люди, черпающіе свое знаніе о ней изъ самаго источника, предполагать, чтобы возвѣщеніе заключающихся въ Евангеліи нравственныхъ истинъ имѣло намѣреніе установить полную доктрину нравственности. Евангеліе постоянно указываетъ на существующую нравственность и ограничивается только правилами по тѣмъ частностямъ, которыя находитъ нужнымъ исправить или замѣнить; кромѣ того оно излагаетъ свои правила иногда въ общихъ выраженіяхъ, всегда краснорѣчивыхъ и поэтическихъ, но часто не имѣющихъ строгой опредѣленности закона. Вотъ почему для составленія строгой этической доктрины, къ этимъ правиламъ и была придана система нравственности, выработанная Ветхимъ Завѣтомъ, система законченная, но во всякомъ случаѣ, имѣвшая въ виду народъ, стоявшій на низкой ступени умственнаго развитія. Такимъ образомъ Св. Павелъ, котораго нельзя признать сторонникомъ чисто іудейскаго толкованія и дополненія правилъ Учителя, въ своихъ нравственныхъ наставленіяхъ христіанамъ, всегда предполагаетъ признаніе существующей нравственности греческой и римской, иногда возставая противъ нея, иногда вступая съ нею въ компромиссъ. То, что называется христіанской нравственностію

и что правильнѣе было бы назвать нравственностію богословскою, вовсе не есть дѣло Христа или Апостоловъ, а происхожденіе гораздо позднѣйшаго. Эта система нравственности созидалась постепенно католическою церковью первыхъ столѣтій, и хотя протестанты и вообще люди новаго времени и не приняли ее безусловно, но тѣмъ не менѣе они измѣнили ее далеко не такъ много, какъ этого можно было бы ожидать. Они по большей части удовольствовались тѣмъ, что очистили ее отъ тѣхъ добавленій, которыя были сдѣланы къ ней въ средніе вѣка, при чемъ каждая секта замѣняла эти отбрасываемыя добавленія новыми, болѣе соотвѣтствующими ея собственному характеру и ея собственнымъ наклонностямъ. Что человѣчество весьма много обязано этой нравственности и ея первымъ учителямъ,—я признаю это не менѣе, чѣмъ кто либо другой; но при этомъ я нисколько не колеблюсь сказать, что эта нравственность по многимъ весьма важнымъ пунктамъ неполна и односторонняя, и положеніе человѣчества вовсе не ухудшилось, а даже улучшилось отъ того, что въ образованіи европейской жизни и европейскаго характера приняли участіе такія идеи и чувства, санкціи которыхъ мы въ ней не усматриваемъ. По самому своему положенію въ языческомъ мірѣ, христіанская нравственность необходимо должна была

имѣть, между прочимъ, характеръ реакціи, протеста противъ поганизма; отъ этого идеалъ ея представляется скорѣе отрицательнымъ, чѣмъ положительнымъ: правилами ея предписывается скорѣе воздержаніе отъ зла нежели энергическое стремленіе къ добру, — „ты не долженъ“ является преобладающимъ надъ „ты долженъ“. Впослѣдствіи богословская католическая этика, по отвращенію къ чувственности, поставила выше всего аскетизмъ, который потомъ, идя отъ компромисса къ компромиссу съ требованіями жизни, замѣнила—легальностью; за тѣмъ признавъ блаженства рая и муки ада единственными побужденіями достойными и соотвѣтствующими добродѣтельной жизни, она невольно придала человѣческой нравственности эгоистическій характеръ. И въ то время, когда въ нравственности многихъ языческихъ народовъ обязанности къ обществу и государству занимаютъ даже большее мѣсто, чѣмъ какое слѣдуетъ, въ католической этикѣ эти обязанности едва упоминаются, — она предписываетъ только повиновеніе предержащей власти, полагая вообще въ повиновеніи все достоинство человѣка и подчиняя этому чувству всю нравственность даже частной жизни и все, что имѣетъ своимъ источникомъ общечеловѣческую, не исключительно религіозную, сторону нашего воспитанія. Идея объ обязанностяхъ къ

обществу даже и тою незначительною долей своего признанія, какая удѣляется въ этикахъ новѣйшихъ временъ, обязана собственно Греціи и Риму, а не католическому христіанству. Мало этого: даже и въ нравственности частной жизни все возвышенное, благородное, чувство человѣческаго достоинства, даже, наконецъ, и самое чувство чести, все это имѣетъ своимъ источникомъ чисто человѣческую сторону нашего воспитанія, а не религіозную, — ничего подобнаго никогда не было и не могло быть плодомъ такой нравственной доктрины, которая въ повиновеніи полагаетъ все достоинство человѣка.

Я не менѣе, чѣмъ кто либо, далекъ отъ мысли утверждать, чтобы эти недостатки были неизбѣжно присущи всякой христіанской этикѣ, или чтобы эта этика не могла быть примирена со всѣмъ тѣмъ, чего ей недостаетъ для того, чтобы быть полной доктриной нравственности. А тѣмъ болѣе я далекъ отъ того, чтобъ сказать что нибудь подобное о доктринахъ и правилахъ самого Христа. Я признаю, что изреченія Христа суть вполнѣ все то, чѣмъ они сами имѣли намѣреніе быть, — что въ нихъ нѣтъ ничего непримиримаго со всѣми требованіями самой полной нравственной доктрины, и все, что можетъ намъ дать лучшаго какая бы то

ни было этическая теорія, мы можемъ найдти и въ этихъ изреченіяхъ, подвергая ихъ не большему насилію, чѣмъ какое обыкновенно дозволяли себѣ надъ ними всѣ тѣ, которые когда либо пытались вывесть изъ нихъ практическую систему нравственности. И въ этомъ не будетъ никакого противорѣчія самому себѣ, если я скажу, что эти изреченія выражаютъ и имѣли намѣреніе выразить только часть истины, — что онѣ ничего не говорятъ намъ и не имѣли намѣренія ничего сказать о нѣкоторыхъ существенныхъ элементахъ высшей нравственности. Эти невыраженные въ нихъ элементы совершенно отсутствуютъ въ той этической системѣ, которую христіанская церковь создала на ихъ основаніи: вотъ почему я и признаю великимъ заблужденіемъ, то упорство, съ какимъ до сихъ поръ настаиваютъ на томъ, что будто христіанская доктрина заключаетъ въ себѣ полную систему нравственности, которую будто бы санксіонировалъ Христосъ, но повѣдалъ намъ только отчасти. Кромѣ того я признаю, что исключительное господство этой католической теоріи нравственности, которую называютъ христіанскою, дѣлается въ настоящее время важнымъ практическимъ зломъ, потому что подрываетъ цѣну того нравственнаго воспитанія и образованія, о которомъ въ настоящее время хлопочутъ многіе благонамѣренные лю-

ди. Я вижу большую опасность въ стремленіи образовать умъ и чувство по исключительно религіозному типу, устраняя при томъ тѣ свѣтскіе типы (если можно такъ выразиться за неимѣніемъ другаго лучшаго слова), которые нѣкогда существовали на ряду съ христіанской нравственностію и дополняли ее, многое отъ нея заимствовали, но и многое сообщили ей. Я вижу опасность въ томъ, что эти стремленія могутъ привести и уже приводятъ къ образованію такого типа, который если и способенъ подчиняться тому, что называется высочайшею волею, за то неспособенъ подняться до сознанія высочайшей благости, или до сочувствія къ ней, а это предполагаетъ пониженіе уровня чувства человѣческаго достоинства. Я признаю, что для нравственнаго возрожденія человѣчества необходимо, чтобы на ряду съ христіанской нравственностью существовали бы и другія нравственныя системы, которыя имѣли бы своимъ источникомъ, не исключительно только одну христіанскую доктрину, ибо при несовершенномъ состояніи человѣческаго ума интересы самой истины требуютъ существованія различныхъ мнѣній. Знаніе тѣхъ нравственныхъ истинъ, которыхъ нѣтъ въ христіанствѣ, нисколько не предполагаетъ отрицанія тѣхъ истинъ, которыя въ немъ заключаются, а если это и бываетъ, то это есть не болѣе какъ

предразсудокъ, или заблужденіе, и во всякомъ случаѣ есть зло, но зло такого рода, что мы не можемъ надѣяться быть отъ него когда либо совершенно обезпеченными и потому должны смотрѣть на него какъ на цѣну, которою покупаемъ неоцѣнимое благо. Надо желать, чтобы исключительное притязаніе одной части истины быть цѣлою истиной встрѣчало противъ себя протестъ, и если при этомъ протестующіе въ свою очередь впадаютъ въ односторонность и предъявляютъ притязаніе поставить свою часть истины на мѣсто цѣлой истины, то, конечно, это заслуживаетъ сожалѣнія, конечно должно также вызвать противъ себя протестъ, но во всякомъ случаѣ должно быть терпимо. Если христіане хотятъ научить невѣрующихъ быть справедливыми къ христіанству, то должны быть сами справедливы къ невѣрующимъ. Истина нисколько отъ этого не выиграетъ, если мы будемъ закрывать себѣ глаза предъ тѣмъ фактомъ, который извѣстенъ всѣмъ, кто сколько нибудь знакомъ съ исторіей литературы, что большая часть самыхъ высокихъ, самыхъ чистыхъ нравственныхъ ученій сплошь и рядомъ была дѣломъ такихъ людей, которые не знали, что такое христіанская вѣра, или даже считались ея противниками.

Я вовсе не думаю утверждать, чтобы самая неограниченная свобода выражать всевозможныя мнѣнія положила конецъ религіозному или философскому сектаторству. Всегда найдутся люди узкаго ума, которые, усвоивъ себѣ ту или другую часть истины, будутъ утверждать, что это вся истина, будутъ не только навязывать ее другимъ, но и дѣйствовать, какъ будто бы въ мірѣ кромѣ нея и нѣтъ никакой другой истины, нѣтъ ничего, чтобы могло даже хотя ограничивать или измѣнять ее. Я не отрицаю, что общая всѣмъ мнѣніямъ наклонность къ сектаторству не излечивается свободою преній, а напротивъ даже возрастаетъ вслѣдствіе этой свободы, раздражается ею. Вообще когда людямъ представляется истина, которой они до той поры не знали, хотя и должны были бы знать, то они обыкновенно возстаютъ противъ нея тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ, что она обыкновеннно предъявляется имъ тѣми, на кого они смотрятъ, какъ на своихъ оппонентовъ. Но столкновеніе между собой различныхъ мнѣній производитъ благодѣтельное дѣйствіе не на страстныхъ сектантовъ, а на умы безпристрастные и склонные къ самообладанію. Зло, котораго слѣдуетъ страшиться, заключается не въ ожесточенной борьбѣ между частями истины, а въ

томъ, чтобы какая нибудь часть истины не была уничтожена. Когда люди вынуждены выслушивать обѣ стороны, то есть надежда, что они познаютъ истину; но когда они слышатъ только одну сторону, тогда заблужденія укореняются, превращаясь въ предразсудки, тогда сама истина утрачиваетъ всѣ свойства истины и вслѣдствіе преувеличенія становится ложью. Способность обсуждать обѣ стороны предмета, когда слышатъ только защитниковъ одной стороны,— такая способность встрѣчается едва ли не рѣже, чѣмъ какой либо другой умственный аттрибутъ, и поэтому, гдѣ не могутъ высказываться всѣ стороны, тамъ совершенно безнадежно, чтобы могла быть познана истина, и на оборотъ: тѣмъ надежнѣе достиженіе истины, когда каждая ея сторона, каждое мнѣніе, заключающее въ себѣ ту или другую ея часть, находитъ себѣ защитниковъ, и притомъ такихъ, которые умѣютъ возбудить къ себѣ вниманіе людей.

И такъ мы представили четыре различныя одно отъ другого основанія, по которымъ признаемъ, что для умственнаго благосостоянія людей (отъ котораго находится въ полной зависимости и все матеріальное благосостояніе) необходима свобода мнѣній и свобода выражать мнѣнія. Повторимъ вкратцѣ эти основанія:

1. Мнѣніе, которое заставляютъ молчать, можетъ быть истина. Отрицать возможность этого, значитъ признавать себя непогрѣшимымъ.

2. Хотя мнѣніе, лишенное возможности высказываться, и есть заблужденіе, но оно можетъ заключать въ себѣ часть истины, какъ это по большей части и бываетъ, — и такъ какъ общепринятое или господствующее мнѣніе рѣдко или почти никогда не заключаетъ въ себѣ всей истины, то только при столкновеніи между собою различныхъ мнѣній остальная непризнанная часть истины и можетъ достигнуть признанія.

3. Если даже общепринятое мнѣніе не только истинно, а заключаетъ въ себѣ всю истину, но если при этомъ оно не дозволяетъ себя оспаривать и на самомъ дѣлѣ не подвергается серьезному, искреннему оспариванію, то оно въ сознаніи или чувствѣ большей части людей утрачиваетъ свою раціональность и превращается въ предразсудокъ.

4. Мало этого: дѣлая себя недоступной критикѣ, доктрина подвергаетъ себя опасности утратить самый свой смыслъ, ослабить свое вліяніе на характеръ и поступки людей, и даже совершенно лишиться этого вліянія,—догма превращается въ пустую, совершенно безплодную формальность, которая только занимаетъ мѣсто безъ всякой пользы и препятствуетъ зарожденію дѣйствительныхъ, искреннихъ убѣжденій, исходящихъ отъ разума или изъ личнаго опыта.

Прежде чѣмъ перейдти къ другому вопрос у. считаю нелишнимъ въ заключеніе этого разсужде-

нія остановиться немного на томъ мнѣніи, которое признаетъ, что свободное выраженіе всѣхъ мнѣній должно быть дозволено, но не иначе, какъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы выраженіе ихъ было умѣренно и не переходило границъ честнаго спора. Многое есть что сказать касательно невозможности опредѣлить эти границы. Если подъ ними разумѣть требованіе, чтобы не дѣлалось оскорбленій тѣмъ, на чьи мнѣнія нападаютъ, то опытъ достаточно, я полагаю, свидѣтельствуетъ, что та сторона, на которую нападаютъ, всегда считаетъ себя обиженной, когда нападеніе ведется сильно, и всякій разъ, когда диспутантъ сильно напираетъ на противника и дѣлаетъ для него затруднительнымъ возраженіе, то противникъ находитъ, что его оппонентъ выражается неумѣренно и переходитъ должныя границы. Это замѣчаніе имѣетъ, конечно, важное значеніе съ практической точки зрѣнія; но, кромѣ этого практическаго неудобства, противъ разбираемаго нами мнѣнія есть еще другое болѣе фундаментальное возраженіе. Безъ сомнѣнія, способъ доказывать мнѣніе, хотя бы оно и было истинное, можетъ быть предосудителенъ и можетъ быть справедливо подвергнутъ строгому осужденію; но обнаружить виновность въ этомъ случаѣ по большей части совершенно невозможно, если только самъ виновный не сознается въ своей винѣ. Софистически аргументировать, опускать факты или аргументы,

неправильно установлять самые элементы спора, или искажать противное мнѣніе — вотъ самый предосудительный образъ дѣйствія въ полемикѣ; но все это весьма часто, и даже въ самыхъ большихъ размѣрахъ, совершается съ полной добросовѣстностію и при томъ такими людьми, которые не считаются и во многихъ отношеніяхъ не заслуживаютъ, чтобы ихъ считали невѣждами или некомпетентными по обсуждаемому вопросу. Вслѣдствіе этого рѣдко бываетъ возможно съ полнымъ убѣжденіемъ сказать, что дѣйствительно въ данномъ случаѣ диспутантъ нравственно виновенъ, а тѣмъ болѣе трудно въ этомъ случаѣ обнаружить виновность, и поэтому всякое вмѣшательство закона въ эти полемическіе пороки совершенно неумѣстно. Что же касается до такъ называемой неумѣренности выраженій, какъ напр. брань, сарказмъ, личности, и т. п., то стремленіе прекратить употребленіе подобныхъ полемическихъ пріемовъ заслуживало бы конечно болѣе сочувствія, если бы относилось одинаково къ обѣимъ сторонамъ; на самомъ же дѣлѣ имѣется обыкновенно въ виду оградить отъ нихъ только господствующее мнѣніе, и употребленіе такихъ пріемовъ противъ другихъ мнѣній, негосподствующихъ, не только не осуждается, а напротивъ восхваляется, какъ усердіе къ истинѣ, какъ совершенно справедливое негодованіе. А между тѣмъ весь вредъ, какой только можетъ истекать изъ употребленія

этихъ полемическихъ пріемовъ, имѣетъ мѣсто главнымъ образомъ тогда, когда эти пріемы употребляются противъ мнѣній, сравнительно говоря, беззащитныхъ, и наоборотъ: вся та неблаговидная польза, какую можно извлечь, прибѣгая къ такимъ пріемамъ для защиты своего мнѣнія, составляетъ почти исключительное достояніе господствующаго мнѣнія.

Самая крайняя неумѣренность полемическихъ возраженій есть то, когда диспутантъ обзываетъ своихъ противниковъ людьми злонамѣренными, безнравственными. Такому обозванію подвергаются преимущественно тѣ люди, которые держатся мнѣній непопулярныхъ, такъ какъ они обыкновенно бываютъ малочисленны, невліятельны, и такая къ нимъ несправедливость никого лично не затрогиваетъ, кромѣ ихъ самихъ; тѣ же, которые нападаютъ на господствующее мнѣніе, по самому своему положенію совершенно лишены этого орудія: они не могутъ употребить его, не подвергая себя лично опасности, а если этой опасности и нѣтъ, то употребленіе ими такого орудія не можетъ имѣть никакого другого результата, кромѣ вреда ихъ же собственному дѣлу. Вообще мнѣнія, которыя противорѣчатъ общепринятымъ мнѣніямъ, не иначе могутъ достигнуть того, чтобъ ихъ выслушивали, какъ заботливо стараясь выражаться какъ можно умѣреннѣе и тщательно избѣгая всякаго рода излишнихъ рѣзкостей: малѣй-

шее съ ихъ стороны отступленіе отъ этого дѣлаетъ только вредъ имъ же самимъ; между тѣмъ самая даже крайняя неумѣренность выраженій со стороны господствующаго мнѣнія дѣйствительно отвращаетъ людей отъ признанія противнаго мнѣнія и дѣлаетъ нерѣдко то, что люди даже не хотятъ и выслушивать его противниковъ. Слѣдовательно, въ интересахъ истины и справедливости гораздо было бы полезнѣе ограничивать неумѣренность выраженій со стороны господствующаго мнѣнія, чѣмъ со стороны противныхъ мнѣній; такъ напр. если уже необходимо преслѣдовать, то гораздо было бы полезнѣе преслѣдовать оскорбительныя нападенія на невѣрующихъ, чѣмъ оскорбительныя нападенія на религію. Очевидно, что законъ и установленныя власти не должны вмѣшиваться въ способъ выраженія мнѣній, не должны ограничивать въ этомъ отношеніи ни той, ни другой стороны. Очевидно также, что произнося свое сужденіе о какомъ либо частномъ случаѣ, мы должны каждый разъ руководиться частными обстоятельствами этого случая, должны равно осуждать каждаго, какое бы мнѣніе онъ ни защищалъ, кто дозволяетъ себѣ въ полемикѣ недобросовѣстность, лицемѣріе, нетерпимость, а не ставить это въ вину только тѣмъ, которые защищаютъ мнѣнія, несогласныя съ нашими. Очевидно, что мы должны одинаково воздавать похвалу каждому, какого бы мнѣнія онъ ни былъ, кто

безпристрастно и честно относится къ своимъ противникамъ и ихъ мнѣніямъ, не дозволяя себѣ никакихъ преувеличеній къ ихъ вреду, не утаивая ничего, что можетъ служить къ ихъ пользѣ или предполагается таковымъ. Вотъ въ чемъ состоитъ истинная нравственность публичнаго спора, и хотя она часто нарушается, но мы можемъ по крайней мѣрѣ утѣшать себя тою мыслію, что въ наше время много найдется уже такихъ диспутантовъ, которые въ значительной степени достигаютъ этой нравственности, и еще болѣе такихъ, которые къ ней добросовѣстно стремятся.

ГЛАВА III.

Объ индивидуальности, какъ объ одномъ изъ элементовъ благосостоянія.

Въ предшествующей главѣ мы представили основанія, по которымъ абсолютно необходима для людей полная свобода мнѣній и полная свобода ихъ выраженія, — мы видѣли, къ какимъ пагубнымъ послѣдствіямъ какъ для умственной, а такъ, вслѣдствіе этого, и для нравственной природы человѣка, влечетъ за собой непризнаніе этой свободы или несостоятельность людей добыть себѣ эту свободу вопреки ея непризнанія. Теперь мы разсмотримъ, не требуютъ ли тѣ же самыя основанія, чтобы люди имѣли полную свободу дѣйствовать сообразно своимъ мнѣніямъ, — осуществлять свои мнѣнія въ дѣйствительной жизни, не подвергаясь при этомъ никакому физическому или нравственному стѣсненію отъ своихъ согражданъ, если только дѣйствуютъ на свой собственный

страхъ. Это послѣднее условіе необходимо: никто не станетъ утверждать, чтобы дѣйствія должны были быть также свободны, какъ и мнѣнія, а напротивъ, даже сами мнѣнія утрачиваютъ свою неприкосновенность, если выражаются при такихъ обстоятельствахъ, что выраженіе ихъ становится прямымъ подстрекательствомъ къ какому нибудь вредному дѣйствію. Такъ напр. мнѣніе, что хлѣбные торговцы — виновники голода, который терпятъ бѣдные, или что частная собственность есть воровство, — такое мнѣніе, конечно, должно быть неприкосновенно, пока не выходитъ изъ литературной сферы, но оно можетъ быть справедливо подвергнуто преслѣдованію, если выражается предъ раздраженной толпой, собравшейся передъ домомъ хлѣбнаго торговца, или же распространяется въ этой толпѣ въ формѣ воззванія. Вообще дѣйствія всякаго рода, которыя, безъ достаточнаго къ тому основанія, причиняютъ вредъ кому либо, могутъ, а въ болѣе важныхъ случаяхъ и необходимо должны быть обуздываемы осужденіемъ, а когда нужно, то и дѣятельнымъ вмѣшательствомъ со стороны людей. Индивидуальная свобода должна быть ограничена слѣдующимъ образомъ: индивидуумъ не долженъ быть вреденъ для людей, но если онъ воздерживается отъ всего, что вредно другимъ, и дѣйствуетъ сообразно своимъ наклонностямъ и своимъ мнѣніямъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда его дѣйствія каса-

ются непосредственно только его самого, то при такихъ условіяхъ по тѣмъ же причинамъ, по которымъ абсолютно необходима для людей полная свобода мнѣній, абсолютно необходима для нихъ и полная свобода дѣйствія, т. е. полная свобода осуществлять свои мнѣнія въ дѣйствительной жизни на свой собственный страхъ. Что человѣчество не непогрѣшимо, что его истина есть по большей части только полу-истина, что единство мнѣнія, если только оно не есть результатъ полнаго и свободнаго сравненія между собой противныхъ мнѣній, не желательно, и что различіе въ мнѣніяхъ не есть зло, а добро, пока люди не будутъ болѣе способны, чѣмъ теперь, познавать всѣ стороны истины, — все это имѣетъ такое же значеніе и по отношенію къ дѣйствіямъ людей, какъ и по отношенію къ ихъ мнѣніямъ. Какъ полезно при теперешнемъ несовершенномъ состояніи человѣчества, чтобы существовали различныя мнѣнія, такъ полезно чтобы существовали и различные образы жизни, чтобы предоставленъ былъ полный просторъ всѣмъ разнообразнымъ характерамъ, подъ условіемъ только не вредить другимъ, и чтобы достоинство всѣхъ разнообразныхъ образовъ жизни было испытываемо на практикѣ, когда оказываются люди, желающіе ихъ испытывать. Тамъ, гдѣ люди живутъ и дѣйствуютъ не сообразно съ своими характерами, а сообразно съ преданіями или обычаями, тамъ от-

сутствуетъ одинъ изъ главныхъ ингредіентовъ благосостоянія человѣчества и самый главный ингредіентъ индивидуальнаго и соціальнаго прогресса.

Главное препятствіе къ признанію высказаннаго нами принципа заключается не въ той или другой оцѣнкѣ средствъ, которыми должна быть достигаема его цѣль, т. е. свободное развитіе индивидуальности, а въ индеферентности людей къ самой его цѣли. Если бы люди сознавали, что свободное развитіе индивидуальности есть одно изъ первенствующихъ существенныхъ благъ, что оно есть не только элементъ, сопутствующій тому, что обозначается выраженіями: цивилизація, образованіе, воспитаніе, просвѣщеніе, но и само по себѣ есть необходимая принадлежность и условіе всего этого, тогда не было бы опасности, что индивидуальная свобода не будетъ оцѣнена надлежащимъ образомъ и что проведеніе границъ между этой свободой и общественнымъ контролемъ встрѣтитъ особенно важныя затрудненія. Но, къ несчастію, индивидуальная способность не имѣетъ въ глазахъ людей внутренней цѣны сама по себѣ, — не считается ими даже заслуживающей вниманія ради самой себя. Большинство, довольное существующими порядками (такъ какъ оно само ихъ и создало), не понимаетъ, почему бы эти порядки могли не удовлетворять всѣхъ и каждаго. Мало этого, даже большая часть нравственныхъ и со-

ціальныхъ реформаторовъ не только не даютъ мѣста въ своихъ идеалахъ индивидуальной самобытности, но смотрятъ на нее недовѣрчиво, какъ на помѣху, и даже какъ на препятствіе, которое, можетъ быть, придется имъ преодолѣвать для осуществленія того, что они считаютъ высшимъ благомъ для человѣчества. Мало даже найдется такихъ людей внѣ Германіи, которые понимали бы по крайней мѣрѣ хотя смыслъ той доктрины, объ которой Вильгельмъ Гумбольдтъ, человѣкъ столь замѣчательный и какъ ученый, и какъ политикъ, написалъ особое сочиненіе, — а именно той доктрины, что „конечная цѣль человѣка, т. е. „та цѣль, которая ему предписывается вѣчными, „неизмѣнными велѣніями разума, а не есть только порожденіе смутныхъ и преходящихъ жела„ній, эта цѣль состоитъ въ наивозможно гармо„ническомъ развитіи всѣхъ его способностей въ „одно полное и состоятельное цѣлое,“ — что, слѣдовательно, предметъ, „къ которому каждый че„ловѣкъ долженъ непрерывно направлять всѣ свои „усилія, и который особенно должны постоянно „имѣть въ виду люди, желающіе вліять на сво„ихъ согражданъ, есть могущество и развитіе ин„дивидуальности,“ — что для этого два необходимыя условія, „свобода и разнообразіе личныхъ „положеній“ — и что только при совмѣстномъ существованіи этихъ условій можетъ развиться „индивидуальная сила и многостороннее разнообра-

„зіе," которыя, комбинируясь вмѣстѣ, и образуютъ „оригинальность" *).

Впрочемъ, какъ бы людямъ не казалась нова и поразительна эта доктрина, высказанная Гумбольдтомъ, которая признаетъ за индивидуальностію такую высокую цѣну, во всякомъ случаѣ вопросъ, возбуждаемый этою доктриною, не болѣе какъ вопросъ о стеепени, о большей или меньшей цѣнности, какую имѣетъ индивидуальность. Никто не станетъ утверждать, чтобы самый совершенный образъ дѣйствія людей состоялъ въ точномъ копированіи ими другъ друга. Никто также не станетъ утверждать, чтобы личныя сужденія человѣка, или его личный характеръ не должны были имѣть никакого вліянія на его образъ жизни и на веденіе имъ своихъ дѣлъ. Съ другой стороны нелѣпо было бы предъявлять требованіе, чтобы люди жили такъ, какъ будто бы жившій до нихъ міръ ничего не узналъ, какъ будто бы опытъ всего прошедшаго не далъ никакихъ указаній, какой образъ жизни или какой образъ дѣйствія заслуживаетъ предпочтенія предъ другими. Никто не станетъ отрицать, что люди должны быть обучаемы и воспитываемы въ ихъ молодости такъ, чтобы знали и могли воспользоваться всѣми результатами человѣческаго опыта. Но такова привиллегія человѣка и свойство его

*) The Sphere and Duties of Government, соч. барона Вильгельма фонъ Гумбольдта, пер. съ нѣмецкаго, стр. 11—13.

человѣчности, что съ достиженіемъ зрѣлости своихъ способностей онъ понимаетъ и употребляетъ по своему то, что ему сообщаетъ опытъ другихъ людей. Онъ самъ опредѣляетъ образъ и степень примѣненія результатовъ этого опыта къ своему характеру. Преданія и обычаи, соблюдаемые людьми, суть до нѣкоторой степени несомнѣнныя выраженія опыта и, конечно, должны быть принимаемы во вниманіе каждымъ индивидуумомъ; но, во первыхъ, этотъ опытъ могъ быть узокъ, односторонень, или указанія этого опыта могли быть неправильно поняты,—во вторыхъ, если даже эти указанія и были поняты правильно, но они могутъ просто не годиться для того или другого индивидуума. Обычаи установляются для обычныхъ обстоятельствъ и для обычныхъ людей, а обстоятельства или характеръ индивидуума могутъ быть необычные. Въ третьихъ, хотя бы обычаи и были хороши, какъ обычаи, и были бы пригодны для индивидуума, но сообразоваться съ обычаемъ единственно потому только, что это — обычай, значитъ отказаться отъ воспитанія въ себѣ или отъ развитія нѣкоторыхъ изъ тѣхъ качествъ, которыя составляютъ отличительный аттрибутъ человѣка. Способность человѣка понимать, судить, различать, что хорошо и что дурно, умственная дѣятельность и даже нравственная оцѣнка предметовъ,—всѣ эти способности упражняются только тогда, когда человѣкъ дѣлаетъ выборъ. Но

тотъ, кто поступаетъ извѣстнымъ образомъ потому только, что таковъ обычай, тотъ не дѣлаетъ выбора, не упражняетъ практически своей способности различать, что хорошо и что дурно, не питаетъ въ себѣ стремленій къ лучшему. Умственная и нравственная сила, также какъ и мускульная, развивается не иначе, какъ чрезъ упражненіе. Кто поступаетъ извѣстнымъ образомъ единственно потому, что такъ поступаютъ другіе, тотъ также мало упражняетъ свои способности, какъ если бы онъ вѣрилъ во что нибудь единственно потому, что другіе въ это вѣрятъ. Усвоивать себѣ такія мнѣнія, которыхъ основанія не имѣютъ полной убѣдительности для нашего ума, это ведетъ не къ усиленію нашей умственной способности, а напротивъ, къ ослабленію ея; руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ такими соображеніями, которыя не согласны съ нашими чувствами и нашимъ характеромъ (и притомъ не изъ привязанности къ кому либо, или не изъ уваженія къ правамъ другаго), значитъ подрывать силу и энергію своихъ чувствъ и своего характера, а не усиливать ихъ дѣятельность и энергію.

Тотъ индивидуумъ, который предоставляетъ обществу или близкой къ нему части общества избирать для себя тотъ или другой образъ жизни,—тотъ индивидуумъ не имѣетъ надобности ни въ какихъ другихъ способностяхъ, кромѣ той способности передразниванья, какую имѣетъ обезьяна.

Только тотъ человѣкъ имѣетъ надобность во всѣхъ своихъ способностяхъ и дѣйствительно пользуется ими, который самъ по своему пониманію устраиваетъ свою жизнь. Ему нужна способность наблюдать для того, чтобы видѣть, — способность размышлять и судить для того, чтобъ предусматривать,—способность къ дѣятельности для того, чтобы собирать матеріялы для сужденія,—способность различать, что хорошо и что дурно, для того, чтобы произнесть сужденіе, и когда онъ произнесетъ свое сужденіе, когда рѣшитъ, что ему дѣлать, ему нужна твердость характера и способность къ наблюденію за самимъ собою для того, чтобы выполнить принятое имъ рѣшеніе. Всѣ эти способности нужны человѣку и упражняются имъ въ большей или меньшей степени, смотря потому, какъ велика та часть его поступковъ, въ которыхъ онъ руководится своими собственными чувствами. Возможно, что человѣкъ можетъ попасть на хорошую дорогу и избѣжать всякого рода бѣдствій, и не употребляя въ дѣло всѣхъ этихъ способностей; но въ чемъ же тогда будетъ состоять его отличіе, какъ человѣка? На самомъ дѣлѣ не въ томъ только важность, что дѣлаютъ люди, но и въ томъ, каковы тѣ люди, которые это дѣлаютъ. Между тѣми предметами, которые человѣкъ долженъ стремиться улучшить и усовершенствовать, первое мѣсто по своей важности, безъ сомнѣнія, занимаетъ самъ человѣкъ.

Предположимъ, что можно строить дома, ростить хлѣбъ, сражаться, рѣшать тяжбы, и даже строить церкви и произносить молитвы,—что все это можетъ дѣлаться машинально автоматами въ человѣческомъ образѣ, но и въ такомъ случаѣ развѣ это не было бы большою потерей промѣнять на этихъ автоматовъ хотя бы даже тѣхъ мужчинъ и женщинъ, которые въ настоящее время населяютъ наиболѣе цивилизованную часть міра, хотя они, безъ сомнѣнія, не болѣе какъ весьма слабые образчики того, чѣмъ могутъ быть. Человѣческая природа не есть машина, устроенная по извѣстному образцу и назначенная исполнять извѣстное дѣло,—она есть дерево, которое по самой природѣ своей необходимо должно рости и развиваться во всѣ стороны, сообразно стремленію внутреннихъ силъ, которыя и составляютъ его жизнь.

Не станутъ, конечно, спорить, что желательно, чтобы люди упражняли свою способность пониманія, и что разумное слѣдованіе обычаю, или даже иногда и разумное отступленіе отъ обычая,—лучше, чѣмъ слѣпое, чисто механическое его исполненіе. До нѣкоторой степени это общепризнано, что наше пониманіе должно быть наше собственное пониманіе; но мы не встрѣчаемъ такой же охотности признать, что наши желанія и наши побужденія должны быть также наши собственныя желанія и наши собственныя побужденія, или что имѣніе своихъ собственныхъ побужденій, и при-

томъ побужденій сильныхъ, не есть опасность и не есть зло. Желанія и побужденія суть въ такой же степени принадлежность совершеннаго человѣческаго существа, какъ и вѣрованіе и воздержаніе, — сильныя побужденія только тогда опасны, когда онѣ не уровновѣшены въ человѣкѣ надлежащимъ образомъ, когда нѣкоторыя стремленія или наклонности получили сильное развитіе, между тѣмъ какъ другія, которыя должны существовать на ряду съ ними, остались слабы и неразвиты. Если люди поступаютъ дурно, то это не потому, что у нихъ сильны желанія, а потому, что у нихъ слаба совѣсть. Нѣтъ никакой естественной связи между сильнымъ побужденіемъ и слабою совѣстію; напротивъ, сильное побужденіе имѣетъ естественную связь съ сильной совѣстію. Сказать, что чувства и желанія такого-то человѣка сильнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ чувства и желанія другаго, это значитъ ни болѣе, ни менѣе, какъ сказать, что такой-то человѣкъ имѣетъ въ себѣ болѣе сырого матеріала человѣческой природы и поэтому способенъ, можетъ быть, къ большему злу, но уже несомнѣнно и къ большему добру. Сильныя побужденія суть то же самое, что энергія, тутъ разница только въ словѣ. Энергія можетъ быть обращена и на дурное; но, конечно, энергическій человѣкъ всегда можетъ болѣе сдѣлать добра, чѣмъ человѣкъ лѣнивый и безстрастный. Чѣмъ сильнѣе въ человѣкѣ естественныя чувства, тѣмъ

болѣе сильнаго развитія могутъ достигнуть въ немъ тѣ чувства, которыя пріобрѣтаются жизнію. Та самая чувствительность, которая дѣлаетъ сильными и энергичными наши личныя побужденія, есть также и источникъ, изъ котораго рождается самая страстная любовь къ добродѣтели и самое строгое наблюденіе надъ самимъ собою. Это не только долгъ общества, но и прямой его интересъ — содѣйствовать образованію сильной чувствительности въ индивидуумахъ, а не отбрасывать этотъ матеріалъ, изъ котораго выходятъ герои, на томъ основаніи, что не знаетъ, какъ дѣлать изъ него героевъ. Про того человѣка, у котораго желанія и побужденія суть его собственныя, суть выраженіе его собственной природы, какъ она развилась и модифировалась подъ вліяніемъ его собственнаго развитія, — про такого человѣка говорятъ, что онъ имѣетъ характеръ. Но тотъ человѣкъ, у котораго желанія и побужденія не суть его собственныя, не имѣетъ характера, у него не болѣе характера, чѣмъ сколько и у паровой машины. Если же побужденія у человѣка не только суть его собственныя, но и весьма сильны и управляются сильною волей, то такой человѣкъ имѣетъ характеръ энергическій. Кто находитъ, что не слѣдуетъ поощрять развитіе индивидуальныхъ желаній и побужденій, тотъ долженъ признать, что общество не нуждается въ сильныхъ натурахъ,— что оно не будетъ отъ того лучше, если въ немъ

будетъ много людей съ сильнымъ характеромъ, и что не желательно, чтобы общій уровень энергіи поднимался выше.

Въ первобытныхъ обществахъ могло быть, и дѣйствительно такъ было, что индивидуальность была несоразмѣрно могущественна по сравненію съ тѣми средствами, какія тогда общество имѣло, чтобы ее дисциплинировать и контролировать. Въ жизни общества дѣйствительно было такое время, когда элементъ самобытности и индивидуальности былъ чрезмѣрно силенъ, и соціальный принципъ долженъ былъ выдерживать съ нимъ трудную борьбу. Тогда затрудненіе состояло въ томъ, чтобъ людей, сильныхъ физически или умственно, привести къ подчиненію себя такимъ правиламъ, которыя стремились контролировать ихъ побужденія. Для того, чтобы преодолѣть это затрудненіе, законъ и дисциплина, подобно папамъ въ ихъ борьбѣ противъ императоровъ, провозгласили себя имѣющими власть надъ всѣмъ человѣкомъ, стремились подчинить своему контролю всю жизнь человѣка, для того чтобы имѣть возможность контролировать его характеръ, такъ какъ общество не находило въ то время другаго достаточнаго средства для обузданія характеровъ. Но теперь обществу не угрожаетъ уже никакой опасности отъ индивидуальности, а напротивъ, дѣйствительная опасность, угрожающая теперь человѣчеству, состоитъ не въ чрезмѣрности, а въ недостаткѣ личныхъ побужде-

ній и желаній. Теперь уже совсѣмъ не то, что было въ тѣ времена, когда страсти людей, сильныхъ по своему положенію или по своимъ личнымъ качествамъ, были въ постоянной войнѣ съ законами и правилами и должны были быть обуздываемы энергическими мѣрами, для того чтобъ тѣмъ людямъ, которыхъ онѣ могли достигать, доставить хоть малѣйшую долю безопасности. Въ наше время, начиная отъ самыхъ высшихъ классовъ и до самыхъ низшихъ, каждый индивидуумъ живетъ такъ, какъ будто надъ нимъ неусыпно блюдетъ око враждебной къ нему и грозной силы. Не только въ томъ, что касается другихъ людей, но и въ томъ, что касается только ихъ самихъ, какъ индивидуумъ, такъ и семейство, не спрашиваютъ себя — чему долженъ я отдать предпочтеніе? или, что болѣе соотвѣтствуетъ моему характеру или моимъ наклонностямъ? — или, что можетъ болѣе способствовать свободному проявленію, или росту и преуспѣянію того, что во мнѣ есть лучшаго и наибольше высокаго? Они ставятъ себѣ вопросы совершенно другаго рода, — они спрашиваютъ себя: что соотвѣтствуетъ моему положенію въ обществѣ? что въ этомъ случаѣ обыкновенно дѣлаютъ люди, принадлежащіе къ одному со мной классу общества и съ такими же, какъ я, денежными средствами? или (что еще хуже), что дѣлаютъ въ данномъ случаѣ люди, принадлежащіе къ высшему, чѣмъ я, классу общества, и

съ большими, чѣмъ я, денежными средствами? Я вовсе не думаю утверждать, чтобы люди нашего времени оказывали предпочтеніе требованіямъ обычая передъ требованіями своихъ собственныхъ наклонностей. Дѣло въ томъ, что въ наше время люди не имѣютъ никакихъ другихъ наклонностей, кромѣ тѣхъ, которыя сообразны съ требованіями обычая. Такимъ образомъ у этихъ людей самый умъ подавленъ. Они даже и веселиться иначе не могутъ, какъ соображаясь съ обычаемъ, и не находятъ удовольствія ни въ чемъ, что съ нимъ не согласно. Они любятъ массой. Ихъ выборъ ограничивается тѣмъ, что освящено обычаемъ: всякой оригинальности во вкусѣ, всякой эксцентричности въ поступкахъ они избѣгаютъ, какъ преступленія. Отказываясь слѣдовать указаніямъ своей собственной природы, они довели себя до того, что утратили въ себѣ всякую природу: ихъ человѣческія способности зачахли и заморены: они неспособны ни къ какому естественному удовольствію: они не имѣютъ ни одного мнѣнія, ни одного чувства, которое было бы ихъ собственное, родилось бы въ нихъ самихъ. Спрашивается: желательно ли для человѣка такое состояніе?

Желательно — говоритъ кальвинистская теорія. По этой теоріи, имѣть свою волю есть величайшее преступленіе. Все добро, къ какому только способно человѣчество, заключается въ повиновеніи. Вамъ не оставляется никакого выбора,—всѣ

должны поступать именно такъ, а не иначе, — „все, что не есть обязанность, есть грѣхъ.“ Человѣческая природа радикально грѣховна, и человѣку нѣтъ другаго средства спастись, какъ совершенно убить въ себѣ человѣческую природу. Кто признаетъ эту теорію, для того не есть зло — утратить какую либо человѣческую способность, качество или свойство: ему не надо никакихъ способностей, кромѣ одной — исполнять волю Божію, и если онъ какую либо изъ своихъ способностей употребляетъ и для другихъ цѣлей, а не только для того, чтобъ достигать лучшаго исполненія воли Божіей, то для него было бы лучше, когда бы онъ вовсе не имѣлъ этой способности. Такова теорія кальвинизма. Этой теоріи, только нѣсколько смягчая ее, держатся весьма многіе, которые, однако, вовсе не признаютъ себя кальвинистами. Смягченіе состоитъ въ томъ, что предполагаемой воли Божіей дается толкованіе менѣе аскетическое, — признается не противнымъ воли Божіей, чтобы человѣчество удовлетворяло нѣкоторымъ требованіямъ своей природы, но не иначе какъ путемъ повиновенія, т. е. извѣстнымъ образомъ, который предписанъ властію и слѣдовательно необходимо долженъ быть одинаковъ для всѣхъ. Подъ этою-то коварной формой укрывается сильная наклонность нашего времени къ узкой теоріи кальвинизма, къ ея жалкому, общипанному типу человѣческаго характера. Безъ сомнѣнія, много

такихъ людей, которые совершенно искренно думаютъ, что человѣкъ, такимъ образомъ умаленный и изуродованный, и есть именно то, чѣмъ ему назначено быть отъ его Творца, — точно также какъ много есть людей, которые находятъ, что деревья, выстриженныя разными фигурами, лучше, чѣмъ деревья въ ихъ естественномъ состояніи. Но если религія признаетъ, что человѣкъ созданъ существомъ добрымъ, то не соотвѣтственнѣе ли этому было бы повѣрить, что это доброе существо дало человѣку всѣ его способности для того, чтобы онъ пользовался ими, развивалъ ихъ, а не для того, чтобы онъ ихъ замаривалъ и искоренялъ,— что оно исполняется радостію всякій разъ, когда видитъ, что его созданія увеличиваютъ свои способности къ пониманію, къ дѣйствію, къ наслажденію, что они дѣлаютъ шагъ къ достиженію того идеала, который для нихъ начертанъ въ ихъ природѣ. Человѣческая природа дана человѣку для другихъ цѣлей, а не для того только, чтобы онъ отъ нея отрекался: вотъ основаніе, изъ котораго раждается типъ человѣческаго совершенства, совершенно различный отъ типа кальвинистской теоріи. „Древнее поклоненіе человѣческой природѣ „есть также одинъ изъ элементовъ человѣческаго „достоинства, какъ и христіанское самоотверженіе *).“ Есть еще греческій идеалъ саморазвитія, съ которымъ сливается, но котораго не замѣ-

*) Essays Стирлинга.

няетъ платоническій и христіанскій идеалъ господства надъ самимъ собою. Можетъ быть Джонъ Ноксъ и лучше, чѣмъ Алкивіадъ, но во всякомъ случаѣ Периклъ лучше, чѣмъ они оба, и если бы Периклъ существовалъ въ наше время, то не былъ бы лишенъ тѣхъ хорошихъ качествъ, какія имѣлъ Джонъ Ноксъ.

Люди достигаютъ высокаго достоинства и превосходства не чрезъ выкраиваніе себя по извѣстной мѣркѣ, а чрезъ развитіе своей индивидуальности, вызывая ее къ жизни въ тѣхъ предѣлахъ, которые условливаются правами и интересами другихъ людей. Какъ всякое произведеніе носитъ на себѣ отпечатокъ характера того, кто его произвелъ, такъ и жизнь человѣческая съ развитіемъ индивидуальности становится полнѣе, богаче, разнообразнѣе, даетъ болѣе обильный матеріалъ для высокихъ мыслей и возвышенныхъ чувствъ, укрѣпляетъ связь между индивидуумомъ и его расой, возвышая достоинство самой расы. Соотвѣтственно развитію своей индивидуальности, человѣкъ получаетъ большую цѣну самъ для себя и вслѣдствіе этого дѣлается способенъ имѣть большую цѣну для другихъ,—самая жизнь его становится полнѣе, а чѣмъ болѣе жизни въ единицахъ, тѣмъ болѣе жизни и въ массѣ, которая составляется изъ этихъ единицъ. Нельзя избѣжать стѣсненія индивидуальной свободы, на сколько это необходимо для того, чтобы предупредить со стороны болѣе энергическихъ натуръ нарушеніе правъ

другихъ людей. Но это стѣсненіе вполнѣ вознаграждается даже и съ точки зрѣнія человѣческаго развитія: тѣ средства къ развитію, которыя утрачиваются индивидуумомъ вслѣдствіе неудовлетворенія своихъ стремленій, нарушающихъ права другихъ, — эти средства къ развитію могли бы быть употреблены въ дѣло не иначе, какъ въ ущербъ развитія другихъ индивидуумовъ; кромѣ того, и самъ индивидуумъ, подвергающійся этой утратѣ, вполнѣ вознаграждается за нее высшимъ развитіемъ соціальной стороны своей природы, каковое развитіе и возможно только при ограниченіи эгоистическихъ стремленій. Подчиненіе себя строгимъ правиламъ справедливости ради пользы другихъ развиваетъ въ человѣкѣ такія чувства и способности, которыя имѣютъ своимъ предметомъ благо другихъ людей. Но такое ограниченіе индивидуальной свободы, которое дѣлается не ради блага другихъ людей, а потому только что такъ другимъ людямъ нравится,—такое ограниченіе не развиваетъ въ человѣкѣ ничего хорошаго, исключая развѣ того только, что сопротивленіе такому ограниченію можетъ развить силу характера. Когда же человѣкъ покорно подчиняется этому ограниченію, то это отупляетъ и ослабляетъ всю его природу. Индивидуальное развитіе только тогда возможно, когда индивидуумъ имѣетъ свободу вести такой образъ жизни, какой признаетъ для себя лучшимъ, — и чѣмъ большую степень

этой свободы предоставлялъ индивидууму тотъ или другой вѣкъ, тѣмъ болѣе этотъ вѣкъ имѣлъ цѣны въ глазахъ потомства. Даже самъ деспотизмъ не производитъ обыкновенныхъ своихъ самыхъ вредныхъ послѣдствій, если только допускаетъ существованіе индивидуальности. Все, что уничтожаетъ индивидуальность, есть деспотизмъ, какое бы имя оно ни носило, во имя чего бы оно ни дѣйствовало, все равно, во имя ли воли Божіей, или во имя воли человѣческой.

Сказавъ, что безъ индивидуальности не мыслимо никакое развитіе, что только при существованіи индивидуальной свободы люди могутъ совершенствоваться и достигать наивозможно полнаго развитія, я могъ бы на этомъ и покончить свою аргументацію въ пользу индивидуальной свободы. И въ самомъ дѣлѣ, какой другой аргументъ болѣе убѣдительный, болѣе сильный, можемъ мы представить въ пользу того или другаго условія человѣческой жизни, какъ не тотъ, что выполненіе этого условія приближаетъ человѣка къ тому болѣе совершенному состоянію, какое для него возможно? и на оборотъ, какое болѣе сильное возраженіе можетъ быть представлено противъ того или другаго условія жизни, какъ не то, что это условіе препятствуетъ совершенствованію человѣка? Однако эти соображенія окажутся, безъ сомнѣнія, недостаточными для убѣжденія тѣхъ, которыхъ убѣдить для насъ всего

нужнѣе, и потому намъ необходимо привести для подкрѣпленія нашего аргумента еще соображенія другаго рода. Мы покажемъ, что существованіе развитыхъ индивидуумовъ полезно для неразвитыхъ, — что нежелающіе индивидуальной свободы, или нежелающіе сами ею пользоваться, будутъ вознаграждены, если не будутъ стѣснять свободы другихъ.

Прежде всего я укажу на то, что люди, не пользующіеся индивидуальной свободой, всегда могутъ кое-чему научиться отъ тѣхъ, которые ею пользуются. Никто не станетъ отрицать, что оригинальность весьма драгоцѣнна для людей, — что всегда есть надобность не только въ такихъ людяхъ, которые бы открывали новыя истины и разскрывали заблужденія, ошибочно принятыя за истину, но и въ такихъ, которыя бы своимъ опытомъ открывали лучшіе пріемы для той или другой практической дѣятельности, служили бы примѣромъ болѣе лучшаго образа жизни, болѣе совершеннаго вкуса и вообще болѣе совершеннаго веденія человѣческихъ дѣлъ. Этого никто не можетъ отрицать, если только не признаетъ, что міръ достигъ уже во всѣхъ отношеніяхъ самаго высшаго совершенства, какого только можетъ достигнуть. Совершенно справедливо, что не всякій равно способенъ оказать такую услугу,—что, говоря сравнительно, весьма немного такихъ людей, которыхъ опытъ имѣлъ бы такое достоинство, что

его принятіе было бы прогрессомъ. Но эти немногіе и суть соль земли; безъ нихъ жизнь человѣческая обратилась бы въ стоячую лужу. Эти немногіе не только открываютъ намъ новыя блага, до тѣхъ поръ для насъ не существовавшія, но и даютъ жизнь тѣмъ благамъ, которыя уже существовали. Если бы даже намъ и не предстояло болѣе узпавать ничего новаго, то и въ такомъ случаѣ развѣ умъ человѣческій былъ бы не менѣе необходимъ? Дѣлая то, что уже давно дѣлается, развѣ люди не должны знать, почему они это дѣлаютъ именно такъ, а не иначе, и развѣ это все равно, будутъ ли они это дѣлать какъ коты, не понимая, или же какъ разумныя существа, съ полнымъ пониманіемъ? Даже самыя лучшія вѣрованія и самыя лучшія дѣйствія людей имѣютъ большую наклонность превращаться въ простой механизмъ, и еслибы не существовали постоянно такіе люди, которые своею самобытностію поддерживаютъ жизнь въ этихъ вѣрованіяхъ и дѣйствіяхъ, препятствуютъ ихъ основаніямъ превратиться въ преданіе,—еслибы не существовали такіе люди, то самыя лучшія даже вѣрованія и дѣйствія сдѣлались бы мертвыми, не въ состояніи были бы устоять противъ малѣйшаго напора чего нибудь дѣйствительно живаго, — тогда не было бы никакого основанія полагать, почему бы и цивилизація не могла умереть также, какъ умерла византійская имперія. Правда,

геніальные люди всегда были и по всей вѣроятности всегда будутъ въ малочисленномъ меньшинствѣ; но чтобъ имѣть ихъ хотя въ этомъ меньшинствѣ, необходимо сохранять ту почву, которая ихъ раститъ. Геніи могутъ свободно дышать только въ атмосферѣ свободы. Геніальные люди, ex vi termini, болѣе индивидуальны, чѣмъ другіе, и слѣдовательно менѣе способны, чѣмъ другіе, прилаживать себя къ тѣмъ немногочисленнымъ образцамъ, которыми общество снабжаетъ своихъ членовъ, освобождая ихъ такимъ образомъ отъ заботы образовывать свой собственный характеръ. Если геніальный человѣкъ уступитъ требованіямъ общества, приладитъ себя къ его образцу и, такимъ образомъ, оставитъ втунѣ всю ту часть своего существа, которая не можетъ развиться при этихъ условіяхъ, то общество не много выиграетъ отъ его генія. Когда же геній обнаруживаетъ сильный характеръ и разрываетъ налагаемыя на него цѣпи, то общество, не успѣвъ подвесть его подъ общій уровень, обыкновенно указываетъ на него, какъ на „дикаго“, какъ на „чудака“, какъ на примѣръ, который долженъ служить предостереженіемъ для другихъ,—оно въ такихъ случаяхъ обыкновенно дѣйствуетъ подобно тому, какъ если бы кто сталъ роптать на Ніагару, зачѣмъ она не течетъ также свободно промежъ своихъ береговъ, какъ каналы Голландіи.

Я потому такъ долго останавливаюсь на зна-

ченіи геніальныхъ людей и на необходимости давать полный просторъ ихъ мысли и ихъ дѣйствіямъ, что въ дѣйствительной жизни почти всѣ люди относятся къ этому совершенно индефферентно, хотя въ теоріи и не станетъ никто этого оспоривать. Вообще люди смотрятъ на геній, какъ на нѣчто весьма хорошее, когда онъ дѣлаетъ человѣка способнымъ написать вдохновенную поэму или превосходную картину. Но геній въ истинномъ смыслѣ этого слова, т. е. въ смыслѣ оригинальности мысли и дѣйствія, возбуждаетъ въ людяхъ чувство совершенно инаго рода: никто, конечно, не скажетъ, чтобы такой геній не заслуживалъ удивленія, но при этомъ едва ли не каждый думаетъ про себя, что нѣтъ никакой надобности въ этомъ геніи, что очень хорошо можно обойтись и безъ него. Такое отношеніе людей къ генію, по несчастію, столь естественно, что и не можетъ быть предметомъ удивленія. Оригинальность есть такая вещь, пользу которой не могутъ понимать неоригинальные умы: они не могутъ видѣть, какую пользу можетъ принесть она, а если бы видѣли, то и не была бы она оригинальностію. Первая услуга, какую должна оказывать оригинальность этимъ умамъ, состоитъ въ томъ, чтобы открыть имъ глаза, и когда они такимъ образомъ прозрѣютъ, то могутъ оказаться способны и сами сдѣлаться оригинальными, а пока-мѣсть пусть они не забываютъ, что все, что

люди ни дѣлаютъ, было когда-то сдѣлано кѣмъ нибудь въ первый разъ, и что все благо, какое только существуетъ, есть плодъ оригинальности, — пусть они будутъ довольно скромны чтобы вѣрить, что оригинальность еще имѣетъ кое-что совершить и что они тѣмъ болѣе въ ней нуждаются, чѣмъ менѣе сознаютъ въ ней нужду.

Какое бы, повидимому, поклоненіе, не только на словахъ, но хотя бы даже и на самомъ дѣлѣ, ни воздавали мнимому или дѣйствительному умственному превосходству, но нельзя не признать той истины, что вездѣ и во всемъ обнаруживается общее тяготѣніе къ установленію надъ людьми господства посредственности. Въ древнемъ мірѣ, въ средніе вѣка, а также, хотя и въ меньшей степени, и въ этотъ длинный переходный періодъ, который отдѣляетъ наше время отъ феодализма, индивидуумъ былъ самъ по себѣ сила, а когда имѣлъ большія способности или высокое общественное положеніе, то и значительная сила. Въ настоящее время индивидуумъ затерянъ въ толпѣ. Въ политикѣ стало даже тривіальностію говорить, что теперь міромъ управляетъ общественное мнѣніе. Теперь единственная сила, заслуживающая этого названія, есть сила массы, или сила правительства, когда оно является органомъ стремленій и инстинктовъ массы. Это одинаково вѣрно какъ относительно нравственныхъ и соціальныхъ отношеній частной жизни, такъ и относительно общественныхъ дѣлъ. Та

публика, которой мнѣніе называется общественнымъ мнѣніемъ, не всегда одна и та же: въ Америкѣ эта публика есть бѣлое населеніе, въ Англіи—преимущественно средній классъ, но во всякомъ случаѣ эта публика есть масса, т. е. коллективная посредственность. И что составляетъ еще болѣе замѣчательную новизну нашего времени,— масса беретъ свои мнѣнія не отъ лицъ, высоко стоящихъ въ церковной или государственной іерархіи, не отъ тѣхъ или другихъ общепризнанныхъ руководителей, и не изъ книгъ; ея мнѣнія составляются для нея людьми, весьма близко къ ней подходящими, которые, подъ впечатлѣніемъ минуты, обращаются къ ней или говорятъ отъ ея имени въ газетахъ. Я нисколько не жалуюсь на все это. Я не утверждаю, чтобы при теперешнемъ низкомъ состояніи человѣческаго ума могло существовать, какъ общее правило, что нибудь лучшее, чѣмъ это. Но это нисколько не противорѣчитъ тому, что правительства посредственности суть посредственныя правительства. Никогда правительство демократіи или многочисленной аристократіи, ни своими политическими дѣйствіями, ни своими мнѣніями, ни качествами, ни настроеніемъ умовъ, какое оно питало въ людяхъ, никогда такое правительство не возвышалось и не могло возвыситься выше посредственности, исключая того, когда государь-толпа руководился (что всегда и бывало въ лучшія времена этихъ правительствъ)

совѣтами и указаніями болѣе высоко-одаренныхъ и болѣе высоко-образованныхъ одного или нѣсколькихъ индивидуумовъ. Отъ индивидуумовъ исходитъ и должна исходить иниціатива всего мудраго, всего благороднаго,—и притомъ, на первый разъ, обыкновенно всегда отъ одного индивидуума. Честь и слава серединныхъ людей состоитъ въ ихъ способности слѣдовать за этой иниціативою, — въ способности находить въ себѣ отзывъ на все мудрое и благородное и, наконецъ, въ способности дозволить себя вести къ этому съ открытыми глазами. Я вовсе не имѣю намѣренія поощрять то поклоненіе героямъ, которое рукоплещетъ могущественному генію, когда тотъ силою захватываетъ себѣ въ руки управленіе міромъ и насильно заставляетъ міръ исполнять свои повелѣнія. Все, чего такой человѣкъ можетъ справедливо себѣ требовать, это—свободы указывать путь другимъ людямъ; но принуждать людей идти по тому или другому пути, это не только непримиримо съ ихъ свободой и развитіемъ, но и непримиримо съ достоинствомъ геніальнаго человѣка.

Общей тенденціи, которая привела къ тому, что мнѣніе массъ, состоящихъ изъ серединныхъ людей, повсюду сдѣлалось или дѣлается господствующей властію, — этой тенденціи должна, повидимому, противодѣйствовать все болѣе и болѣе рѣзко обозначающаяся индивидуальность мыслящихъ

людей. Въ такое время, какъ наше, болѣе, чѣмъ когда либо, надо не запугивать, а напротивъ поощрять индивидуумовъ, чтобы они дѣйствовали не такъ, какъ дѣйствуетъ масса. Въ другія времена не было никакой пользы въ томъ, чтобы индивидуумъ дѣйствовалъ не такъ, какъ масса, если притомъ онъ не дѣйствовалъ лучше, чѣмъ масса; но теперъ неисполненіе обычая, отказъ преклоняться передъ нимъ, есть уже само по себѣ заслуга. Потому именно, что тираннія мнѣнія въ наше время такова, что всякая экцентричность стала преступленіемъ, потому именно и желательно чтобы были эксцентричные люди,—это желательно для того, чтобы покончить съ этой тираніей. Тамъ всегда было много эксцентричныхъ людей, гдѣ было много сильныхъ характеровъ, и вообще въ обществѣ эксцентричность бываетъ пропорціональна геніальности, умственной силѣ и нравственному мужеству. То обстоятельство, что теперь такъ мало эксцентричныхъ людей, и свидѣтельствуетъ о великой опасности, въ какой мы находимся.

Я сказалъ, что въ высшей степени важно дать какъ можно болѣе простору тому, что не соотвѣтствуетъ обычаю, для того чтобы можно было видѣть, изъ несоотвѣтствующаго обычаю не заслуживаетъ ли что нибудь быть обращеннымъ въ обычай. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы независимость дѣйствія и неподчиненіе обычаю заслуживали поощренія потому только, что могутъ создать луч-

шіе образы дѣйствія и обычаи, болѣе достойные общаго признанія, чѣмъ тѣ, которые существуютъ въ данное время, — изъ этого не слѣдуетъ, чтобы только тѣ люди, которые отличаются умственнымъ превосходствомъ, могли имѣть справедливое притязаніе устроивать свою жизнь по своему личному усмотрѣнію. Нѣтъ никакого основанія, почему бы существованіе всѣхъ людей должно было быть устроиваемо на одинъ манеръ, или по небольшому числу разъ опредѣленныхъ образцовъ. Если только человѣкъ имѣетъ хотя самую посредственную долю здраваго смысла и опыта, то тотъ образъ жизни, который онъ самъ для себя изберетъ, и будетъ лучшій, не потому чтобы былъ лучше самъ по себѣ, а потому, что онъ есть его собственный. Люди не бараны, да и бараны даже не до такой степени схожи между собой, чтобы совершенно не отличались одинъ отъ другаго. Чтобы имѣть платье или сапоги, которые были бы ему въ пору, человѣкъ долженъ заказывать ихъ по своей мѣркѣ или выбирать въ цѣломъ магазинѣ, — неужели же легче снабдить человѣка пригодною для него жизнію, чѣмъ пригоднымъ для него платьемъ? Неужели люди болѣе схожи между собой въ физическомъ и нравственномъ отношеніи, чѣмъ по формѣ своихъ ногъ? Если бы даже люди не имѣли между собой никакого другаго различія, кромѣ различія вкусовъ, то и въ такомъ случаѣ не было бы никакого основанія подводить ихъ всѣхъ

подъ одинъ образецъ. Различные люди требуютъ и различныхъ условій для своего умственнаго развитія, и если, не смотря на свое различіе, будутъ всѣ находиться въ одной и той нравственной атмосферѣ, то не могутъ всѣ жить здоровою жизнію, точно также какъ не могутъ всѣ различныя растѣнія жить въ одномъ и томъ же климатѣ. То, что для одного человѣка есть средство къ развитію, для другаго есть препятствіе къ развитію. Одинъ и тотъ же образъ жизни служитъ для одного здоровымъ возбужденіемъ всѣхъ его силъ, благодѣтельно дѣйствуетъ на всѣ его способности къ дѣятельности и къ наслажденію, а для другаго, напротивъ, составляетъ гнетущую тяжесть, которая пріостанавливаетъ или прекращаетъ всякую внутреннюю жизнь. У людей не одни и тѣ же источники наслажденія и не одни и тѣ же источники страданія, на нихъ не одинаково дѣйствуютъ различныя физическія и нравственныя условія, и если ихъ различію между собой не соотвѣтствуетъ различіе въ образѣ жизни, то они не могутъ достигнуть всей полноты возможнаго для нихъ счастія, не могутъ достигнуть того умственнаго, нравственнаго и эстетическаго совершенства, на какое способны. На какомъ основаніи общественное чувство простираетъ свою терпимость только на тѣ вкусы, на тѣ образы жизни, которые имѣютъ много приверженцевъ? Различіе во вкусахъ нигдѣ (исключая развѣ только монастыри) совершенно не отри-

цается; человѣкъ можетъ, не подвергая себя осужденію, любить или не любить табакъ, музыку, физическія упражненія, шахматы, карты, чтеніе, и это потому, что какъ тѣ, которые любятъ эти вещи, такъ и тѣ, которые ихъ не любятъ, слишкомъ многочисленны, чтобы можно было не признать ихъ голосъ. Но если кто либо, а тѣмъ болѣе если этотъ кто либо — женщина, сдѣлаетъ то, „чего никто не дѣлаетъ," или не сдѣлаетъ того „что всѣ дѣлаютъ," то подвергается такому же строгому осужденію, какъ если бы былъ учиненъ какой нибудь важный нравственный проступокъ. Тѣ люди, которые имѣютъ титулы или какіе нибудь внѣшніе признаки, свидѣтельствующіе о томъ, что они занимаютъ въ обществѣ высокое положеніе, или пользуются уваженіемъ людей высоко стоящихъ, такіе люди еще могутъ дозволять себѣ нѣкоторую незначительную степень свободы, безъ вреда для своей репутаціи, — но только нѣкоторую незначительную степень, повторяю, потому что если кто дозволитъ себѣ сколько нибудь значительную степень свободы, то рискуетъ навлечь на себя нѣчто худшее даже, чѣмъ оскорбительныя рѣчи,— рискуетъ, что его потребуютъ предъ коммиссію de lunatico, отнимутъ у него собственность и отдадутъ ее родственникамъ *).

*) Тѣ основанія, по которымъ въ наше время человѣкъ можетъ быть легально признанъ неспособнымъ управлять самъ своими дѣлами, и завѣщаніе его — не имѣющимъ силы

Общественное мнѣніе имѣетъ теперь именно то направленіе, при которомъ оно дѣлается наиболѣе

(если только послѣ него осталось имущество, достаточное чтобы покрыть судебные по этому расходы, такъ какъ эти расходы падаютъ на наслѣдство),—эти основанія заключаютъ въ себѣ нѣчто такое, что возбуждаетъ вмѣстѣ и презрѣніе и страхъ. Умы, самые ничтожные изъ ничтожныхъ, раскапываютъ самыя мельчайшія подробности ежедневной жизни человѣка, и откопавъ въ нихъ что нибудь такое, что ихъ бѣдному пониманію представляется не совсѣмъ подходящимъ подъ то, что общепринято, они подвергаютъ это сужденію своего бѣднаго ума и предъявляютъ присяжнымъ какъ доказательство умственнаго разстройства, — и часто съ успѣхомъ, такъ какъ присяжные бываютъ обыкновенно едва ли не столько же умственно ничтожны и невѣжественны, какъ и сами свидѣтели, а наши судьи не только оказываются не въ состояніи воздержать ихъ отъ заблужденія, а напротивъ, только способствуютъ имъ заблуждаться, отличаясь по большей части тѣмъ крайнимъ незнаніемъ человѣческой природы и человѣческой жизни, которое мы, къ немалому нашему удивленію, такъ часто встрѣчаемъ въ англійскихъ юристахъ. Эти судебныя разбирательства представляютъ вѣрное выраженіе господствующихъ въ массѣ чувствъ и мнѣній относительно человѣческой свободы. Наши судьи и присяжные не только ставятъ индивидуальность ни во что, не только не признаютъ за индивидуумомъ ни малѣйшаго права дѣйствовать свободно, руководясь своимъ сужденіемъ и своими наклонностями, въ чемъ бы то ни было, хотя бы это и касалось только его самого, — они не понимаютъ даже, чтобы человѣкъ въ здравомъ умственномъ состояніи могъ желать себѣ подобной свободы. Въ прежнія времена, когда атеистовъ сжигали, сострадательные люди предлагали замѣнить сожженіе заключеніемъ въ домъ умалишенныхъ: не будетъ ничего удивительнаго, если это предложеніе осуществится въ наше время, и виновники такого сострадательнаго подвига будутъ восхвалять самихъ себя, что не подвергаютъ уже болѣе никакимъ преслѣдованіямъ за религіозныя мнѣнія, а поступаютъ съ несчастнымъ совершенно гуманно, совершенно по христіански, —хотя и не безъ тайнаго удовольствія, что эти несчастные все таки получили должное.

склоннымъ къ нетерпимости ко всякаго рода сколько нибудь рѣзкому проявленію индивидуальности. Общее свойство людей нашего времени — не только умственная умѣренность, но и умѣренность даже въ наклонностяхъ: у нихъ нѣтъ ни потребностей, ни желаній довольно сильныхъ, чтобы побудить ихъ сдѣлать что либо, не соотвѣтствующее тому, что общепринято, — они даже не понимаютъ, чтобы люди могли имѣть сильныя потребности или сильныя желанія, и тѣхъ, кто ихъ имѣетъ, причисляютъ обыкновенно къ одному разряду съ распутными и невоздержными людьми, которыхъ привыкли презирать. Предположимъ, что при такомъ общемъ направленіи возникнетъ сильное стремленіе къ улучшенію нравственности; очевидно, что при этомъ должно произойдти. Подобное стремленіе и на самомъ дѣлѣ теперь существуетъ, и многое уже дѣйствительно сдѣлано для установленія большей правильности въ дѣйствіяхъ людей и для устраненія всякаго рода уклоненій отъ общихъ правилъ, — теперь въ большомъ ходу филантропизмъ, которому не представляется другаго болѣе привлекательнаго для него поприща, какъ умственное и нравственное усовершенствованіе намъ подобныхъ. Эти тенденціи нашего времени имѣютъ своимъ послѣдствіемъ то, что общество теперь болѣе, чѣмъ когда либо, заражено наклонностію подчинять людей общимъ правиламъ поведенія и подводить всѣхъ и каждаго подъ установленный имъ типъ. А этотъ

типъ, — сознаютъ это или не сознаютъ, во всякомъ случаѣ есть ничто иное, какъ отсутствіе всякаго рода сильныхъ желаній. Теперешній идеалъ характера состоитъ въ томъ, чтобы не имѣть никакого опредѣленнаго характера, — въ томъ, чтобы сдавливать, какъ китаянка сдавливаетъ свою ногу, и такимъ образомъ изувѣчивать все, что въ человѣкѣ выдается сколько нибудь впередъ и можетъ сдѣлать его отличнымъ отъ серединныхъ людей.

Какъ это обыкновенно бываетъ со всякимъ идеаломъ, который не обнимаетъ собою вполнѣ всего того, что на самомъ дѣлѣ должно быть желательно, — господствующій теперь идеалъ характера образуетъ только такіе характеры, которые суть не что иное, какъ слабый образчикъ именно того, что этимъ идеаломъ не признано. Вмѣсто сильной энергіи, которая бы управлялась сильнымъ умомъ, — вмѣсто сильнаго чувства, которое бы строго контролировалось сознательной волей, мы имѣемъ слабое чувство и слабую энергію, которая безъ большаго усилія воли или ума приводится во внѣшнее, по крайней мѣрѣ, соотвѣтствіе съ правиломъ. Широкіе энергическіе характеры теперь стали уже преданіемъ. У насъ, въ Англіи, едва ли для энергіи открыто теперь какое нибудь другое поприще, кромѣ пріобрѣтенія. Только въ этомъ отношеніи и замѣчается еще сколько нибудь значительная энергія. А вся та часть энергіи, которая не расходуется на удовлетвореніе страсти къ пріобрѣте-

нію, тратится на какіе нибудь пустяки, обращается на достиженіе такихъ цѣлей, которыя можетъ быть и полезны и даже филантропичны, но всегда исключительны и вообще крайне ничтожны, мелки. Величіе Англіи въ настоящее время есть величіе чисто коллективное: индивидуально мы мелки, и если еще способны совершить что нибудь великое, то единственно благодаря нашей способности дѣйствовать сообща. Наши нравственные и религіозные филантропы совершенно довольны такимъ состояніемъ, но мы замѣтимъ имъ, что не такого покроя, какой мы видимъ теперь, были люди, которые сдѣлали Англію тѣмъ, чѣмъ она стала, и что не такого покроя люди, какъ теперь, потребуются для того, чтобы удержать Англію отъ паденія.

Деспотизмъ обычая повсюду составляетъ препятствіе къ человѣческому развитію, находясь въ непрерывномъ антагонизмѣ съ тою наклонностію человѣка стремиться къ достиженію чего нибудь лучшаго, чѣмъ обычай, которая смотря по обстоятельствамъ, называется то духомъ свободы, то духомъ прогресса или улучшенія. Духъ улучшенія не всегда есть вмѣстѣ и духъ свободы, потому что можетъ стремиться и къ насильственному улучшенію, вопреки желанія тѣхъ, кого это улучшеніе касается, и тогда духъ свободы, сопротивляясь такому стремленію, можетъ даже оказаться временно за одно съ противниками улучшенія. Свобода есть единственный вѣрный и неизмѣнный источникъ

всякаго улучшенія: тамъ, гдѣ существуетъ свобода, тамъ можетъ быть столько же независимыхъ центровъ улучшенія, сколько индивидуумовъ. Впрочемъ прогрессивный принципъ, подъ какимъ бы видомъ онъ ни проявлялся, подъ видомъ ли любви къ свободѣ, или любви къ улучшенію, во всякомъ случаѣ есть врагъ господства обычая и необходимо предполагаетъ стремленіе освободить людей отъ его ига. Въ борьбѣ между этимъ принципомъ и обычаемъ и заключается главный интересъ исторіи человѣчества. Большая часть міра, собственно говоря, не имѣетъ исторіи именно потому, что тамъ безграничнo царствуетъ обычай. Такова судьба всего Востока. Тамъ обычай есть во всемъ верховный судья, — тамъ справедливость, право, значитъ соотвѣтствіе обычаю, — тамъ никто и въ мысляхъ не имѣетъ, чтобы можно было воспротивиться обычаю, и только развѣ изрѣдка какой нибудь тиранъ нарушаетъ обычай въ упоеніи власти. Мы видимъ, къ какимъ это ведетъ послѣдствіямъ. У народовъ Востока существовала нѣкогда индивидуальность, оригинальность: это были нѣкогда многочисленные, образованные народы, у которыхъ процвѣтали многія искуства, и всѣмъ своимъ развитіемъ они были обязаны самимъ себѣ, и были тогда самыми великими, самыми могущественными народами міра. И что же теперь стало съ ними? Они теперь въ подданствѣ или въ зависимости у тѣхъ самыхъ племенъ, ко-

торыхъ предки странствовали въ лѣсахъ въ то время, какъ ихъ предки имѣли великолѣпные дворцы и храмы, и все это сдѣлалось потому, что у этихъ варварскихъ племенъ обычай господствовалъ только на половину, и рядомъ съ обычаемъ существовали свобода и прогрессъ. Эти народы, какъ видно, были когда-то прогрессивны и потомъ остановились въ своемъ развитіи: когда же произошла эта остановка? А именно тогда, когда у нихъ перестала существовать индивидуальность. Если подобное этому должно совершиться и съ европейскими народами, то это совершится съ ними нѣсколько иначе, потому что то, чѣмъ имъ угрожаетъ господствующій у нихъ деспотизмъ обычая, не есть собственно неподвижность: этотъ деспотизмъ, хотя и преслѣдуетъ всякую самобытность, оригинальность, но онъ не противъ перемѣнъ, если только эти перемѣны совершаются разомъ для всѣхъ и со всѣми. Мы бросили мундирные костюмы, которыхъ такъ строго держались наши предки,—мы измѣняемъ наши моды довольно часто, и разъ, и два раза въ годъ, но измѣняемъ не иначе, какъ всѣ сообща, разомъ, и каждый изъ насъ считаетъ непремѣнно нужнымъ быть одѣту такъ, какъ одѣты другіе. Такимъ образомъ мы дѣлаемъ измѣненія собственно ради измѣненія, а не ради красоты или удобства: не можетъ же быть, чтобы всѣ вдругъ разомъ, въ одно время, убѣждались въ красотѣ или удобствѣ дѣлаемаго измѣ-

ненія, — или чтобы всѣ вдругъ разомъ измѣняли свое мнѣніе о томъ, что до этого находили хорошимъ или удобнымъ. Впрочемъ мы не только склонны къ перемѣнамъ, но и прогрессивны; мы постоянно изобрѣтаемъ какія нибудь механическія усовершенствованія и потомъ безъ затрудненія бросаемъ ихъ, когда изобрѣтаемъ что нибудь лучшее, — особенно же мы падки на всякаго рода улучшенія въ политикѣ, воспитаніи, и даже въ нравственности, хотя въ послѣднемъ случаѣ подъ улучшеніемъ мы понимаемъ, обыкновенно, не что иное, какъ навязываніе нашихъ мнѣній другимъ посредствомъ убѣжденія или даже просто насиліемъ. Собственно говоря, мы не только не враги прогресса, а напротивъ, считаемъ себя самымъ прогрессивнымъ народомъ, какой когда либо существовалъ; но мы — противъ индивидуальности, мы воображаемъ, что совершимъ великое дѣло, если добьемся того, что всѣ люди будутъ совершенно похожи другъ на друга, — мы забываемъ, что для каждаго человѣка существованіе такихъ людей, которые на него не похожи, составляетъ существенное условіе для того, чтобы онъ былъ въ состояніи сознавать свои недостатки и тѣ достоинства, которыхъ у него нѣтъ, и, комбинируя между собою достоинства разныхъ типовъ, восходить такимъ образомъ къ образованію высшаго типа. Не должны мы упускать изъ виду тотъ весьма поучительный примѣръ, какой представляютъ намъ Ки-

тайцы. Это — народъ весьма способный и даже во многихъ отношеніяхъ весьма мудрый, благодаря тому исключительному счастію, какое выпало на его долю, что установившіеся у него съ раннихъ временъ обычаи были замѣчательно хороши. Тѣхъ людей, которые были до нѣкоторой степени виновниками этихъ обычаевъ, нельзя не признать съ нѣкоторыми ограниченіями за людей мудрыхъ и философовъ. Мы находимъ у нихъ замѣчательный по своему совершенству аппаратъ для того, чтобы вся та мудрость, какою только обладаютъ люди, была въ наивозможно большей степени усвоиваема каждымъ членомъ общества: здѣсь и почетъ, и власть принадлежатъ тѣмъ, кто обладаетъ большею степенью мудрости. Повидимому народъ, устроившій у себя такіе порядки, открылъ ключъ къ человѣческой прогрессивности и долженъ идти постоянно во главѣ всемірнаго развитія; а между тѣмъ мы видимъ совершенно противное: народъ этотъ впалъ въ неподвижность, въ которой пребываетъ уже нѣсколько тысячелѣтій, и если у него возможно еще какое усовершенствованіе, то не иначе, какъ чрезъ вліяніе иностранцевъ. То, къ чему такъ ревностно стремятся наши англійскіе филантропы, Китайцы осуществили у себя съ такимъ совершенствомъ, какого трудно было даже ожидать: у нихъ всѣ люди какъ одинъ человѣкъ, у всѣхъ одни мысли, одни понятія, одни правила,—и что же вышло изъ этого? Нашъ regime общественнаго

мнѣнія представляетъ совершенное тождество съ воспитательной и политической системой Китая; вся разница только въ томъ, что нашъ regime находится въ неорганизованномъ состояніи, а китайская система окончательно организована, и если индивидуализмъ не устоитъ противъ стремленій этого regime, то Европа, не смотря на все свое прекрасное прошедшее и не смотря на весь свой христіанизмъ, сдѣлается вторымъ Китаемъ.

Что предохраняло до сихъ поръ Европу отъ подобной участи? Почему семья европейскихъ народовъ была до сихъ поръ не неподвижною, а постоянно совершенствующеюся частію человѣчества? Не потому, конечно, чтобы европейскіе народы имѣли какое нибудь превосходство предъ другими народами, такъ какъ это превосходство, если оно и существуетъ, во всякомъ случаѣ есть слѣдствіе, но не причина, — а потому, что они постоянно отличались большимъ разнообразіемъ характеровъ и культуры. Индивидумы, классы общества, народы, все это представляло въ Европѣ весьма рѣзкое разнообразіе, и всѣ эти разнообразія стремились къ прогрессу весьма различными путями. Правда, таково было общее явленіе всѣхъ эпохъ европейской исторіи, что шедшіе по одному пути обнаруживали, обыкновенно, крайнюю нетерпимость къ шедшимъ по другому пути и считали верхомъ совершенства, если бы могли достигнуть того, чтобы всѣ шли по одному пути съ ними; но это взаимное пося-

гательство другъ на друга рѣдко увѣнчивалось сколько нибудь постояннымъ успѣхомъ, и имѣло своимъ послѣдствіемъ только то, что каждый въ свою очередь подвергался необходимости воспользоваться тѣми плодами, какіе достигались другими. Этому разнообразію путей Европа и обязана, по моему мнѣнію, своимъ прогрессивнымъ и многостороннимъ развитіемъ. Но въ настоящее время она начинаетъ уже значительно утрачивать это качество и замѣтно склоняется къ китайскому идеалу,—къ уничтоженію всякаго рода разнообразій. Токевиль, въ своемъ послѣднемъ замѣчательномъ произведеніи, говоритъ, что французы теперешняго поколѣнія гораздо болѣе похожи другъ на друга, чѣмъ французы предшествовавшихъ поколѣній; то же самое, только еще въ большей степени, замѣтно и у англичанъ.

По мнѣнію Вильгельма Гумбольдта, какъ мы видѣли выше, два условія необходимы для человѣческаго развитія, потому что только при существованіи этихъ условій и возможно, чтобы люди не походили другъ на друга, а именно: свобода и разнообразіе положеній. Второе изъ этихъ условій въ нашей странѣ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе утрачивается, съ каждымъ днемъ все болѣе сглаживается всякое разнообразіе внѣшнихъ условій жизни. Въ прежнее время различные классы общества, различныя мѣстности, промыслы, ремесла, все это жило своею особою жизнію, составляло такъ сказать, свои особые отдѣльные міры, а теперь

всѣ эти отдѣльные міры до значительной степени сливаются въ одинъ міръ,—теперь, сравнительно говоря, всѣ читаютъ, слышатъ, видятъ одно и тоже, посѣщаютъ одни и тѣ же мѣста, у всѣхъ одинаковыя цѣли, одинаковыя надежды и опасенія, всѣ имѣютъ одинаковыя права и вольности, одинаково ими пользуются, у всѣхъ одни и тѣ же средства для ихъ охраненія. Конечно, существующее разнообразіе положеній еще весьма значительно, но оно ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, что было прежде, и съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе сглаживается. Этому сглаживанію всѣхъ разнообразій содѣйствуютъ всѣ политическія перемѣны нашего времени, такъ какъ всѣ онѣ имѣютъ одно общее направленіе, стремятся къ тому, чтобъ повысить то, что ниже, понизить то, что выше, и такимъ образомъ все привести къ одному уровню. Этому содѣйствуетъ и самое распространеніе просвѣщенія, такъ какъ оно влечетъ за собой подчиненіе людей общимъ вліяніямъ, дѣлаетъ для всѣхъ доступнымъ одинъ и тотъ же запасъ фактовъ и чувствъ,—этому содѣйствуютъ и всѣ улучшенія въ средствахъ сообщенія, потому что вслѣдствіе этого увеличивается личное столкновеніе между жителями отдаленныхъ мѣстностей,—наконецъ къ этому же ведетъ и самое процвѣтаніе торговли и промышленности, потому что, доставляя людямъ довольство, оно вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ для нихъ доступными даже самыя высокія цѣли честолюбивыхъ стремленій, такъ что

эти цѣли перестаютъ уже быть особенной принадлежностью какого нибудь класса, а становятся общимъ достояніямъ всѣхъ. Мало того: въ обществахъ нашего времени надъ этимъ сглаживаніемъ индивидуальнаго разнообразія работаетъ еще такая сила, которая могущественнѣе всѣхъ тѣхъ вліяній, о которыхъ мы упомянули; эта сила есть общественное мнѣніе. Постепенно подводятся одно за другимъ подъ общій уровень всѣ высокія общественныя положенія, которыя давали возможность индивидуумамъ не обращать вниманія на мнѣніе толпы. Политическимъ практикамъ нашего времени становится все болѣе и болѣе чуждой даже и самая мысль о сопротивленіи общей воли, когда эта воля положительно извѣстна,—изчезаютъ одна за другой всѣ соціальныя поддержки, на которыя могло бы опереться отступленіе отъ общепринятаго,—въ обществахъ уже нѣтъ болѣе сколько нибудь состоятельной силы, которая имѣла бы интересъ противостоять преобладанію числа и охранять такія мнѣнія и стремленія, которыя несогласны съ господствующими.

Всѣ исчисленныя нами вліянія, враждебныя индивидуальности, составляютъ въ совокупности силу столь могучую, что не легко сказать, какимъ образомъ индивидуальность можетъ отстоять себя, и угрожающая ей опасность будетъ, безъ сомнѣнія, все болѣе и болѣе расти, если только разумная часть общества сама не сознаетъ наконецъ, что

индивидуальность имѣетъ высокую цѣну, — что разнообразіе во всякомъ случаѣ есть благо, если бы даже оно состояло въ отступленіи отъ общепринятаго не только къ лучшему, но и къ худшему. Теперь, пока еще общая ассимиляція не совсѣмъ совершилась, — теперь болѣе, чѣмъ когда либо, своевременно заявить право индивидуальности; надо стараться остановить посягательство, пока еще оно не совершилось, а послѣ будетъ поздно. Общее стремленіе подвести всѣхъ людей подъ одинъ типъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе растетъ, и если мы разъ допустимъ, что все живое будетъ подведено подъ одинъ однообразный типъ, тогда уже будетъ поздно сопротивляться, тогда всякое отступленіе отъ общаго типа сдѣлается нечестіемъ, безнравственностію, чудовищностью, противоестественностію. Если люди не будутъ имѣть разнообразія передъ глазами, то они скоро утратятъ и самую способность къ разнообразію.

ГЛАВА IV.

О предѣлахъ власти общества надъ индивидуумомъ.

Гдѣ тотъ предѣлъ, до котораго должно простираться самодержавіе индивидуума? Гдѣ должна начинаться власть общества? Какая часть индивидуальной жизни должна составлять полное достояніе индивидуальности, и какая должна подлежать вѣденію общества?

И индивидуумъ, и общество, не переступятъ должныхъ предѣловъ, если будутъ простирать свою власть только на то, что ихъ ближе касается. Та часть человѣческой жизни, которая касается главнымъ образомъ индивидуума, должна составлять достояніе индивидуальности, а та, которая касается главнымъ образомъ общества, должна подлежать вѣденію общества.

Хотя общество и не основано на контрактѣ и вся эта контрактная гипотеза, придуманная для

объясненія соціальныхъ обязанностей, совершенно безполезна, но тѣмъ не менѣе каждый, пользующійся покровительствомъ общества, обязанъ за это вознагражденіемъ, и самый уже тотъ фактъ, что индивидуумъ живетъ въ обществѣ, дѣлаетъ для него неизбѣжнымъ существованіе обязанности исполнять извѣстныя правила поведенія по отношенію къ другимъ людямъ. Эти правила состоятъ во первыхъ въ томъ, чтобы не нарушать интересовъ другихъ людей, или, правильнѣе сказать, тѣхъ ихъ интересовъ, которые положительный или подразумѣваемый законъ признаетъ за ними, какъ право; а во вторыхъ они состоятъ въ томъ, что каждый долженъ выполнять приходящуюся на его долю часть (что должно быть опредѣлено на какомъ либо справедливомъ основаніи) трудовъ и жертвъ, необходимыхъ для защиты общества или его членовъ отъ вреда и обидъ. Общество имѣетъ полное право принудить къ выполненію этихъ обязанностей, если бы кто либо вознамѣрился отъ нихъ освободиться. Но не въ этомъ только заключается власть общества надъ индивидуумомъ. Дѣйствія индивидуума, и не нарушая никакихъ установленныхъ правъ, могутъ вредить интересамъ другихъ людей или могутъ не принимать ихъ въ должное вниманіе: хотя индивидуумъ въ этомъ случаѣ и не подлежитъ легальной карѣ, но справедливо можетъ быть наказанъ карою общественнаго мнѣнія. Какъ скоро поступокъ человѣка

вредитъ интересамъ другихъ людей, то общество, безъ сомнѣнія, имѣетъ право вмѣшаться, и здѣсь можетъ возникнуть только вопросъ о томъ, вмѣшательство общества въ данномъ случаѣ будетъ ли полезно для общаго блага или вредно. Но никакого подобнаго вопроса о пользѣ или вредѣ общественнаго вмѣшательства и не можетъ быть въ томъ случаѣ, когда дѣйствія индивидуума не касаются ничьихъ интересовъ, кромѣ его собственныхъ, или касаются только интересовъ тѣхъ людей, которые сами того желаютъ (при этомъ подразумѣвается конечно, что люди эти находятся въ совершенномъ возрастѣ и полномъ обладаніи своихъ способностей). Во всѣхъ такого рода случаяхъ индивидууму должна быть предоставлена полная свобода, и легальная, и соціальная, дѣйствовать по своему усмотрѣнію на свой рискъ.

Заключать изъ сказаннаго нами, что будто мы возводимъ въ доктрину эгоистическую индифферентность, что будто мы признаемъ, что индивидууму нѣтъ никакого дѣла до того, какъ живутъ другіе индивидуумы, или что вообще поступки и благосостояніе другихъ людей касаются его только въ той степени, на сколько замѣшаны въ это его личные интересы,—дѣлать такое заключеніе значило бы обнаружить крайнее непониманіе того, что мы говоримъ. Не ослабленія, а напротивъ усиленія въ индивидуумѣ самоотверженнаго стремленія къ благу другихъ,—вотъ чего хочетъ изла-

гаемая нами доктрина; но при этомъ она признаетъ, что не кнутъ и плеть (понимая это и въ буквальномъ, и въ метафорическомъ смыслѣ), а другія средства должны избирать благодѣтели для убѣжденія своихъ ближнихъ въ томъ, что есть благо. Я не менѣе, чѣмъ кто либо, высоко цѣню личныя добродѣтели, я утверждаю только, что по сравненію съ соціальными добродѣтелями онѣ стоятъ на второмъ мѣстѣ, если только еще не ниже. Воспитаніе должно имѣть одинаково своею цѣлью какъ соціальныя, такъ и личныя добродѣтели. Оно обыкновенно дѣйствуетъ столько же и насиліемъ, сколько и убѣжденіемъ; но съ окончаніемъ періода воспитанія личныя добродѣтели должны быть внушаемы индивидууму не иначе, какъ посредствомъ убѣжденія. Люди должны помогать другъ другу различать хорошее отъ дурнаго, должны поощрять другъ друга предпочитать хорошее дурному и избѣгать дурнаго; они должны возбуждать другъ друга къ упражненію высшихъ способностей, поддерживать одинъ въ другомъ тѣ чувства и тѣ стремленія, которыя имѣютъ своимъ предметомъ умное и высокое, а не то, что глупо или что унижаетъ человѣка. Но никто, будетъ ли этотъ никто одинъ человѣкъ или какое бы то ни было число людей, не въ правѣ препятствовать кому бы то ни было (разумѣется достигшему зрѣлаго возраста) распоряжаться своею жизнью по своему усмотрѣнію. Благосостояніе каждаго инди-

видуума ближе всего касается его самого; тотъ интересъ, который оно можетъ возбуждать въ другихъ людяхъ, ничтоженъ (за исключеніемъ случаевъ сильной личной привязанности) по сравненію съ тѣмъ интересомъ, который оно возбуждаетъ въ немъ самомъ; общество же имѣетъ интересъ въ благостояніи индивидуума (исключая его отношенія къ другимъ людямъ) только отчасти и притомъ косвенно. Каждый, самый даже обыкновенный человѣкъ, какъ мужчина, такъ и женщина, имѣетъ несравненно болѣе сильныя средства, чѣмъ кто либо, къ познанію того, что для него есть благо. Вмѣшательство общества въ тѣ сужденія и стремленія индивидуума, которыя касаются только его лично, необходимо должно основываться на какихъ нибудь общихъ предположеніяхъ; но предположенія эти могутъ быть совершенно ошибочны, а если не ошибочны, то онѣ легко могутъ быть примѣнены совершенно не кстати, въ такихъ случаяхъ, къ которымъ совершенно непригодны, такъ какъ самое примѣненіе ихъ должно производиться людьми, знающими обстоятельства даннаго случая только поверхностно, снаружи. Эта часть человѣческой жизни есть сфера индивидуальности. Въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ людямъ необходимо, чтобы индивидуумъ соблюдалъ въ большей части случаевъ извѣстныя общія правила, дабы каждый зналъ, чего можетъ ожидать отъ другихъ; но въ томъ, что касается его самого лично, индивидумъ долженъ

быть вполнѣ самодержавенъ. Можно представлять ему разныя соображенія и доводы, для того чтобы направить такъ или иначе его сужденіе, можно увѣщевать его, чтобы дать то или другое направленіе его воли, все это можно дѣлать, если бы даже онъ этого и не желалъ, но онъ во всякомъ случаѣ есть высшій судья того, что и какъ ему дѣлать, и если онъ поступитъ вопреки всѣмъ совѣтамъ и предостереженіямъ и чрезъ это сдѣлаетъ самъ себѣ вредъ, то этотъ вредъ далеко не можетъ быть такъ великъ, какъ велико было бы то зло, если бы онъ насильно принужденъ былъ поступать такъ, какъ другіе признаютъ для него благомъ.

Я вовсе не думаю утверждать, чтобы чувства къ индивидууму другихъ людей должны были быть совершенно независимы отъ личныхъ достоинствъ или недостатковъ индивидуума. Это и невозможно и не желательно. Чѣмъ въ высшей степени индивидуумъ обладаетъ тѣми качествами, которыя ведутъ къ счастію, тѣмъ большее уваженіе внушаетъ онъ къ себѣ другимъ людямъ, тѣмъ больше приближается онъ къ идеальному совершенству. И наоборотъ: если онъ обладаетъ въ значительной степени качествами отрицательными, то внушаетъ къ себѣ не уваженіе, а чувство совершенно противоположное уваженію. Есть извѣстная степень глупости, или, если можно такъ выразиться (хотя это выраженіе будетъ и не совсѣмъ правильно) извѣ-

стная степень подлости или извращенія вкуса, которая хотя и не можетъ, конечно, служить основаніемъ для дурнаго обхожденія съ индивидуумомъ, но необходимо и весьма естественно внушаетъ къ нему отвращеніе, а въ крайнихъ случаяхъ даже и презрѣніе; не можетъ это не возбуждать къ себѣ подобныхъ чувствъ въ томъ человѣкѣ, который имѣетъ въ значительной степени качества, противоположныя этимъ недостаткамъ. Даже и не причиняя никому зла, индивидуумъ можетъ своими поступками сдѣлать то, что другіе люди будутъ смотрѣть на него, какъ на дурака или вообще какъ на существо низшаго порядка, и будутъ питать къ нему соотвѣтствующія этому чувства, и такъ какъ для индивидуума, конечно, не можетъ быть желательно, чтобы о немъ имѣли такое мнѣніе, чтобы къ нему питали подобныя чувства, то предостерегая его отъ этого, мы окажемъ ему услугу, какъ и вообще предостерегая отъ всякаго рода непріятныхъ послѣдствій, какія могутъ имѣть для него его поступки. Весьма было бы желательно, чтобы для оказанія другъ другу подобнаго рода услугъ не существовало тѣхъ преградъ, какія ставятъ этому господствующія въ наше время понятія о вѣжливости,—чтобы люди могли честно указывать другъ другу то, что считаютъ ошибкой, не подвергая себя упреку въ грубости или въ самонадѣянности. Мы имѣемъ, конечно, полное право руководствоваться въ поступкахъ по отношенію къ из-

вѣстному индивидууму нашимъ дурнымъ мнѣніемъ о немъ, — но только никакъ не въ ущербъ его индивидуальности, а не болѣе какъ въ предѣлахъ нашей собственной индивидуальной свободы. Такъ напримѣръ, мы не обязаны искать его общества, мы имѣемъ право избѣгать его (но не высказывать этого явно), потому что имѣемъ полное право избирать для себя то общество, которое намъ болѣе нравится. Мы имѣемъ право, а можетъ быть даже и обязанность, предостерегать отъ него другихъ людей, если находимъ, что его примѣръ или его разговоръ могутъ имѣть дурное вліяніе. Во всемъ, въ чемъ имѣемъ право свободнаго выбора, мы можемъ оказывать предпочтеніе передъ нимъ другимъ людямъ, съ тѣмъ ограниченіемъ впрочемъ, если это предпочтеніе не воздерживаетъ насъ отъ такихъ дѣйствій по отношенію къ нему, которыя вели бы къ его улучшенію. Такимъ образомъ индивидуумъ можетъ подвергаться весьма различнымъ и весьма строгимъ карамъ отъ другихъ людей за такіе недостатки, которые непосредственно касаются только его самого; но онъ терпитъ эти кары только въ той степени, въ какой онѣ непосредственно истекаютъ изъ самыхъ его недостатковъ, и подвергается имъ потому, что онѣ составляютъ неизбѣжное, такъ сказать, естественное послѣдствіе его недостатковъ, а не потому чтобы намѣренно налагались на него, какъ наказаніе. Человѣкъ,

который обнаруживаетъ самонадѣянность, упрямство, самодовольство, который не умѣетъ довольствоваться умѣренными средствами, не можетъ воздержаться отъ вредныхъ слабостей, предается чувственнымъ наслажденіямъ въ ущербъ наслажденіямъ сердца и ума, — такой человѣкъ долженъ ожидать, что не высоко будетъ стоять во мнѣніи другихъ людей и не возбудитъ къ себѣ большого расположенія, и всякій ропотъ съ его стороны будетъ совершенно неоснователенъ, если только не заслуживаетъ онъ расположенія людей какими нибудь высокими соціальными достоинствами и проявленію ихъ не препятствуютъ тѣ его личныя недостоинства, которыя касаются только его самаго.

Я утверждаю, что всѣ тѣ поступки и всѣ тѣ качества индивидуума, которые касаются только его личнаго блага и не касаются блага другихъ,—что всѣ эти поступки, и качества не могутъ служить основаніемъ для другихъ людей къ какимъ либо инымъ неблагопріятнымъ къ нему отношеніямъ, кромѣ тѣхъ, которыя, такъ сказать, естественно истекаютъ изъ ихъ дурнаго о немъ мнѣнія. Совершенно другое должны мы сказать о тѣхъ поступкахъ индивидуума, которые вредны другимъ людямъ. Когда индивидуумъ посягаетъ на права другихъ людей, — наноситъ имъ вредъ или ущербъ, не имѣя на то никакого права — обманываетъ ихъ, дѣйствуетъ двулично, — нечест-

но, или невеликодушно пользуется своими преимуществами предъ другими людьми,— имѣя возможность устранить какое нибудь зло, не дѣлаетъ этого изъ эгоизма, — все это такіе поступки, которые заслуживаютъ нравственнаго осужденія, а въ важныхъ случаяхъ даже и нравственное возмездіе и наказаніе. И не только сами эти поступки, но и тѣ наклонности, которыя располагаютъ къ совершенію ихъ, собственно говоря, безнравственны, заслуживаютъ осужденіе и могутъ даже внушить омерзѣніе къ индивидууму. Жестокосердіе, злонамѣренность, злонравіе, зависть — самая антисоціальная и самая гнусная изъ всѣхъ страстей, скрытность и неискренность, раздражительность безъ достаточнаго основанія, мстительность не соотвѣтствующая причиненному злу, страсть господствовать надъ другими, желаніе захватить себѣ большую долю благъ, чѣмъ какая слѣдуетъ (πλεονεξίαι грековъ) гордость, находящая удовольствіе въ униженіи другихъ, эгоизмъ, который себя и свои личные интересы ставитъ выше всего и всѣ сомнительные вопросы рѣшаетъ въ пользу своихъ интересовъ, — все это суть нравственные пороки, которые образуютъ дурной, ненавистный нравственный характеръ. Но тѣ недостатки, касающіеся только самого индивидуума, о которыхъ мы говорили выше, нельзя собственно назвать нравственными пороками, и какъ бы они ни были велики. они еще не дѣлаютъ человѣка дурнымъ,

не дѣлаютъ его достойнымъ нравственнаго осужденія; они могутъ свидѣтельствовать о глупости индивидуума, объ отсутствіи въ немъ чувства собственнаго достоинства и самоуваженія, но въ такомъ только случаѣ могутъ справедливо навлечь на него нравственное осужденіе, если доводятъ его до забвенія своихъ обязанностей къ тѣмъ, по отношенію къ которымъ онъ обязанъ заботиться о себѣ. То, что называютъ обязанностію человѣка къ самому себѣ, не имѣетъ никакой соціальной обязательности, если только по какимъ либо обстоятельствамъ не становится въ то же время и обязанностію къ другимъ. Это выраженіе „обязанность къ самому себѣ“ означаетъ обыкновенно не что иное, какъ только благоразуміе, и во всякомъ случаѣ никакъ не болѣе, какъ самоуваженіе или саморазвитіе; но во всемъ этомъ индивидуумъ не обязанъ никому никакимъ отчетомъ, потому что благо человѣчества не требуетъ, чтобы онъ подлежалъ въ этомъ отношеніи какой либо отчетности.

Различіе между потерей уваженія, которой индивидуумъ можетъ справедливо подвергнуться по причинѣ своего неблагоразумія или по причинѣ отсутствія личнаго достоинства, и между тѣмъ осужденіемъ, которое онъ заслуживаетъ, нарушая права другихъ людей, — различіе это не есть только номинальное. Наши чувства и наши отношенія къ индивидууму совершенно различны,

смотря по тому, возбуждаетъ ли онъ наше неудовольствіе въ такихъ предметахъ, которые мы считаемъ подлежащими нашему контролю, или же въ такихъ, которые нашему контролю не подлежатъ. Если онъ намъ не нравится, мы можемъ выразить свою антипатію къ нему, можемъ держаться въ сторонѣ отъ него, какъ и вообще отъ всего, что намъ не нравится, но это не даетъ намъ права причинять ему за это какое нибудь зло. Мы должны имѣть въ виду, что онъ и безъ того уже несетъ всю должную кару за свое заблужденіе, или, во всякомъ случаѣ, не избѣжитъ этой кары, и если онъ самъ портитъ себѣ жизнь своими неблагоразумными поступками, то это не можетъ служить основаніемъ, чтобъ мы портили ему жизнь еще болѣе. Насъ должно одушевлять въ такомъ случаѣ не желаніе наказать его, а скорѣе желаніе облегчить ему навлеченное имъ на себя наказаніе, указать ему, какъ можетъ онъ отъ него избавиться или какъ можетъ онъ избѣжать того зла, которое онъ навлекъ на себя своимъ поведеніемъ. Онъ можетъ быть для насъ предметомъ состраданія, даже отвращенія, но никакъ не предметомъ злобы или мщенія,—мы не въ правѣ относиться къ нему, какъ къ врагу общества, и если мы не принимаемъ въ немъ особеннаго участія, не чувствуемъ къ нему особеннаго расположенія, то самое дурное, на что мы имѣемъ право по отношенію къ нему, это—предоставить его

самому себѣ. Но если индивидуумъ нарушаетъ правила, соблюденіе которыхъ необходимо для индивидуальнаго или коллективнаго блага другихъ людей, если вредныя послѣдствія его поступковъ падаютъ не на него только, но и на другихъ, то въ такомъ случаѣ общество, какъ покровитель всѣхъ своихъ членовъ, должно сдѣлать ему за это возмездіе, должно подвергнуть его карѣ именно съ тою цѣлію, чтобъ наказать его, и притомъ такой карѣ, которая была бы достаточно строга, соотвѣтственна его винѣ. Въ этомъ случаѣ индивидуумъ предстоитъ предъ нашимъ судомъ, какъ виновный, — мы въ правѣ не только произнесть надъ нимъ сужденіе, но и въ правѣ исполнить надъ нимъ нашъ приговоръ; въ первомъ же случаѣ мы не въ правѣ подвергнуть его какой либо другой карѣ, кромѣ той, которая сама собой истекаетъ изъ пользованія нами такою же индивидуальной свободой, какую мы признаемъ и за нимъ.

Сдѣланное нами различіе между тою частію человѣческой жизни, которая касается только самого индивидуума, и тою, которая касается другихъ людей, встрѣтитъ, безъ сомнѣнія, много противниковъ. Намъ могутъ возразить, что ни въ какомъ случаѣ поступки индивидуума не могутъ не касаться въ большей или меньшей степени другихъ индивидуумовъ, которые живутъ съ нимъ въ одномъ обществѣ,—что индивидуумъ ни

въ какомъ случаѣ не можетъ быть совершенно уединенъ отъ другихъ людей, и если онъ дѣлаетъ себѣ зло, то это не можетъ не причинять большаго или меньшаго вреда по крайней мѣрѣ тѣмъ людямъ, которые къ нему особенно близки, а даже нерѣдко и тѣмъ, которые не находятся съ нимъ ни въ какихъ близкихъ отношеніяхъ. Если онъ дурно распоряжается своимъ имуществомъ, то это дѣлаетъ вредъ тѣмъ, для которыхъ его имущество прямо или косвенно давало средство къ существованію, и во всякомъ случаѣ это уменьшаетъ въ большей или меньшей степени общую сумму богатства, находящагося въ обществѣ. Если онъ дѣйствуетъ ко вреду своихъ физическихъ или умственныхъ способностей, то это не только причиняетъ вредъ всѣмъ тѣмъ, которыхъ благо болѣе или менѣе отъ него зависитъ, но кромѣ того онъ самъ можетъ сдѣлаться вслѣдствіе этого неспособнымъ къ тѣмъ услугамъ, которыя обязанъ оказывать своимъ ближнимъ, и можетъ даже сдѣлаться тяжестію для тѣхъ, кто его любитъ или кто къ нему расположенъ, и если такихъ индивидуумовъ въ обществѣ будетъ много, то едва ли что нибудь можетъ причинить общей суммѣ блага большій ущербъ, чѣмъ это. Наконецъ, если индивидуумъ своими пороками или своимъ неблагоразуміемъ и не дѣлаетъ прямо вреда другимъ людямъ, то онъ вредитъ уже тѣмъ, что подаетъ дурной примѣръ, и потому

можетъ справедливо быть принужденъ къ воздержанію себя отъ такихъ поступковъ, которые могутъ совратить другихъ съ истиннаго пути или ввести въ заблужденіе.

И даже—могутъ прибавить мои противники—если бы послѣдствія неблагоразумныхъ поступковъ и не касались никого, кромѣ того порочнаго и неблагоразумнаго индивидуума, который ихъ совершаетъ, то и въ такомъ случаѣ общество не должно дозволять этому индивидууму свободно распоряжаться своими дѣйствіями, такъ какъ онъ очевидно оказывается къ этому неспособнымъ. Вѣдь никто не станетъ оспоривать, что дѣти и малолѣтніе должны быть охраняемы отъ вреда, какой могутъ сдѣлать сами себѣ, — не такая ли же обязанность лежитъ и на обществѣ по отношенію къ тѣмъ людямъ, которые хотя и достигли зрѣлаго возраста, но также, какъ дѣти и малолѣтніе, не способны къ самоуправленію. Если страсть къ игрѣ, пьянство, невоздержность, праздность, неопрятность, не менѣе вредны для блага, составляютъ не меньшее препятствіе къ усовершенствованію, какъ и многія, или какъ большая часть тѣхъ дѣйствій, которыя запрещаются закономъ, то почему же—могутъ спросить наши противники—не могъ бы законъ преслѣдовать и эти пороки, на сколько это практически возможно и на сколько это примиримо съ другими требованіями общественной жизни? и почему бы въ по-

мощь закону, который не можетъ избѣжать несовершенства, — почему бы ему въ помощь не могло общественное мнѣніе организоваться въ могущественную полицію для преслѣдованія этихъ пороковъ и подвергать строгимъ соціальнымъ карамъ тѣхъ, кто оказывается въ нихъ виновнымъ? Здѣсь идетъ вопросъ не о томъ, — могутъ они сказать — чтобы стѣснить индивидуальность или воспрепятствовать испытанію какихъ либо новыхъ, оригинальныхъ идей, а о томъ, чтобы предупредить совершеніе такихъ вещей, которыя давно уже испытаны и давно уже осуждены самымъ опытомъ, которыя уже на опытѣ оказались не полезными или непригодными ни для какой индивидуальности; мы знаемъ, что правила нравственности или благоразумія требуютъ для своей выработки значительнаго времени и значительной суммы опытовъ, и желаемъ только, чтобы новыя поколѣнія предохранялись отъ тѣхъ ошибокъ, которыя были бѣдственны предшествовавшимъ поколѣніямъ.

Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что зло, которое человѣкъ дѣлаетъ самъ себѣ, можетъ въ значительной степени оскорблять чувства и интересы тѣхъ, которые къ нему близки, и даже, хотя и въ меньшей степени, чувства и интересы всего общества; но дѣло въ томъ, что если человѣкъ своимъ поведеніемъ нарушаетъ свои обязанности по отношенію къ другимъ индивидуумамъ

или ко многимъ другимъ людямъ, то въ такомъ случаѣ его поступки не принадлежатъ уже къ числу тѣхъ, которые касаются только его самого, и онъ подлежитъ за нихъ нравственному осужденію въ полномъ смыслѣ этого слова. Если, напримѣръ, человѣкъ по причинѣ своей невоздержности или расточительности не можетъ платить долговъ, или, будучи нравственно обязанъ заботиться о своемъ семействѣ, не можетъ вслѣдствіе этого содержать или воспитывать членовъ своей семьи, то онъ, конечно, заслуживаетъ осужденія и можетъ быть справедливо подвергнутъ наказанію, но только никакъ не за невоздержность или расточительность, а за неисполненіе своей обязанности къ семейству или къ кредиторамъ; его нравственная вина была бы и не болѣе, и не менѣе, если бы онъ и не расточилъ тѣ средства, которые долженъ былъ употребить на уплату долговъ или на содержаніе семейства, а обратилъ бы на самое выгодное предпріятіе. Барнуэль убилъ своего дядю, чтобы имѣть деньги для своей любовницы, и за это его повѣсили; но если бы онъ убилъ дядю не для того, чтобы имѣть деньги для любовницы, а чтобы устроить свои дѣла, то все равно былъ бы повѣшенъ. Часто случается, что человѣкъ причиняетъ огорченія своему семейству дурными своими привычками, и въ этомъ случаѣ онъ, конечно, заслуживаетъ порицанія за свою нечувствительность или неблагодарность; но онъ

въ такой же степени подлежалъ бы порицанію и въ томъ случаѣ, если бы предавался и такимъ привычкамъ, которыя сами по себѣ не имѣютъ ничего порочнаго, но огорчаютъ тѣхъ, которые съ нимъ вмѣстѣ живутъ, или которыхъ счастіе отъ него зависитъ. Кто не соблюдаетъ должнаго уваженія къ чувствамъ или интересамъ другихъ людей, не будучи на то вынужденъ требованіями какого либо высшаго долга, или не имѣя для своего оправданія удовлетвореніе какихъ либо законныхъ личныхъ стремленій, тотъ справедливо подлежитъ нравственному осужденію, но только за оказанное имъ неуваженіе, а никакъ не за тѣ причины или за тѣ убѣжденія, касающіяся только его лично, которыя могли привести его къ этому. Точно также если, вслѣдствіе эгоистическаго образа жизни, человѣкъ становится неспособенъ исполнять какую либо обязанность, лежащую на немъ по отношенію къ обществу, то онъ виновенъ передъ обществомъ. Нельзя наказывать человѣка за то только, что онъ пьянъ; но слѣдуетъ наказать солдата или полицейскаго служителя, если онъ будетъ пьянъ при исполненіи своей службы. Однимъ словомъ все, что причиняетъ прямой вредъ индивидууму или обществу, или заключаетъ въ себѣ прямую опасность вреда для нихъ, все это должно быть изъято изъ сферы индивидуальной свободы и должно быть отнесено къ сферѣ нравственности или закона.

Что же касается до тѣхъ дѣйствій индивидуума, которыми онъ не нарушаетъ какой либо опредѣленной обязанности своей къ обществу, и которыя, будучи вредны только для него самаго, не наносятъ прямо видимаго вреда тому или другому индивидууму, то такія дѣйствія, если и могутъ причинять зло обществу, то зло только случайное, или, если можно такъ выразиться, истолковательное, и общество должно переносить это зло ради сохраненія другаго высшаго блага, ради сохраненія индивидуальной свободы. Если уже взрослые люди должны быть подвергаемы наказанію за то, что не заботятся о себѣ надлежащимъ образомъ, то скорѣе ради ихъ собственнаго блага, а никакъ не на томъ основаніи, чтобъ удержать ихъ отъ порчи тѣхъ ихъ способностей, которыя имъ необходимы, чтобъ приносить обществу ту пользу, требовать которую само общество не считаетъ себя имѣющимъ право. Я никакъ не могу признать, чтобы общество имѣло право въ этомъ случаѣ наказывать: какъ будто для того, чтобъ возвысить даже самыхъ слабыхъ своихъ членовъ до обиходной раціональности въ поступкахъ оно не имѣетъ другаго средства, какъ выжидать, пока они совершатъ какой либо нераціональный поступокъ, и наказывать ихъ за это легальною или нравственною карой. Общество имѣетъ абсолютную власть надъ индивидуумомъ во весь періодъ его дѣтства и малолѣтства, чтобы сдѣлать его способнымъ къ раціональности въ

поступкахъ. Настоящее поколѣніе есть полный хозяинъ какъ по воспитанію, такъ и вообще по устройству всей судьбы грядущаго поколѣнія, и хотя оно не можетъ, конечно, сдѣлать его совершенствомъ мудрости и доброты, такъ какъ само терпитъ крайній недостатокъ и въ томъ, и въ другомъ, и хотя самыя лучшія его стремленія въ этомъ отношеніи не всегда бываютъ въ частныхъ случаяхъ и самые удачныя, но оно имѣетъ совершенно достаточныя силы на то, чтобы сдѣлать новое поколѣніе столь же хорошимъ, какъ и оно само, или даже нѣсколько лучшимъ. Если общество допустило, чтобы значительное число его членовъ дожило до зрѣлаго возраста, оставаясь въ дѣтскомъ состояніи, не пріобрѣтя способности руководствоваться въ своихъ поступкахъ раціональными соображеніями, которыя бы основывались не только на непосредственныхъ, но и на болѣе или менѣе отдаленныхъ мотивахъ, то въ такомъ случаѣ общество само и виновато въ послѣдствіяхъ этого. Оно вооружено не только всѣми могущественными средствами воспитанія, но и тѣмъ могущественнымъ вліяніемъ, какое обыкновенно имѣетъ авторитетъ общепринятаго мнѣнія на умы тѣхъ, которые малоспособны имѣть свои собственныя мнѣнія; кромѣ того ему содѣйствуютъ и тѣ естественыя кары, неизбѣжно падающія на каждаго, кто своимъ поведеніемъ возбудитъ къ себѣ отвращеніе или презрѣніе въ томъ, кто его знаетъ, — и неужели

же при всемъ этомъ общество можетъ еще претендовать на необходимость для него существованія такой власти, которая бы отдавала приказанія и принуждала индивидуума къ повиновенью въ томъ, что касается только его самаго и что по всѣмъ правиламъ справедливости и здравой политики должно быть безраздѣльно предоставлено его индивидуальному рѣшенію, такъ какъ онъ несетъ на себѣ послѣдствія этого рѣшенія. Ничто такъ не роняетъ кредитъ и не ослабляетъ силу имѣющихся хорошихъ средствъ для вліянія на поступки людей, какъ когда прибѣгаютъ для этого къ дурнымъ средствамъ. Если между тѣми людьми, которыхъ намѣреваются насильнымъ образомъ принуждать къ благоразумію или воздержанію, найдутся люди съ такими задатками, изъ которыхъ образуются сильные и независимые характеры, то неизбѣжно, что эти люди возстанутъ противъ такого насилія, потому что никогда не примирятся они съ тѣмъ, чтобы, подобно тому какъ ихъ контролируютъ въ дѣйствіяхъ касающихся до другихъ людей, могъ бы также кто либо ихъ контролировать и въ томъ, что касается только ихъ самихъ. Такое насиліе имѣетъ обыкновенно своимъ послѣдствіемъ то, что люди начинаютъ считать за признакъ ума и мужества, когда кто либо идетъ прямо на перекоръ власти и дѣлаетъ именно противное тому, чего требуетъ власть. Подобный примѣръ представляетъ намъ вѣкъ Карла II, когда доходившая до фанатизма нравственная

нетерпимость пуританъ вызвала моду на грубость нравовъ. Что же касается до того возраженія, что будто для общества необходимо оберегать своихъ членовъ отъ тѣхъ дурныхъ примѣровъ, какіе могутъ имъ подавать порочные и распущенные люди, то я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что дурной примѣръ можетъ имѣть вредное вліяніе, особенно же когда этотъ примѣръ состоитъ въ томъ, что дѣлается зло людямъ и сдѣлавшій зло остается безъ наказанія; но здѣсь идетъ дѣло не о такомъ поведеніи индивидуума, которое причиняетъ зло людямъ, а о такомъ, которое причиняетъ зло только ему самому, и я не вижу никакой возможности не согласиться съ тѣмъ, что примѣръ такого поведенія долженъ имѣть вообще скорѣе благодѣтельное, чѣмъ вредное дѣйствіе, потому что въ такомъ случаѣ всегда, или по большей части, вмѣстѣ съ дурнымъ поступкомъ примѣръ представляетъ и тяжелыя или унизительныя отъ него послѣдствія для того, кто его совершилъ.

Но самый сильный аргументъ противъ общественнаго вмѣшательства въ сферу индивидуальности состоитъ въ томъ, что такое вмѣшательство оказывается въ большей части случаевъ вреднымъ, обыкновенно совершается не кстати и не впопадъ. Когда идетъ дѣло объ общественной нравственности, или объ обязанности лежащей на индивидуумѣ по отношенію къ другимъ людямъ, то въ этихъ случаяхъ общественное мнѣніе, т. е. мнѣніе гос-

подствующаго большинства, хотя и бываетъ часто ошибочно, но имѣетъ по крайней мѣрѣ шансы быть правильнымъ, потому что тутъ люди судятъ не о чемъ иномъ, какъ только о своихъ собственныхъ интересахъ,— о томъ, какое вліяніе можетъ имѣть на ихъ интересы, если будетъ дозволенъ индивидууму тотъ или другой образъ дѣйствія. Но когда идетъ дѣло о такихъ поступкахъ индивидуума, которые касаются только его самого, то мнѣніе большинства, налагаемое какъ законъ на меньшинство, имѣетъ столько же шансовъ быть ошибочнымъ, какъ и быть правильнымъ; оно въ такихъ случаяхъ не болѣе, какъ мнѣніе однихъ о томъ, что хорошо или дурно для другихъ, а часто даже и менѣе, чѣмъ это, и публика руководствуется въ своемъ сужденіи единственно своими собственными наклонностями, относясь съ совершеннымъ равнодушіемъ къ благу или удобству тѣхъ, чьи поступки судитъ. Есть много людей, которые чувствуютъ себя оскорбленными въ своихъ чувствахъ, считаютъ для себя обидой, когда кто либо совершаетъ такой поступокъ, къ которому они имѣютъ отвращеніе; такъ одинъ религіозный изувѣръ на упрекъ, что не уважаетъ въ другихъ религіознаго чувства, отвѣтилъ, что напротивъ другіе не уважаютъ въ немъ его чувства, потому что упорствуютъ въ своихъ заблужденіяхъ. Но между чувствомъ, которое имѣетъ человѣкъ къ своему собственному мнѣнію, и тѣмъ чувствомъ къ этому мнѣнію другаго человѣка, ко-

торый чувствуетъ себя оскорбленнымъ, между двумя этими чувствами такое же отношеніе, какъ между желаніемъ вора взять у меня мой кошелекъ, и моимъ желаніемъ сохранить его. Вкусъ человѣка есть его личное достояніе въ такой же степени, какъ и его мнѣніе или его кошелекъ. Не трудно представить себѣ въ воображеніи такую идеальную публику, которая предоставляетъ каждому индивидууму полную свободу дѣйствовать по своему усмотрѣнію во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые представляютъ какое нибудь сомнѣніе, какъ лучше поступать, и требуетъ только воздержанія отъ такихъ поступковъ, которые уже осуждены всемірнымъ опытомъ; но существовала ли когда нибудь подобная публика, которая ограничивала бы такимъ образомъ свое вмѣшательство? и была ли когда нибудь такая публика, которая заботилась бы о томъ, что говоритъ всемірный опытъ? Вмѣшиваясь въ индивидуальную сферу, она обыкновенно ни о чемъ иномъ и не думаетъ, какъ только о чудовищности такого явленія, что среди ея есть люди, которые дѣйствуютъ и чувствуютъ не такъ, какъ она; и этотъ критеріумъ, едва прикрытый, предъявляютъ человѣчеству, какъ требованіе религіи или философіи, девять десятыхъ пишущей братіи, и моралисты, и философы. Они проповѣдуютъ намъ, что такія то вещи справедливы, потому что онѣ справедливы, потому что мы чувствуемъ, что онѣ справедливы; они учатъ насъ, что мы должны искать

въ нашемъ собственномъ умѣ и въ нашемъ сердцѣ законы поведенія, обязательные какъ для насъ самихъ, такъ и для всѣхъ другихъ людей. И что же дѣлать бѣдной публикѣ, какъ не примѣнять къ дѣлу такія наставленія, и если только въ ней существуетъ единодушіе въ степени сколько нибудь значительной, то какъ же не возводить ей свои личныя чувства въ критеріумъ добра и зла и не признавать ихъ обязательными для всего міра?

Зло, о которомъ идетъ рѣчь, не изъ тѣхъ золъ, которыя существуютъ только въ теоріи, и читатель можетъ быть ожидаетъ, что я представлю примѣры тому, какъ англійская публика нашего времени возводитъ свои наклонности въ нравственныя законы. Я пишу трактатъ не о нравственныхъ заблужденіяхъ нашего времени, — это предметъ слишкомъ важный, чтобъ о немъ можно было говорить мимоходомъ, въ видѣ пояснительныхъ примѣровъ. Тѣмъ не менѣе необходимо привести примѣры, чтобы показать, что высказанный мною принципъ имѣетъ въ наше время серьезное и практическое значеніе, и что я вооружаюсь противъ дѣйствительнаго, а не противъ воображаемаго зла. Не трудно доказать множествомъ примѣровъ, что расширеніе предѣловъ того, что можно назвать нравственной полиціей, составляетъ одну изъ самыхъ всеобщихъ человѣческихъ наклонностей, и что это расширеніе простирается до того, что захватываетъ

даже самую безспорную сферу индивидуальной свободы.

Я укажу прежде всего на тѣ антипатіи между людьми, которыя проистекаютъ единственно изъ того, что, будучи различныхъ религіозныхъ вѣрованій, люди исполняютъ неодинаковые рилигіозные обряды, и въ особенности изъ того, что у нихъ неодинаковая религіозная дисциплина. Припомните этотъ нѣсколько уже избитый фактъ, что, при всемъ различіи и въ догматахъ и въ обрядахъ, ничѣмъ христіанинъ не возбуждаетъ къ себѣ столь сильной ненависти со стороны магометанина, какъ тѣмъ, что ѣстъ свинину. Мало найдемъ мы примѣровъ, чтобы что нибудь внушало христіанину или европейцу болѣе сильное отвращеніе, чѣмъ какое чувствуетъ Магометанинъ къ этому способу утолять голодъ. Причина этого отвращенія заключается не въ томъ, что ѣсть свинину запрещено магометанской религіей: вино также запрещается этой религіей и мусульманинъ осуждаетъ употребленіе вина, а между тѣмъ оно не возбуждаетъ въ немъ отвращенія. Омерзеніе, какое магометанинъ чувствуетъ къ мясу „нечистаго животнаго“, представляетъ ту особенность, что оно имѣетъ совершенно характеръ инстинктивной антипатіи; дѣло въ томъ, что мысль о нечистотѣ, разъ овладѣвъ чувствами человѣка, способна, повидимому, возбуждать самое сильное омерзеніе къ тому, что считается нечистымъ, даже въ тѣхъ людяхъ, которые

сами вовсе не отличаются особенной чистотой. Замѣчательный примѣръ подобнаго чувства, истекающаго изъ представленій о религіозной нечистотѣ, находимъ мы также у индусовъ. Предположимъ теперь, что существуетъ такой народъ, котораго большинство состоитъ изъ магометанъ, и что это большинство никому не дозволяетъ ѣсть свинину. Для магометанскихъ странъ такой фактъ не есть что либо небывалое. (*) Должны ли мы признать, что такое дѣйствіе со стороны большинства будетъ законнымъ пользованіемъ тою нравственною властію, какая должна принадлежать общественному мнѣнію? а если нѣтъ, то почему? Употребленіе въ пищу свинины на самомъ дѣлѣ представляется большинству дѣломъ въ высшей степени гнуснымъ и большинство возмущается этимъ совершенно искренно,—оно совершенно искренно вѣритъ, что ѣсть свинину запрещено Богомъ, что это противно Богу.

(*) Бомбейскіе Парсы (потомки Персовъ огнепоклонниковъ) представляютъ въ этомъ отношеніи весьма любопытный примѣръ. Когда это трудолюбивое и предпріимчивое племя бѣжало съ своей родины отъ калифовъ и переселилось въ Западную Индію, Индѣйскіе владѣтели дозволили ему спокойно жить по его вѣрѣ, но только съ условіемъ, не ѣсть говядины. Когда потомъ эти страны подпали подъ власть Магометанъ, Парсы продолжали пользоваться прежнею вѣротерпимостію, но только съ новымъ ограниченіемъ: не ѣсть свинины. То, что сначала было простымъ исполненіемъ приказаній власти, впослѣдствіи обратилось во вторую натуру, и Парсы до сихъ поръ не ѣдятъ ни говядины, ни свинины; хотя религія ихъ вовсе не требуетъ такого воздержанія, но оно вошло у нихъ въ обычай, а обычай на Востокѣ и есть религія.

На какомъ же основаніи можемъ мы въ этомъ случаѣ признать незаконнымъ вмѣшательство общественнаго мнѣнія? Здѣсь нѣтъ религіознаго преслѣдованія, потому что хотя запрещеніе употреблять въ пищу свиное мясо и имѣетъ своимъ источникомъ религію, но вѣдь нѣтъ такой религіи, которая бы ставила кому нибудь въ обязанность ѣсть свинину. Очевидно, что для осужденія подобныхъ дѣйствій со стороны общества нѣтъ другаго основанія, кромѣ того, что общество не имѣетъ права вмѣшиваться въ то, что есть дѣло личнаго вкуса и касается только самого дѣйствующаго.

Приведемъ другіе примѣры, болѣе къ намъ близкіе. Большинство испанцевъ признаетъ величайшимъ нечестіемъ, въ высшей степени оскорбительнымъ для Бога, если богослуженіе совершается на какой либо другой манеръ, а не на Римско-католическій, и законы Испаніи не дозволяютъ никакого другаго общественнаго богослуженія, кромѣ Римско-католическаго. Народы южной Европы не только признаютъ бракъ духовныхъ дѣломъ противнымъ религіи, но смотрятъ на него, какъ на соблазнъ, какъ на безстыдство, — брачное духовенство составляетъ для нихъ предметъ омерзенія. Что могутъ сказать протестанты противъ этихъ совершенно искреннихъ чувствъ, — противъ ихъ стремленія насильно подчинить своимъ требованіямъ не — католиковъ? Если мы признаемъ, что человѣчество имѣетъ право вмѣшиваться въ инди-

видуальную жизнь даже и въ тѣхъ случаяхъ, которые не касаются интересовъ другихъ людей, то мы не можемъ не признать, что въ обоихъ приведенныхъ нами примѣрахъ нѣтъ ничего, что заслуживало бы осужденія. И на какомъ основаніи, въ самомъ дѣлѣ, можемъ мы въ такомъ случаѣ осуждать людей, когда они стремятся уничтожить то, что по ихъ совершенно искреннимъ убѣжденіямъ есть вмѣстѣ и оскорбленіе Бога и оскорбленіе человѣка? Никакое преслѣдованіе какой бы то ни было индивидуальной безнравственности не можетъ представить себѣ болѣе сильное оправданіе, чѣмъ какое имѣетъ за себя то преслѣдованіе, которое совершается во имя искреннихъ религіозныхъ чувствъ, и намъ ничего болѣе не остается, какъ или принять логику преслѣдователей и сказать вмѣстѣ съ ними, что мы можемъ преслѣдовать другихъ, потому что мы правы, а эти другіе не могутъ преслѣдовать насъ, потому что они не правы, — или же отвергнуть такой принципъ, который справедливъ только тогда, когда онъ за насъ, и составляетъ вопіющую несправедливость, если примѣняется противъ насъ.

На приведенные мною примѣры могутъ замѣтить, что они не имѣютъ никакого практическаго значенія и ничего подобнаго теперь быть не можетъ,—что это совершенная невозможность, чтобы общественное мнѣніе нашей страны стало кого нибудь принуждать что либо ѣсть или не ѣсть, жениться или не

жениться, отправлять то или другое богослуженіе. Хотя такое замѣчаніе совершенно не основательно, но мы тѣмъ не менѣе примемъ его во вниманіе и приведемъ другой примѣръ, еще болѣе къ намъ близкій и болѣе у насъ возможный. Вездѣ, гдѣ только Пуритане были достаточно могущественны, какъ напримѣръ въ Новой Англіи и въ Великобританіи во времена республики, они всегда стремились, и съ значительнымъ успѣхомъ, къ уничтоженію всѣхъ общественныхъ и почти всѣхъ частныхъ удовольствій, въ особенности же они преслѣдовали музыку, танцы, общественныя игры, театры и вообще всякаго рода увеселительныя общественныя собранія. До сихъ поръ еще у насъ, въ Англіи, очень много такихъ людей, которые по своимъ религіознымъ и нравственнымъ понятіямъ строго осуждаютъ всѣ подобнаго рода удовольствія; люди эти принадлежатъ преимущественно къ среднему классу, который имѣетъ преобладающее значеніе при теперешнемъ общественномъ и политическомъ устройствѣ нашей страны, и нѣтъ ничего невозможнаго, что въ одинъ прекрасный день у нихъ будетъ большинство въ парламентѣ. Что скажутъ тогда члены нашего общества, которые не раздѣляютъ пуританскихъ понятій, если ихъ будутъ вынуждать сообразоваться въ своемъ препровожденіи времени съ религіозными и нравственными чувствами строгихъ кальвинистовъ и методистовъ? Не найдутъ ли они тогда желательнымъ, чтобъ эти благочестивые люди заботи-

лись о себѣ, а ихъ оставили бы въ покоѣ? Не то ли же самое должны мы сказать и относительно всякаго правительства, и относительно всякой публики, когда они предъявляютъ притязаніе запретить какое нибудь удовольствіе, потому что находятъ его дурнымъ! Если разъ мы признаемъ въ принципѣ правильнымъ подобное вмѣшательство общества въ сферу индивидуальной свободы, то не будемъ имѣть ни малѣйшаго основанія осуждать то или другое примѣненіе этого принципа, какое заблагоразсудитъ сдѣлать большинство парламента или вообще господствующая власть въ обществѣ,— мы должны будемъ безропотно подчиниться требованіямъ идеальной христіанской общины, какъ ее понимали первые колонисты Новой Англіи, если только ихъ секта, или какая нибудь другая, ей подобная, достигнетъ преобладанія въ обществѣ; а это не представляетъ никакой невозможности, потому что, какъ мы знаемъ по опыту, не рѣдко религіозныя секты, считавшіяся окончательно утратившими свое значеніе, вновь воскресали съ полною силой.

Сдѣлаемъ другое предположеніе, которое можетъ быть еще болѣе возможно, чѣмъ первое. Безспорно, что въ современномъ намъ мірѣ существуетъ сильное стремленіе къ демократическому общественному устройству. Утверждаютъ, что будто въ той странѣ, гдѣ это стремленіе успѣло наиболѣе осуществиться, гдѣ и общество, и правительство отличаются наи-

большимъ демократизмомъ, а именно въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ,—утверждаютъ, что будто бы тамъ большинство смотритъ чрезвычайно неблагопріятно на людей, дозволяющихъ себѣ болѣе блестящій или болѣе дорогой образъ жизни, чѣмъ какой доступенъ самому большинству; что эти чувства большинства имѣютъ тамъ такое сильное вліяніе на общественную жизнь, какъ если бы и въ самомъ дѣлѣ существовали сумптуарные законы, и что во многихъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ человѣкъ, имѣющій большое состояніе, встрѣчаетъ серьезное затрудненіе найдти такой способъ проживать свои доходы, который бы не навлекъ на него общаго осужденія. Хотя подобное утвержденіе преувеличиваетъ, безъ сомнѣнія, то, что существуетъ въ дѣйствительности, но тѣмъ не менѣе оно указываетъ на такой фактъ, который не только не представляетъ ничего необыкновеннаго и не только весьма возможенъ, но и едва ли не составляетъ весьма вѣроятный результатъ, къ которому можетъ придти демократическое чувство вездѣ, гдѣ съ нимъ соединяются такія понятія, что общество имѣетъ право налагать свое veto на тотъ или другой способъ, какимъ индивидуумъ можетъ тратить свои доходы. Если же мы при этомъ еще предположимъ значительное распространеніе соціалисткихъ идей, то нѣтъ ничего невозможнаго, что въ обществахъ образуется такое большинство, которое будетъ считать позоромъ имѣть собствен-

ность выше извѣстнаго незначительнаго размѣра, или жить такими доходами, которые не заработываются физическимъ трудомъ. Понятія, по принципу близко подходящія къ этимъ, уже значительно преобладаютъ въ рабочемъ классѣ, и видимо даютъ уже чувствовать свою тяжесть тѣмъ, которые находятся главнымъ образомъ въ зависимости отъ понятій, господствующихъ въ этомъ классѣ, то есть самимъ же рабочимъ. Извѣстно, что между дурными работниками—а они составляетъ большинство во многихъ родахъ производства—установилось такое мнѣніе, что дурной работникъ долженъ получать ту же заработную плату, какъ и хорошій, и что не слѣдуетъ дозволять, чтобы одинъ работникъ получалъ болѣе, чѣмъ другой, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, потому ли что работаетъ лучше, или потому что вырабатываетъ больше. У нихъ образовалась даже своего рода полиція, которая старается препятствовать тому, чтобы хорошіе работники получали болѣе высшую плату, или чтобы хозяева платили имъ больше, чѣмъ дурнымъ работникамъ, и эта полиція при случаѣ превращается даже въ настоящую полицію, которая дѣйствуетъ не только нравственными, но и прямо физическими средствами. Если разъ мы признаемъ, что общество имѣетъ право на какое нибудь вмѣшательство въ то, что касается только самого индивидуума, то я не вижу никакого основанія, почему мы могли осудить въ этомъ случаѣ

дѣйствія рабочаго класса, почему бы мы могли не признать за отдѣльною частію общества такой же власти надъ составляющими ея индивидуумами, какую признаемъ за всѣмъ обществомъ, вмѣстѣ взятомъ, надъ всѣми индивидуумами безразлично.

Впрочемъ мы не имѣемъ никакой надобности ограничиваться однѣми только предположеніями; мы можемъ указать дѣйствительно существующія въ наше время весьма грубыя нарушенія индивидуальной свободы, и еще болѣе грубыя нарушенія, которыми намъ угрожаютъ въ будущемъ и которыя легко могутъ осуществиться, — и наконецъ мы можемъ указать на такія дѣйствительно существующія въ наше время понятія, которыя признаютъ за обществомъ неограниченное право запрещать закономъ не только все то, что оно признаетъ зломъ, но даже и то, что само по себѣ признается совершенно безвреднымъ, если только это запрещеніе нужно для болѣе полнаго искорененія преслѣдуемаго зла.

Такъ для того, чтобы уничтожить пьянство, въ одной Англійской колоніи и почти въ цѣлой половинѣ Соединенныхъ Штатовъ запрещено было закономъ употреблять крѣпкіе напитки за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда это нужно для леченія, какъ лекарство; собственно говоря, законъ запрещалъ только торговать крѣпкими напитками, но на практикѣ это совершенно было равнозначительно тому, какъ если бы запрещено было ихъ

употреблять, и сторонники закона собственно это и имѣли въ виду. Хотя этотъ законъ и оказался на практикѣ невыполнимъ и потому былъ отмѣненъ во многихъ штатахъ, которые сначала его приняли, и даже въ томъ штатѣ, который далъ ему свое имя, но не смотря на это и у насъ сдѣлана была попытка поднять агитацію въ пользу подобнаго закона, при чемъ нѣкоторые записные филантропы выказали довольно замѣчательное рвеніе. Съ этой цѣлью организовалось у насъ даже особое общество, называвшееся Alliance. Общество это получило нѣкоторую извѣстность, благодаря гласности, какая была дана перепискѣ его секретаря съ однимъ изъ тѣхъ немногихъ государственныхъ людей Англіи, которые признаютъ, что мнѣнія государственнаго человѣка должны быть основаны на принципахъ. Участіе, какое лордъ Стэнли принялъ въ этой перепискѣ, еще болѣе усиливаетъ тѣ надежды, которыя онъ возбудилъ во всѣхъ, кто знаетъ, какъ рѣдко встрѣчаются на нашей политической аренѣ тѣ качества, которыя онъ не разъ уже имѣлъ случай выказать въ своей общественной дѣятельности. Общество въ лицѣ своего секретаря выражаетъ „глубокое сожалѣніе, что его принципъ можетъ быть извращенъ для оправданія фанатизма и преслѣдованія“ и старается доказать, что „широкая и неодолимая преграда“ отдѣляетъ его отъ подобныхъ принциповъ. „Мысль, мнѣніе, совѣсть, я признаю, что все это—говоритъ секре-

тарь общества—внѣ сферы закона; только то, что составляетъ соціальный актъ, что касается до отношеній между членами общества, только то подлежитъ власти не индивидуума, а государства,“ О тѣхъ же актахъ, которые суть не соціальные, а индивидуальные, онъ и не упоминаетъ, а между тѣмъ къ этому именно разряду и принадлежитъ употребленіе крѣпкихъ напитковъ. Но продажа крѣпкихъ напитковъ, могутъ мнѣ замѣтить, есть одинъ изъ видовъ торговли, а торговля есть соціальный актъ. Я замѣчу на это, что зло, которое имѣется въ виду обществомъ, заключается не въ свободѣ продавца, а въ свободѣ покупателя и потребителя, и если государство имѣетъ право принимать мѣры съ цѣлію, чтобъ нельзя было достать крѣпкихъ напитковъ, то оно въ такомъ случаѣ имѣетъ такое же право и прямо запретить ихъ употребленіе. Но секретарь общества утверждаетъ вотъ что: я, какъ гражданинъ, признаю за собой право на такіе законы, „которые бы ограждали меня отъ такихъ соціальныхъ актовъ со стороны моихъ согражданъ, которые препятствуютъ мнѣ пользоваться моимъ соціальнымъ правомъ“. Эти соціальныя права онъ опредѣляетъ такъ: „Ничто въ такой степени не нарушаетъ моихъ соціальныхъ правъ, какъ торговля крѣпкими напитками; она уничтожаетъ мое право на безопасность, потому что создаетъ и непрестанно поддерживаетъ безпорядки въ обществѣ. Она нарушаетъ мое право на равенство, обращая въ свой барышъ

ту подать, которую я плачу на содержаніе бѣдныхъ. Она парализируетъ мое право на свободное, нравственное и умственное развитіе, потому что окружаетъ меня опасностями, ослабляетъ и деморализируетъ общество, отъ котораго я въ правѣ требовать помощи и содѣйствія." Мы здѣсь въ первый разъ встрѣчаемъ подобную систему соціальныхъ правъ; по крайней мѣрѣ мы не знаемъ, чтобъ она до этого была гдѣ нибудь ясно формулирована. Сущность этой системы можно выразить такъ: каждый индивидуумъ имѣетъ абсолютное соціальное право на то, чтобы каждый другой индивидуумъ поступалъ во всемъ, во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно такъ, какъ долженъ,—кто отступаетъ въ чемъ либо отъ того, что долженъ, тотъ нарушаетъ мое соціальное право, и я имѣю право требовать отъ законодательной власти устраненія этого нарушенія. Такой чудовищный принципъ несравненно опаснѣе всякаго вмѣшательства въ индивидуальную свободу, потому что нѣтъ такого нарушенія свободы, которое нельзя было бы имъ оправдать; онъ не оставляетъ за свободой никакихъ правъ, исключая развѣ только права имѣть мнѣнія, но не выражать ихъ, такъ какъ всякое выраженіе такого мнѣнія, которое я признаю вреднымъ, будетъ уже нарушеніемъ моего соціальнаго права. По этой доктринѣ всѣ люди имѣютъ взаимно интересъ въ нравственномъ, умственномъ и даже въ физическомъ совершенствованіи другъ друга и

интересъ этотъ опредѣляется каждымъ по своему собственному критеріуму.

Я укажу еще на другое, весьма важное нарушеніе индивидуальной свободы, которое не есть только угроза, но уже съ давнихъ поръ и въ широкихъ размѣрахъ существуетъ на самомъ дѣлѣ; это—законы о празднованіи воскреснаго дня. Конечно, отдыхать одинъ день въ недѣлю отъ ежедневныхъ своихъ занятій, на сколько это дозволяютъ необходимыя требованія жизни, — конечно это весьма хорошій обычай, хотя онъ и не составляетъ религіозной обязанности ни для кого, кромѣ Евреевъ. Но соблюденіе этого обычая возможно для рабочихъ только при томъ условіи, если его будутъ одинаково соблюдать и всѣ другіе рабочіе, потому что если часть рабочихъ не пріостановитъ свои работы, то и остальные будутъ вынуждены сдѣлать то же самое; поэтому можно признать дозволительнымъ и даже справедливымъ, чтобы законъ въ этомъ случаѣ вмѣшался и гарантировалъ каждому возможность имѣть отдыхъ отъ ежедневныхъ своихъ занятій, установивъ общее, для всѣхъ обязательное, прекращеніе работъ въ извѣстный день недѣли. Такое вмѣшательство закона оправдывается тѣмъ, что каждый имѣетъ непосредственный интересъ, чтобы другіе соблюдали празднованіе воскреснаго дня, потому что иначе лишается возможности имѣть отдыхъ отъ ежедневныхъ своихъ работъ; но это ни въ какомъ слу-

чаѣ не можетъ служить оправданіемъ для такого вмѣшательства со стороны закона, которое бы препятствовало индивидууму проводить этотъ день по своему усмотрѣнію, заниматься тѣмъ, чѣмъ хочетъ,—а тѣмъ болѣе не можетъ это быть оправданіемъ для такого вмѣшательства, которое бы ограничивало индивидуума въ свободномъ выборѣ удовольствій. Правда, — есть такія удовольствія, которыя иначе невозможны, какъ при томъ условіи, чтобы не прекращались нѣкоторыя работы, но мы должны принять во вниманіе, что въ этомъ случаѣ работа не многихъ служитъ для доставленія удовольствія, а можетъ быть даже и полезнаго препровожденія времени весьма многимъ, и исключеніе въ пользу этой работы совершенно оправдывается, если присоединимъ къ этому то условіе, чтобъ она не была принудительною, т. е. чтобъ рабочій не былъ вынужденъ непремѣнно работать въ воскресный день, если самъ того не желаетъ. Рабочіе нисколько не ошибаются въ своемъ разсчетѣ, полагая, что если всѣ будутъ работать въ воскресные дни, тогда заработная плата за всѣ семь дней работы не будетъ больше того, чѣмъ сколько они теперь получаютъ за шесть дней; но если всѣ работы будутъ прекращены и сдѣлано будетъ только исключеніе въ пользу небольшаго числа работъ, необходимыхъ для того, чтобы сдѣлать возможнымъ для большого числа людей пользованіе извѣстными удовольствіями, то такого рода

работа въ день общаго отдыха и при такихъ условіяхъ увеличитъ заработки и не поставитъ рабочаго въ необходимость непремѣнно работать, въ случаѣ если бы онъ пожелалъ промѣнять увеличеніе заработка на отдыхъ. Наконецъ, въ случаѣ нужды можно было бы установить такой обычай, чтобы нѣкоторые классы рабочихъ имѣли свой особый день отдыха, а не общій съ другими. И такъ, стѣсненія личной свободы избирать для себя тотъ или другой родъ удовольствія, какой кому нравится, не имѣютъ въ свое оправданіе никакого основательнаго довода, и защитникамъ этихъ стѣсненій ничего болѣе не остается, какъ опереться на то основаніе, что есть такія удовольствія, которыя осуждаются религіей, — но подобное притязаніе мотивировать законъ религіозными соображеніями заслуживаетъ самого энергическаго протеста. „Deorum injuriae Diis curae“. Для того, чтобъ оправдать подобное притязаніе, надо доказать, что общество или его представители имѣютъ порученіе свыше мстить за оскорбленія Всемогущаго, хотя бы эти оскорбленія и состояли въ такихъ дѣйствіяхъ, которыя не приносятъ вреда никому изъ людей. Такое пониманіе человѣческихъ отношеній, что будто люди имѣютъ обязанность заботиться о религіозности другъ друга, — такое пониманіе и было основаніемъ всѣхъ когда либо бывшихъ религіозныхъ преслѣдованій, и если мы признаемъ это пониманіе правильнымъ, то должны

совершенно оправдать и самыя преслѣдованія. Хотя то чувство, которое въ настоящее время обнаруживается въ постоянно повторяемыхъ попыткахъ прекратить движеніе по желѣзнымъ дорогамъ въ воскресные дни, запереть музеумы и т. п.,— хотя это чувство и не имѣетъ той жесткости, какою отличались чувства религіозныхъ преслѣдователей прежняго времени, но оно свидѣтельствуетъ объ умственномъ состояніи въ сущности совершенно одинаковомъ съ тѣмъ, которое дѣлало людей способными на религіозныя преслѣдованія. Это чувство свидѣтельствуетъ о существованіи желанія не дозволять другимъ дѣлать то, чего не дозволяетъ моя религія, хотя бы по ихъ религіи это и было дозволительно. Оно свидѣтельствуетъ о существованіи той вѣры, что Богъ не только гнѣвится неблагочестивыми поступками невѣрующаго, но гнѣвится и на насъ, если мы дозволяемъ безпрепятственно совершать эти неблагочестивые поступки.

Я не могу удержаться, чтобы не указать еще на одинъ фактъ, который свидѣтельствуетъ, какъ вообще мало цѣнится у насъ свобода человѣка, а именно, на то явное воззваніе къ преслѣдованію, какимъ обыкновенно разражается наша пресса, какъ только приходится ей завести рѣчь о мормонизмѣ. Многое есть, что сказать объ этомъ совершенно неожиданномъ и весьма назидательномъ фактѣ, что, въ нашъ вѣкъ газетъ, желѣзныхъ

дорогъ и электрическаго телеграфа, могло явиться новое откровеніе и даже цѣлая религія, основанная на этомъ откровеніи, и что не смотря на всю очевидность обмана, не смотря на то, что самъ возвѣститель откровенія не имѣлъ за себя никакихъ необыкновенныхъ качествъ, религія эта была увѣрована сотнями тысячъ людей и легла въ основаніе новаго общества. Для насъ важно въ настоящемъ случаѣ то, что эта религія, какъ и другія лучшія религіи, также имѣетъ своихъ мучениковъ, — что ея основатель и пророкъ былъ убитъ за свое ученіе, — что многіе его послѣдователи погибли также насильственною смертью за свою вѣру, — что, наконецъ, всѣ Мормоны были изгнаны изъ той страны, гдѣ образовалась ихъ религія; и многіе изъ моихъ соотечественниковъ не довольствуются даже тѣмъ, что мормонизмъ вынужденъ былъ искать убѣжища въ отдаленной пустынѣ, а открыто объявляютъ, что хорошо было бы (только не совсѣмъ удобно) послать туда къ нимъ экспедицію, чтобы заставить ихъ сообразоваться съ чужими мнѣніями. Многоженство,—вотъ тотъ пунктъ Мормонской доктрины, который главнымъ образомъ возбуждаетъ противъ нихъ антипатію, и эта антипатія столь сильна, что по отношенію къ нимъ забываются обыкновенныя правила вѣротерпимости; мы миримся съ многоженствомъ у Магометанъ, у Индусовъ, у Китайцевъ, но не можемъ помириться съ много-

женствомъ у людей, которые говорятъ по англійски и считаютъ себя христіанами. Я не менѣе, чѣмъ кто либо, осуждаю многоженство Мормоновъ, и осуждаю его по многимъ причинамъ, а между прочимъ и на томъ основаніи, что это учрежденіе не только не опирается на принципъ свободы, а напротивъ, прямо нарушаетъ его: оно только еще болѣе закрѣпляетъ тѣ оковы, въ которыхъ находится половина общества, и освобождаетъ другую половину отъ такихъ обязанностей по отношенію къ первой, которыя требуются взаимностью. Однако при этомъ не слѣдуетъ забывать, что хотя положеніе женщины въ полигамическомъ бракѣ намъ и представляется весьма тяжелымъ, но тѣмъ не менѣе вступленіе въ бракъ у Мормоновъ, не смотря на полигамію, составляетъ со стороны женщины актъ, не менѣе свободный, чѣмъ и при всякомъ другомъ, какомъ либо, брачномъ институтѣ. Какъ ни кажется это поразительнымъ съ перваго взгляда, но если мы примемъ во вниманіе, что идеи и обычаи, общія во всемъ мірѣ, воспитываютъ женщинъ въ тѣхъ понятіяхъ, что бракъ для нихъ есть необходимость, тогда для насъ дѣлается понятнымъ, что находится много такихъ женщинъ, которыя предпочитаютъ лучше быть одною изъ многихъ женъ одного мужа, чѣмъ вовсе не быть женою. Мормоны не предъявляютъ ни малѣйшаго притязанія навязать кому либо свои брачныя отношенія или вообще

свои законы; въ пользу враждебнаго къ нимъ чувства тѣхъ, которые не раздѣляютъ ихъ вѣрованій, они большіе сдѣлали даже уступки, чѣмъ какихъ вправѣ были отъ нихъ требовать; они удалились изъ тѣхъ странъ, для которыхъ ихъ доктрины были нетерпимы, и поселились на отдаленномъ углу земли, который они же первые и сдѣлали обитаемымъ;— послѣ всего этого есть ли какая возможность найдти какое нибудь основаніе для того, чтобы препятствовать имъ жить подъ такими законами, какіе имъ нравятся, если только они ни на кого не нападаютъ и не препятствуютъ своимъ членамъ выступать обратно изъ общины. Одинъ изъ писателей нашего времени, отличающійся во многихъ отношеніяхъ замѣчательными достоинствами, предлагаетъ предпринять противъ этой полигамической общины (такъ онъ выражается) не крестовый походъ, а походъ цивилизаціи, чтобы положить конецъ тому, что, по его понятіямъ, составляетъ попятный шагъ на пути прогресса. Я согласенъ съ тѣмъ, что мормонизмъ есть попятный шагъ, но я не могу согласиться, чтобы какая нибудь община имѣла право насильно заставлять другую общину цивилизоваться. Когда сами тѣ, которые терпятъ отъ дурныхъ законовъ, не просятъ ни чьей помощи, то въ такомъ случаѣ я не могу допустить возможности признать, чтобы люди, совершенно этому непричастные, имѣли какое нибудь право

вмѣшаться и требовать измѣненія существующаго порядка вещей, которымъ довольны всѣ тѣ, кого онъ касается непосредственно, — и требовать на томъ только основаніи, что этотъ порядокъ ихъ скандализируетъ. Замѣтимъ при этомъ, что тѣ люди, отъ имени которыхъ предъявляется притязаніе на подобное право, живутъ на разстояніи нѣсколькихъ тысячъ миль отъ того общества, котораго порядки ихъ скандализируютъ, что никакіе ихъ интересы непосредственно не замѣшаны въ томъ, чтобы существовалъ въ этомъ обществѣ тотъ или другой порядокъ, и что наконецъ они даже не имѣютъ никакихъ непосредственныхъ сношеній съ этимъ обществомъ. Они могутъ, если хотятъ, послать миссіонеровъ проповѣдывать противъ скандализирующихъ ихъ доктринъ,—могутъ законными средствами (заставить молчать противную сторону не принадлежитъ къ числу этихъ средствъ) противодѣйствовать распространенію подобныхъ доктринъ среди членовъ своего общества. Цивилизація одержала верхъ надъ варварствомъ, когда варварство господствовало надъ всѣмъ міромъ: можетъ ли послѣ этого существовать сколько нибудь основательное опасеніе, что варварство воскреснетъ вновь и завоюетъ цивилизацію. Чтобъ цивилизаціи могла дѣйствительно угрожать опасность гибели отъ побѣжденнаго уже ею врага, она должна прежде дойдти до такого нравственнаго разслабленія, чтобы всѣ ея при-

сяжные жрецы и представители, и вообще всѣ, ей причастные, не имѣли ни способности, ни желанія постоять за нее. Если наша цивилизація дѣйствительно такова, то, въ такомъ случаѣ, чѣмъ скорѣе она рухнетъ, тѣмъ лучше,—ей въ такомъ случаѣ ничего болѣе не остается, какъ скорѣе перейдти отъ своего печальнаго положенія къ положенію еще болѣе худшему, для того чтобы скорѣе окончательно рухнуться и потомъ возродиться (какъ Западная Имперія) съ помощью энергическихъ варваровъ.

ГЛАВА V.

Примѣненія.

Необходимо, чтобы высказанные нами принципы сдѣлались болѣе общепринятымъ базисомъ при обсужденіи частныхъ вопросовъ, и только тогда можно ожидать сколько нибудь состоятельнаго ихъ примѣненія въ различныхъ отрасляхъ правительственной и нравственной сферы. Тѣ немногія замѣчанія, которыя я намѣренъ сдѣлать въ этой главѣ касательно нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ, имѣютъ цѣлію, собственно, не развитіе этихъ принциповъ до ихъ послѣднихъ выводовъ, а только нѣсколько большее уясненіе самихъ принциповъ. Я намѣренъ представить, собственно говоря, не примѣненія, а образчики примѣненій, которыя бы уясняли смыслъ и предѣлы обоихъ основныхъ правилъ, составляющихъ сущность изложенной нами доктрины, и которыя могли бы хотя до нѣкоторой степени руководить сужденіемъ, когда оно колеблется, которое

изъ двухъ правилъ примѣнить къ тому или другому частному случаю.

Припомнимъ эти правила: 1) индивидуумъ не подлежитъ никакой отвѣтственности передъ обществомъ въ тѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, которыя не касаются ничьихъ интересовъ, кромѣ его собственныхъ. Совѣтовать, наставлять, убѣждать, избѣгать сношеній, когда признаютъ это нужнымъ для своего блага,—вотъ все, чѣмъ общество можетъ въ этомъ случаѣ справедливо выразить свое неудовольствіе или свое осужденіе. 2) Въ тѣхъ дѣйствіяхъ, которыя вредны для интересовъ другихъ людей, индивидуумъ подлежитъ отвѣтственности и можетъ быть справедливо подвергнутъ соціальнымъ или легальнымъ карамъ, если общество признаетъ это нужнымъ.

Сдѣлаемъ прежде всего одно замѣчаніе въ поясненіе того принципа, что только вредъ или вѣроятность вреда можетъ оправдывать вмѣшательство общества въ дѣйствія индивидуума. Неправильно было бы выводить изъ этого принципа то заключеніе, что будто бы общество имѣетъ всегда право вмѣшаться, когда только усматриваетъ, что дѣйствія индивидуума вредны для другихъ. Есть много такихъ случаевъ, когда индивидуумъ, преслѣдуя совершенно законную цѣль, неизбѣжно, а слѣдовательно и законно причиняетъ вредъ или ущербъ другимъ, или препятствуетъ имъ достигнуть блага, на которое они имѣли основаніе надѣяться. Подобныя

столкновенія между интересами индивидуумовъ происходятъ часто отъ дурныхъ общественныхъ учрежденій и часто бываютъ совершенно неизбѣжны, пока существуютъ эти учрежденія; но есть также такія столкновенія, которыхъ едва ли можно избѣжать при какихъ бы то ни было учрежденіяхъ. Такъ это бываетъ въ случаѣ какого нибудь конкурса или вообще соревнованія, когда многія стремятся къ достиженію какого нибудь предмета и предметъ этотъ достается наконецъ которому нибудь одному изъ соревнователей,—когда получается выгода отъ потерь, отъ неуспѣха и вообще отъ неудачъ другихъ. Общепризнано, что это не только не вредитъ, а напротивъ даже полезно для интересовъ человѣчества, чтобы люди стремились къ достиженію своихъ цѣлей, не останавливаясь предъ такого рода послѣдствіями, т. е. не останавливаясь передъ тѣмъ, что достиженіе ими ихъ цѣлей сопряжено со вредомъ для другихъ. Другими словами: общество не признаетъ никакого права, ни легальнаго, ни нравственнаго, за неуспѣвшимъ соревнователемъ на какое бы то ни было вознагражденіе за подобнаго рода вредъ, и считаетъ себя призваннымъ вмѣшиваться только въ тѣхъ случаяхъ, когда для достиженія успѣха въ соревнованіи прибѣгаютъ къ средствамъ, противнымъ общему интересу,—къ обману или насилію.

Торговля, какъ мы уже сказали, есть актъ соціальный. Индивидуумъ, продавая какой нибудь предметъ, совершаетъ такой актъ, который касает-

ся интересовъ другихъ людей или интересовъ всего общества; слѣдовательно, его дѣйствія въ этомъ случаѣ, согласно съ высказаннымъ нами принципомъ, подлежатъ юрисдикціи общества, и на этомъ основаніи нѣкогда признавалось обязанностію правительства опредѣлять цѣну товаровъ и регулировать ихъ производство. Но теперь, послѣ продолжительной борьбы, пришли наконецъ къ тому сознанію, что какъ дешевизна, такъ и хорошее качество товаровъ, достигаются всего лучше при томъ условіи, когда и производителю, и продавцу предоставляется полная свобода, и если при этомъ покупатель имѣетъ полную свободу пріобрѣтать т[illegible] что ему нужно, тамъ, гдѣ хочетъ. Вотъ въ [illegible] состоитъ такъ называемая доктрина [illegible]ободной торговли. Эта доктрина основа[illegible] на принципѣ, хотя не менѣе прочномъ, но совершенно различномъ отъ принципа индивидуальной свободы. Подчиненіе торговли или производства какимъ либо ограниченіямъ есть, конечно стѣсненіе, и какъ всякое стѣсненіе, оно есть зло потому уже, что оно есть стѣсненіе; но въ этомъ случаѣ оно относится къ такимъ дѣйствіямъ индивидуума, въ которыя общество имѣетъ полное право вмѣшаться, и если его вмѣшательство заслуживаетъ осужденія, то единственно потому только, что не приводило на самомъ дѣлѣ къ тѣмъ послѣдствіямъ, какихъ хотѣли достигнуть. Принципъ индивидуальной свободы, будучи совершенно непричастенъ къ доктринѣ свободной

торговли, равно непричастенъ и къ большей части тѣхъ вопросовъ, которые возникаютъ относительно предѣловъ этой доктрины: такъ напримѣръ, до какой степени можетъ быть допущенъ контроль общества для предупрежденія поддѣлокъ, какого рода санитарныя предосторожности и вообще какія мѣры могутъ быть справедливо сдѣланы обязательными для тѣхъ хозяевъ, у которыхъ рабочіе занимаются работами, опасными для здоровья. Вопросъ о свободѣ имѣетъ развѣ только то отношеніе къ этимъ вопросамъ, что всегда лучше, caeteris paribus, предоставлять людямъ полную свободу, чѣмъ контролировать ихъ; но тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что въ принципѣ контроль въ этихъ случаяхъ совершенно законенъ. Впрочемъ есть и такіе вопросы касательно вмѣшательства въ торговыя дѣла, которыя въ сущности суть вопросы о свободѣ, такъ напр. законъ Мэна, о которомъ мы уже упоминали, — запрещеніе ввозить опіумъ въ Китай, — ограниченія торговли ядами, однимъ словомъ всѣ тѣ случаи, когда вмѣшательство имѣетъ цѣлію сдѣлать невозможнымъ или затруднительнымъ пріобрѣтеніе индивидуумомъ какого нибудь предмета. Подобнаго рода вмѣшательство можетъ быть предметомъ возраженія, но не потому, что нарушаетъ свободу производителя или торговца, а потому что нарушаетъ свободу покупателя.

Одинъ изъ указанныхъ мною примѣровъ, торговля ядами, наводитъ насъ на новый вопросъ,

а именно: до какихъ предѣловъ можетъ простираться такъ называемое полицейское вмѣшательство, до какой степени свобода можетъ быть справедливо стѣсняема ради предупрежденія преступленій или несчастныхъ случаевъ. Предупреждать преступленія составляетъ въ такой же степени неоспоримую обязанность правительства, какъ и открывать преступленія и наказывать ихъ; но дѣло въ томъ, что предупредительная дѣятельность правительства сопряжена съ большею возможностію преступленія, чѣмъ его карательная дѣятельность, такъ какъ едва ли можно указать на такой родъ поступковъ изъ числа законно-принадлежащихъ къ сферѣ индивидуальной свободы, въ которомъ свобода не могла бы быть истолкована, и совершенно основательно, какъ облегченіе совершать тѣ или другіе проступки. Но, тѣмъ не менѣе, если общественная власть, или даже частное лицо, усматриваетъ, что кто либо очевидно готовится совершить какое нибудь преступленіе, то оно не только не обязано оставаться въ бездѣйствіи, пока преступленіе не будетъ совершено, но и можетъ вмѣшаться, чтобы предупредить его совершеніе. Если бы яды не покупались или не употреблялись ни для какихъ иныхъ цѣлей, кромѣ убійства, то въ такомъ случаѣ было бы совершенно справедливо запретить какъ производство ихъ, такъ и продажу; но они нужны и для такихъ цѣлей, которыя не только совершенно невинны, но и въ высшей степени полезны, и всякое

стѣсненіе въ ихъ производствѣ и продажѣ не можетъ не относиться одинаково, какъ къ дурному, такъ и къ хорошему ихъ употребленію. Повторяю еще разъ,—общественная власть должна конечно принимать мѣры предосторожности противъ несчастныхъ случаевъ. Если должностное, или даже частное лицо, усмотритъ, что кто нибудь намѣревается перейдти чрезъ мостъ, чрезъ который нельзя пройдти безъ опасности для жизни, и при этомъ не будетъ имѣть времени предупредить о существованіи этой опасности, то можетъ схватить и попятить назадъ идущаго, и это нисколько не будетъ нарушеніемъ индивидуальной свободы, такъ какъ свобода состоитъ въ томъ, чтобъ мнѣ не препятствовали дѣлать то, что я желаю, а я не имѣю желанія свалиться съ моста въ рѣку. Но если угрожаетъ только опасность, болѣе или менѣе вѣроятная, а не гибель неизбѣжная, то въ такомъ случаѣ самъ индивидуумъ есть единственный компетентный судья въ томъ, слѣдуетъ ли или не слѣдуетъ ему подвергать себя опасности; въ этомъ случаѣ можно только предостеречь его о существующей опасности, но никакъ не болѣе, и никто не имѣетъ права воспрепятствовать ему подвергать себя опасности, если онъ этого хочетъ (разумѣется если только этотъ индивидуумъ—не дитя, не сумашедшій, не находится въ такомъ состояніи возбужденія или разсѣянности, которое несовмѣстимо съ полнымъ обладаніемъ умственными способностями). Примѣненіе

этихъ соображеній къ вопросу о торговлѣ ядами даетъ намъ ключъ для рѣшенія, какіе способы регулировать эту торговлю будутъ противны и какіе будутъ не противны принципу свободы. Такая мѣра предосторожности напримѣръ, чтобы на ядовитомъ веществѣ наклеивался ярлыкъ съ надписью, свидѣтельствующей о его ядовитыхъ свойствахъ, не будетъ нарушеніемъ свободы, потому что покупатель не можетъ желать не знать, что покупаемая имъ вещь имѣетъ ядовитыя свойства. Но требованіе, чтобы ядовитыя вещества продавались не иначе, какъ только лицамъ, которыя предъявятъ удостовѣреніе патентованнаго медика, что эти вещества имъ нужны, — такое требованіе сдѣлаетъ для индивидуума во многихъ случаяхъ невозможнымъ пріобрѣсти то, что ему можетъ быть нужно для цѣлей совершенно законныхъ, и во всякомъ случаѣ вовлечетъ его въ излишнія издержки. По моему мнѣнію существуетъ только одинъ способъ затруднить пріобрѣтеніе ядовитыхъ веществъ для преступныхъ цѣлей, не подвергая при этомъ сколько нибудь значительному нарушенію свободу тѣхъ, которые пожелаютъ ихъ пріобрѣсти для цѣлей законныхъ. Этотъ способъ состоитъ въ томъ, что Бентамъ называетъ „preappointed evidence“. Онъ обыкновенно употребляется при совершеніи контрактовъ. Такъ почти вездѣ принято, и совершенно справедливо, чтобы законъ для признанія за контрактомъ полной обязательной силы требовалъ

соблюденія нѣкоторыхъ формальностей, какъ напр. подписи, свидѣтелей, и том. под.; требованіе это имѣетъ ту цѣль, чтобы, на случай могущаго возникнуть впослѣдствіи спора, обезпечить доказательства, что контрактъ былъ дѣйствительно совершенъ и притомъ совершенъ при такихъ условіяхъ, въ которыхъ не было ни чего, что могло бы лишать его законной силы: такимъ образомъ полагаются большія препятствія къ тому, чтобы могли существовать фальшивые контракты или чтобы совершались такіе контракты, которые не могли бы быть совершены, если бы были извѣстны тѣ обстоятельства, при которыхъ они совершались. Нѣтъ, повидимому, никакого препятствія принять подобныя же предосторожности и относительно торговли такими предметами, которые могутъ быть употреблены, какъ орудіе преступленія. Можно было бы, напримѣръ, установить такое правило, чтобы торгующіе ядовитыми веществами подробно записывали, когда проданъ товаръ, имя и адресъ покупщика, количество и качество проданнаго товара,—чтобы продавецъ каждый разъ спрашивалъ покупщика, для какой надобности покупаетъ онъ ядовитое вещество и записывалъ бы его отвѣтъ; въ тѣхъ случаяхъ, когда ядовитое вещество покупается не по рецепту медика, можно было бы требовать, чтобы при продажѣ присутствовало какое нибудь третье лице, которое могло бы засвидѣтельствовать личность покупателя, если бы потомъ возникло сомнѣніе, не

было ли купленное вещество употреблено для какихъ нибудь преступныхъ цѣлей. Подобное правило не составило бы никакого существеннаго затрудненія для пріобрѣтенія ядовитыхъ веществъ, но весьма значительно затруднило бы только безнаказанное ихъ употребленіе для какихъ либо преступныхъ цѣлей.

Право, присущее обществу, охранять себя предупредительными мѣрами отъ преступленій, которыя могутъ быть совершены противъ него,—право это необходимо влечетъ за собой нѣкоторыя ограниченія того принципа, что дурныя поступки индивидуума, непосредственно касающіеся только его самого, не должны подлежать ничьему вмѣшательству и никакой карѣ. Напримѣръ пьянство, говоря вообще, не есть такой предметъ, въ который законъ имѣлъ бы право вмѣшиваться, но я считаю совершенно правильнымъ, чтобы тотъ человѣкъ, который уже совершилъ какое нибудь насиліе въ пьяномъ состояніи, былъ подвергнутъ особеннымъ, до него только относящимся, легальнымъ ограниченіямъ по употребленію крѣпкихъ напитковъ, чтобъ онъ былъ признанъ подлежащимъ наказанію, если вновь напьется до пьяна, или чтобы ему угрожало болѣе сильное противъ обыкновеннаго наказаніе, если онъ опять совершитъ насиліе въ пьяномъ видѣ. Если уже человѣкъ знаетъ по опыту, что въ пьяномъ состояніи причиняетъ обыкновенно какой нибудь вредъ другимъ людямъ, то уже тѣмъ самымъ, что

напивается пьянъ, онъ совершаетъ проступокъ. То же самое можно сказать и о праздности. Если человѣкъ не получаетъ содержанія на счетъ общества, если онъ не нарушаетъ какого нибудь принятаго имъ на себя условія, то праздность его не можетъ быть предметомъ легальной кары; но если индивидуумъ, вслѣдствіе праздности или вслѣдствіе какой либо другой причины, которая совершенно зависитъ отъ него самого, дѣлается неспособенъ къ исполненію лежащихъ на немъ легальныхъ обязанностей, какъ напр. содержать своихъ дѣтей, то не будетъ ничего несправедливаго насильно сдѣлать его способнымъ исполнять эти обязанности, дать ему напримѣръ какую нибудь обязательную работу, если нѣтъ на это другаго лучшаго средства.

Кромѣ того, есть такіе поступки, которые непосредственно вредны только для тѣхъ, кто ихъ совершаетъ, и слѣдовательно не должны подлежать легальному запрещенію, но когда совершаются публично, становятся нарушеніемъ добрыхъ нравовъ и, входя такимъ образомъ въ категорію поступковъ, обидныхъ для другихъ людей, могутъ справедливо подлежать запрещенію. Къ такого рода поступкамъ принадлежатъ нарушенія приличія. Я не остановлюсь на этомъ, тѣмъ болѣе что это касается предмета моего трактата только косвеннымъ образомъ,—замѣчу только, что много такихъ поступковъ, которые сами по себѣ не предосудительны

и не считаются предосудительными, но становятся проступками, если совершаются публично.

Намъ предстоитъ теперь разсмотрѣть вопросъ совершенно другаго рода и найдти для него такое рѣшеніе, которое было бы согласно съ высказанными нами принципами. Должна ли существовать такая же свобода совѣтовать или поощрять совершеніе поступковъ, какъ и совершать ихъ, когда эти поступки предосудительны, но общество не принимаетъ противъ нихъ никакихъ предупредительныхъ или карательныхъ мѣръ единственно на томъ только основаніи, что непосредственно истекающее отъ нихъ зло падаетъ всею своею тяжестію исключительно на тѣхъ, кто ихъ совершаетъ? Рѣшеніе этого вопроса представляетъ нѣкоторыя затрудненія. Совѣтовать другому совершать извѣстный поступокъ не совсѣмъ одно и то же, что самому его совершить. Давать совѣты или поощрять къ совершенію чего нибудь есть актъ соціальный и поэтому, какъ и вообще всѣ поступки индивидуума, касающіеся другихъ людей, можетъ справедливо подлежать общественному контролю. Такъ представляется съ перваго взгляда; при болѣе же внимательномъ разсмотрѣніи вопроса оказывается, что если разсматриваемый нами случай и не совсѣмъ точно подходитъ подъ опредѣленіе индивидуальной свободы, но, тѣмъ не менѣе, къ нему примѣнимы тѣ же основанія, на которыхъ утверждается принципъ индивидуальной свободы. Если ин-

дивидууму должна быть предоставлена свобода дѣйствовать по своему усмотрѣнію, на свой собственный страхъ, во всемъ, что касается только его самого, то одинаково должна быть ему предоставлена и свобода совѣтоваться съ другими, обмѣниваться мнѣніями, сообщать другимъ свои мысли и воспринимать мысли отъ другихъ. Что дозволительно дѣлать, то должно быть дозволительно и совѣтовать. Вопросъ сомнителенъ только въ томъ случаѣ, когда совѣтодатель извлекаетъ какую нибудь личную выгоду изъ своихъ совѣтовъ, когда подстрекательство къ совершенію поступковъ, осуждаемыхъ обществомъ и государствомъ, становится ремесломъ, съ помощію котораго снискиваютъ себѣ средства къ существованію или вообще добываютъ деньги. Въ этомъ случаѣ вопросъ усложняется; тутъ, очевидно, привходитъ новый элементъ, а именно, существованіе такого класса людей, которыхъ интересы противоположны тому, что признается за общественное благо, и которые самыя свои средства къ существованію черпаютъ изъ противодѣйствія этому благу. Должно ли быть въ этомъ случаѣ допущено вмѣшательство, или нѣтъ? Любодѣяніе, напримѣръ, или игра должны быть терпимы, но сводничанье или содержаніе игорнаго дома принадлежатъ ли также къ такимъ дѣйствіямъ, въ которыхъ должна быть предоставлена индивидууму полная свобода? Случай этотъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые лежатъ

какъ разъ на межѣ между двумя принципами, и съ перваго взгляда затруднительно опредѣлить, который изъ этихъ принциповъ долженъ быть къ нему примѣненъ. Есть аргументы и въ пользу того, и въ пользу другаго. Невмѣшательство имѣетъ на своей сторонѣ тотъ аргументъ, что такое дѣйствіе, которое признается дозволительнымъ, не можетъ сдѣлаться преступнымъ вслѣдствіе того только, что становится обыкновеннымъ занятіемъ, обыкновеннымъ препровожденіемъ времени, или средствомъ къ существованію;—одно изъ двухъ: или это дѣйствіе дозволительно, или оно не дозволительно, но подобныя ограниченія не могутъ быть допущены;— если изложенные выше принципы свободы истинны, то общество не имѣетъ никакого права, какъ общество, брать на себя рѣшеніе, вредно или нѣтъ такое дѣйствіе, которое касается только индивидуума, и оно можетъ въ этомъ случаѣ дѣйствовать только посредствомъ убѣжденія, но никакъ не иначе, и какъ однимъ дозволительно убѣждать, такъ другимъ дозволительно разубѣждать. Въ возраженіе этому аргументу можетъ быть приведено въ пользу другого принципа то основаніе, что хотя общество, или государство, и не въ правѣ брать на себя рѣшеніе, хорошо или вредно какое нибудь дѣйствіе, касающееся только интересовъ индивидуума, но если оно признаетъ это дѣйствіе вреднымъ, то совершенно въ пра-

вѣ, по крайней мѣрѣ, считать вопросъ о его вредности или невредности вопросомъ спорнымъ, — и въ такомъ случаѣ не будетъ ничего несправедливаго со стороны общества, или государства, если оно будетъ стремиться уничтожить вліяніе тѣхъ подстрекателей къ этому дѣйствію, которые не могутъ обсуждать его безпристрастно, такъ какъ имѣютъ непосредственный личный интересъ быть на сторонѣ того, что государство признаетъ вреднымъ, и явно руководятся совершенно посторонними личными цѣлями. Въ подкрѣпленіе этого довода могутъ сдѣлать еще то замѣчаніе, что тутъ не будетъ никакой утраты, никакой жертвы какимъ либо благомъ, если люди освободятся, на сколько это возможно, отъ вліянія такихъ личностей, которые способны поддерживать въ другихъ тѣ или другія наклонности единственно изъ-за своихъ только чисто эгоистическихъ цѣлей, и если люди, глупо или умно, но во всякомъ случаѣ сами, по своему собственному усмотрѣнію, независимо отъ подобныхъ вліяній, будутъ рѣшать, что имъ дѣлать, или недѣлать. Такимъ образомъ, — могутъ сказать сторонники этого мнѣнія, — хотя постановленія касательно азартныхъ игръ и не могутъ быть оправданы въ принципѣ, хотя безспорно, что всѣмъ должно быть предоставлена полная свобода играть у себя дома, или въ домахъ своихъ знакомыхъ, или наконецъ въ сборныхъ мѣстахъ, устраиваемыхъ по

подпискѣ, куда имѣютъ право входа только одни члены и ихъ гости, но тѣмъ не менѣе публичные игорные дома допущены быть не могутъ. Совершенно справедливо, что никакое запрещеніе не можетъ прекратить азартныхъ игръ, и какъ бы тираннически ни распоряжалась полиція, игорные дома всегда будутъ существовать подъ тѣми или другими предлогами, но вслѣдствіе запретительныхъ мѣръ они могутъ быть вынуждены соблюдать до нѣкоторой степени тайну, такъ что ихъ будутъ знать только тѣ, которые именно ищутъ игры, и общество должно совершенно довольствоваться достиженіемъ такого результата. Эти аргументы имѣютъ значительную силу, но я не рѣшаюсь высказать рѣшительное мнѣніе, достаточны ли они для оправданія такой нравственной аномаліи, что пособникъ подвергается наказанію, тогда какъ главный виновникъ признается (и признается справедливо) не подлежащимъ никакому отвѣту,—сводникъ или содержатель игорнаго дома подвергаются штрафу или тюрьмѣ, тогда какъ самъ любодѣй или самъ игрокъ не подлежатъ никакой отвѣтственности. Еще болѣе недостаточны подобнаго рода аргументы для оправданія вмѣшательства въ обыкновенныя операціи купли и продажи. Едва ли найдется такой предметъ торговли, котораго употребленіе не могло бы быть доведено до излишества, и продавцы всегда имѣютъ интересъ въ томъ, чтобы поощрять это

излишество; но на этомъ нельзя основывать никакого аргумента, въ пользу хоть бы напримѣръ закона Мэна, потому что хотя классъ торговцевъ крѣпкими напитками и заинтересованъ въ невоздержномъ ихъ употребленіи, но тѣмъ не менѣе онъ необходимъ, такъ какъ еслибъ его не было, то вовсе прекратилось бы и всякое употребленіе крѣпкихъ напитковъ. Однако то обстоятельство, что эти торговцы сильно заинтересованы въ поощреніи невоздержанія, составляетъ дѣйствительное зло, и этимъ оправдывается то вмѣшательство со стороны государства, что оно налагаетъ на торговлю крѣпкими напитками нѣкоторыя ограниченія и требуетъ гарантій: если бы этого оправданія не было, то подобное вмѣшательство было бы нарушеніемъ законной свободы.

Тутъ возникаетъ еще такой вопросъ: должно ли государство косвеннымъ образомъ противодѣйствовать тому, что хотя оно и дозволяетъ, но тѣмъ не менѣе считаетъ противнымъ благу самого дѣйствующаго; такъ напримѣръ, должно ли оно принимать мѣры къ уменьшенію пьянства, поднимая для этого цѣну на вино или затрудняя пріобрѣтеніе вина посредствомъ ограниченія мѣстъ продажи крѣпкихъ напитковъ. Этотъ вопросъ, какъ и большая часть практическихъ вопросовъ не допускаетъ прямаго, безусловнаго отвѣта. Налогъ на крѣпкіе напитки, съ цѣлію затруднить ихъ пріобрѣтеніе, есть такая мѣра, которая отличает-

ся отъ совершеннаго запрещенія употребленія крѣпкихъ напитковъ только степенью, а не принципомъ, и слѣдовательно можетъ быть оправданъ только въ томъ случаѣ, если мы оправдаемъ совершенное запрещеніе. Всякое возвышеніе цѣны на какой либо предметъ торговли есть запрещеніе употреблять этотъ предметъ тѣмъ, которые не имѣютъ средствъ платить за него увеличенную цѣну, а для тѣхъ, которые имѣютъ средства заплатить, оно есть кара за удовлетвореніе потребности употреблять этотъ предметъ; слѣдовательно, подобная мѣра совершенно противорѣчитъ тому принципу, что избирать для себя тотъ или другой родъ удовольствія, расходовать свои денежныя средства тѣмъ или другимъ способомъ, исполнивъ всѣ свои легальныя и нравственныя обязанности къ государству и къ другимъ индивидуумамъ, что все это составляетъ сферу индивидуальной свободы и должно быть предоставлено личному усмотрѣнію каждаго индивидуума. Съ перваго взгляда можетъ показаться, на основаніи приведенныхъ нами соображеній, что мы должны осудить и обложеніе крѣпкихъ напитковъ налогомъ съ цѣлію полученія дохода. Но при этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе, что налоги съ фискальною цѣлію абсолютно необходимы, что въ большей части государствъ значительная часть доходовъ необходимо должна быть взимаема косвенными налогами, и слѣдовательно государства

не могутъ обойдтись безъ обложенія налогами нѣкоторыхъ предметовъ потребленія, т. е. не могутъ обойдтись безъ того, чтобы не запрещать нѣкоторымъ лицамъ употребленіе извѣстныхъ продуктовъ и не налагать на другихъ кару за ихъ употребленіе. Конечно, государство обязано при установленіи налоговъ заботиться о томъ, чтобы налоги падали на такіе предметы потребленія, безъ которыхъ потребители всего легче могутъ обойдтись, и, à fortiori, избирать для налоговъ преимущественно тѣ предметы, которые положительно вредны, когда употребляются въ неумѣренномъ количествѣ. Вотъ почему налогъ на крѣпкіе напитки не только не подлежитъ осужденію, а, напротивъ, заслуживаетъ одобреніе даже и въ томъ случаѣ, когда онъ высокъ и приноситъ весьма большой доходъ, предполагая при этомъ, конечно, что государство имѣетъ дѣйствительную надобность въ этомъ доходѣ.

Что же касается до вопроса о томъ, должна ли продажа крѣпкихъ напитковъ быть предметомъ болѣе или менѣе исключительной привиллегіи, то отвѣтъ на это долженъ быть различенъ, смотря потому, съ какою цѣлью установляется привиллегія. Безспорно, что полицейскій надзоръ необходимъ въ публичныхъ мѣстахъ, а тѣмъ болѣе онъ необходимъ въ мѣстахъ продажи крѣпкихъ напитковъ, гдѣ проступки противъ общества совершаются всего чаще. Вотъ на какомъ

основаніи могутъ быть оправданы подобныя мѣры, какъ предоставленіе права торговать (по крайней мѣрѣ торговать распивочно) крѣпкими напитками только такимъ людямъ, которые извѣстны своимъ хорошимъ поведеніемъ или представляютъ какія либо въ этомъ гарантіи, — опредѣленіе часовъ для открытія и закрытія питейныхъ заведеній, — лишеніе права торговли въ случаѣ, если бы хозяинъ заведенія оказался виновнымъ въ неоднократно происходившихъ въ его заведеніи безпорядкахъ, нарушающихъ общественное спокойствіе, или если бы его заведеніе сдѣлалось мѣстомъ притона для людей злоумышляющихъ и подготовляющихъ преступленія. Я не думаю, чтобы по принципу можно было оправдать еще какія либо другія мѣры, которыя бы еще болѣе ограничивали торговлю крѣпкими напитками. Такая мѣра напримѣръ, какъ ограниченіе числа кабаковъ съ цѣлію уменьшить соблазнъ для людей, склонныхъ къ пьянству, не только представляетъ то неудобство, что въ этомъ случаѣ ради небольшаго числа индивидуумовъ подвергаются стѣсненію всѣ члены общества, но и по своему характеру она соотвѣтствуетъ только такому состоянію общества, когда рабочіе классы трактуются, какъ дѣти или какъ дикіе, и когда признается необходимымъ держать ихъ подъ такъ называемымъ отеческимъ управленіемъ, которое бы воспитывало ихъ для свободы. Но не такими принци-

пами должно руководиться управленіе рабочихъ классовъ въ свободной странѣ, и никто, знающій настоящую цѣну свободы, не одобритъ подобнаго принципа, исключая развѣ только въ томъ случаѣ, когда уже истощены всѣ усилія воспитать рабочихъ къ свободѣ и управлять ими какъ свободными, и оказалось окончательно невозможнымъ управлять ими иначе, какъ управляютъ дѣтьми. Одна уже прямая постановка этого вопроса обнаруживаетъ до очевидности всю нелѣпость такого предположенія, чтобы, при разсмотрѣніи его, мы должны были принимать во вниманіе такіе случаи, когда всѣ усилія управлять рабочими, какъ свободными людьми, оказались тщетными. Не какой либо другой причинѣ, а единственно тому духу противорѣчія, который составляетъ характеристическую особенность нашихъ учрежденій, обязаны мы тѣмъ, что у насъ нерѣдко допускаются такія стѣсненія индивидуальной свободы, которыя могутъ быть оправданы только при деспотическомъ или такъ называемомъ отеческомъ управленіи, между тѣмъ какъ въ то же время присущій нашимъ учрежденіямъ духъ общественной свободы не допускаетъ эти стѣсненія доходить въ дѣйствительной жизни до такой степени, чтобы они на самомъ дѣлѣ могли имѣть значеніе, какъ мѣры для нравственнаго воспитанія людей.

Признаніе за индивидуумомъ свободы во всемъ, что касается его самого, необходимо ведетъ (какъ

мы это высказали еще на первыхъ страницахъ настоящаго изслѣдованія) къ признанію свободы для какого бы то ни было числа индивидуумовъ входить между собой въ соглашеніе и дѣйствовать на основаніи этого соглашенія во всемъ, что касается только ихъ самихъ и кромѣ ихъ никого другаго не касается. Этотъ вопросъ не представлялъ бы никакихъ затрудненій, еслибы воля лицъ, разъ вошедшихъ въ соглашеніе, оставалась навсегда неизмѣнной; но такъ какъ она можетъ измѣняться, то часто бываетъ необходимо, чтобы люди, входя между собою въ соглашеніе даже по такимъ предметамъ, которые касаются только ихъ самихъ, принимали бы на себя нѣкоторыя обязательства по отношенію другъ къ другу, и если уже разъ индивидуумъ принялъ на себя обязательство по отношенію къ другимъ индивидуумамъ, то необходимо должно быть признано за общее правило, что онъ обязанъ выполнить это обязательство. Но едва ли найдется такая страна, которой законы не допускали бы исключеній изъ этого общаго правила. Не только считается необязательнымъ выполнять такія обязательства, которыми нарушаются интересы третьей стороны, но и признается нерѣдко достаточнымъ основаніемъ къ освобожденію индивидуума отъ принятаго имъ на себя обязательства, если оно для него вредно. Такъ напримѣръ у насъ и въ большей части другихъ цивилизованныхъ государствъ признается

недѣйствительнымъ обязательство, по которому человѣкъ продаетъ себя въ рабство или соглашается на подобную продажу: силу такого рода обязательствъ равно отрицаютъ и законъ и общее мнѣніе. Почему въ этомъ случаѣ власть индивидуума надъ самимъ собою подвергается ограниченію, очевидно само по себѣ. Дѣйствія индивидуума, касающіяся только его самого, признаются неподлежащими ничьему вмѣшательству единственно изъ уваженія къ его индивидуальной свободѣ; свободный выборъ индивидуума принимается за очевидное свидѣтельство, что избранное имъ для него желательно, или покрайней мѣрѣ сносно, и его личное благо признается наилучше для него достижимымъ при томъ условіи, если ему предоставлена будетъ свобода стремиться къ этому благу тѣми путями, какіе признаетъ за лучшіе. Но продажа себя въ рабство есть отрѣченіе отъ своей свободы; это — такой актъ свободной воли индивидуума, которымъ онъ навсегда отрекается отъ пользованія своею свободой, и слѣдовательно, совершая этотъ актъ, онъ самъ уничтожаетъ то основаніе, которымъ условливается признаніе за нимъ права устраивать свою жизнь по своему усмотрѣнію. Съ минуты совершенія этого акта онъ перестаетъ быть свободнымъ и ставитъ себя въ такое положеніе, которое не допускаетъ даже возможности предположить, чтобы онъ могъ оставаться въ немъ по

своей волѣ. Принципъ свободы нисколько не предполагаетъ признанія за индивидуумомъ свободы быть несвободнымъ. Признать за индивидуумомъ право отрѣчься отъ своей свободы не значитъ признавать его свободнымъ. Эти основанія, которыхъ сила столь ярко обнаруживается въ разсматриваемомъ нами случаѣ, имѣютъ очевидно болѣе широкую примѣнимость, и не только по отношенію къ этому крайнему случаю, но онѣ неизбѣжно встрѣчаютъ повсюду предѣлы, далѣе которыхъ не можетъ идти ихъ примѣненіе: необходимыя требованія жизни на каждомъ шагу заставляютъ насъ не отрѣкаться, конечно, отъ нашей свободы, но соглашаться на то или другое ея ограниченіе. Тотъ же самый принципъ, который требуетъ для индивидуума полной свободы во всемъ, что касается его самого, требуетъ также, чтобы индивидуумы, вступившіе другъ съ другомъ въ какія нибудь обязательства по предметамъ, не касающимся третьей стороны, были всегда свободны снять другъ съ друга эти обязательства, и даже едва ли есть такія обязательства, кромѣ только денежныхъ и вообще имущественныхъ, по отношенію къ которымъ можно было бы отрицать свободу выхода для каждой изъ обязавшихся сторонъ. Баронъ Вильгельмъ Гумбольдтъ въ своемъ превосходномъ сочиненіи, о которомъ мы уже упоминали, высказываетъ убѣжденіе, что обязательства, имѣющія предметомъ личныя отношенія или

личныя услуги, ни въ какомъ случаѣ не должны имѣть легальной обязательности иначе, какъ на опредѣленный срокъ, и что самое важное изъ этихъ обязательствъ, бракъ, представляя ту особенность, что самая цѣль его совершенно исчезаетъ, какъ только съ ней не гармонируютъ чувства обѣихъ сторонъ, ничего болѣе не требуетъ для того, чтобы быть признану не существующимъ, какъ только чтобы одна изъ сторонъ выразила свою волю, что онъ не существуетъ. Это предметъ слишкомъ важный и слишкомъ сложный, чтобы о немъ можно было говорить мимоходомъ, и я коснусь его не болѣе, какъ сколько это необходимо для разъясненія занимающаго насъ вопроса. Еслибы сжатостію и общностію своего сочиненія баронъ Гумбольдтъ не былъ вынужденъ ограничиться однимъ только указаніемъ на свое заключеніе по этому предмету, не входя при этомъ въ обсужденіе посылокъ, то онъ безъ сомнѣнія призналъ бы, что для полнаго обсужденія этого предмета недостаточно тѣхъ основаній, которыя онъ выставилъ. Когда человѣкъ обѣщаніями или поступками даетъ основаніе и поощряетъ къ тому, чтобы другой человѣкъ положился на то, что онъ будетъ постоянно поступать извѣстнымъ образомъ, основалъ бы на этомъ свои надежды, свои разсчеты и согласно съ этимъ принялъ бы какія нибудь рѣшенія, которыми въ большей или меньшей степени условливается дальнѣйшая его жизнь,

то въ такомъ случаѣ для этого человѣка возникаетъ цѣлый рядъ нравственныхъ обязанностей, которыми онъ можетъ, конечно, пренебречь, но которыя не признать онъ не можетъ. И если кромѣ того, отношенія между двумя состоящими въ обязательствѣ сторонами породили послѣдствія для другихъ, если они поставили какое нибудь третье лице въ особенное положеніе, или, какъ это бываетъ въ бракѣ, дали существованіе третьему лицу, то по отношенію къ этому третьему лицу на обѣ состоящія въ обязательствѣ стороны падаютъ извѣстныя нравственныя обязанности, и выполненіе этихъ обязанностей, или во всякомъ случаѣ способъ ихъ выполненія, въ значительной степени условливается продолженіемъ или прекращеніемъ того обязательства, изъ котораго онѣ истекли. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, и я никакъ не могу согласиться, чтобы ихъ обязанности могли простираться до такой степени, чтобы требовали выполненія во что бы то ни стало породившаго ихъ обязательства, хотя бы даже и цѣною счастія одной изъ состоящихъ въ обязательствѣ сторонъ, но онѣ составляютъ необходимый элементъ въ вопросѣ, и если даже, какъ утверждаетъ Гумбольдтъ, онѣ и не должны имѣть никакого значенія для легальной свободы выйдти изъ обязательства (я также держусь того мнѣнія, что они не должны имѣть въ этомъ отношеніи большого значенія), то во всякомъ случаѣ они должны

имѣть большое значеніе для нравственной свободы. Человѣкъ обязанъ принять во вниманіе всѣ эти обстоятельства, рѣшаясь на такой шагъ, который можетъ касаться важныхъ интересовъ другихъ людей, и если онъ не воздаетъ этимъ интересамъ должнаго, то нравственно отвѣтственъ за сдѣланное имъ зло. Я остановился на этихъ замѣчаніяхъ единственно только для лучшаго разъясненія общаго принципа свободы, а не потому, чтобы считалъ ихъ необходимыми для разъясненія этого частнаго вопроса, который, напротивъ, обыкновенно разсматривается въ томъ смыслѣ, что какъ будто интересы дѣтей суть все, а интересы взрослыхъ — ничто.

Я уже имѣлъ случай выше замѣтить, что вслѣдствіе отсутствія общепринятыхъ общихъ принциповъ свобода не рѣдко признается тамъ, гдѣ ея не должно быть, и на оборотъ, не рѣдко отрицается тамъ, гдѣ должна быть признана, и что чувство свободы въ новомъ еврепейскомъ мірѣ обнаруживается съ наибольшею силою именно въ томъ случаѣ, гдѣ оно, по моему мнѣнію, совершенно неумѣстно. Человѣкъ долженъ имѣть полную свободу поступать какъ хочетъ во всемъ, что касается только его самого, но нельзя признать за нимъ свободу поступать по своему усмотрѣнію въ томъ, что касается другихъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что дѣла другихъ суть его собственныя дѣла. Государство должно уважать свободу каждаго индивиду-

ума во всемъ, что касается исключительно самого этого индивидуума, но при этомъ оно обязано имѣть самый бдительный надзоръ надъ тѣмъ, какъ индивидуумъ пользуется властію, которую оно дозволяетъ ему имѣть надъ другими людьми. Семейныя отношенія имѣютъ столь непосредственное вліяніе на счастіе людей, что едва ли не должны мы признать за ними большее даже значеніе, чѣмъ за всѣми прочими вмѣстѣ взятыми случаями, когда индивидуумы имѣютъ власть другъ надъ другомъ, а между тѣмъ мы находимъ въ дѣйствительной жизни почти совершенное отсутствіе всякаго контроля надъ этими отношеніями. Мы не находимъ нужнымъ распространяться касательно почти деспотической власти мужей надъ женами, такъ какъ защитники этой несправедливой власти и не пытаются даже оправдать ее предъ требованіями свободы, и притомъ для устраненія этого зла ничего болѣе не требуется, какъ только признать за женами равныя съ мужьями права и сравнить ихъ передъ закономъ со всѣми другими людьми. Относительно же отношеній къ дѣтямъ мы встрѣчаемъ столь превратныя понятія о свободѣ, что эти понятія составляютъ дѣйствительное препятствіе для исполненія государствомъ его обязанностей. Можно подумать, что и въ самомъ дѣлѣ дѣти буквально составляютъ часть своего отца, а не только метафорически,—до такой степени враждебно люди смотрятъ на малѣйшее вмѣ-

шательство закона въ неограниченную и исключительную власть родителей надъ дѣтьми; они относятся къ такого рода вмѣшательству, можно сказать, даже враждебнѣе, чѣмъ къ какому бы то ни было вмѣшательству въ то, что касается только ихъ самихъ: они вообще цѣнятъ власть гораздо выше чѣмъ свободу. Возьмемъ для примѣра хоть воспитаніе. Не составляетъ ли это такую аксіому, которая почти очевидна сама по себѣ, что государство обязано требовать и даже принуждать, чтобы всѣ человѣческія существа, родящіяся его гражданами, получали хотя нѣкоторое воспитаніе? А между тѣмъ много ли найдется людей, которые бы рѣшились открыто признавать и отстаивать эту истину.

Никто, конечно, не станетъ отрицать, что это составляетъ одну изъ самыхъ священныхъ обязанностей для родителей (при существующихъ законахъ и обычаяхъ, правильнѣе сказать: для отца) дать произведенному имъ на свѣтъ существу такое воспитаніе, которое бы дѣлало его способнымъ выполнить предстоящія требованія жизни какъ по отношенію къ самому себѣ, такъ и по отношенію къ другимъ. Всѣ единодушно признаютъ, что отцы обязаны воспитывать своихъ дѣтей, но при этомъ съ не меньшимъ единодушіемъ возстаютъ противъ всякой мысли о какихъ либо принудительныхъ къ тому мѣрахъ. Не только не принуждаютъ родителей дѣлать какія либо усилія для

воспитанія своихъ дѣтей, но предоставляютъ даже совершенно ихъ произволу пользоваться или не пользоваться и тѣми средствами къ воспитанію, которыя они могутъ имѣть совершенно gratis. До сихъ поръ еще люди не признаютъ той истины, что произвести на свѣтъ человѣка, не имѣя въ виду средствъ не только вскормить, но и воспитать и образовать его, есть нравственное преступленіе какъ по отношенію къ этому человѣку, такъ и по отношенію къ обществу,—они до сихъ поръ не признаютъ, что если родители не выполняютъ своихъ обязанностей къ дѣтямъ, то государство должно озаботиться тѣмъ, чтобы эти обязанности были ими выполнены, на сколько это возможно.

Если бы принципъ общаго обязательнаго воспитанія былъ признанъ, то это положило бы конецъ всѣмъ затрудненіямъ касательно того, чему должно учить государство и какъ должно оно учить. Эти затрудненія служатъ теперь полемъ битвы, на которомъ мѣряютъ свои силы разныя секты и партіи, тратя такимъ образомъ на споры о воспитаніи и время, и трудъ, которые могли бы быть употреблены на самое воспитаніе. Если бы правительство признало своею обязанностію требовать, чтобы всѣ дѣти получали хорошее воспитаніе, то этимъ самымъ оно избавило бы себя отъ всякихъ заботъ о доставленіи воспитанія. Оно могло бы тогда предоставлять родителямъ полную свободу

воспитывать своихъ дѣтей, гдѣ и какъ хотятъ, и должно было бы только помогать недостаточнымъ людямъ нести издержки на воспитаніе, или же, смотря по обстоятельствамъ, брать эти издержки на себя. Тѣ совершенно основательныя возраженія, которыя обыкновенно дѣлаются противъ государственнаго вмѣшательства въ дѣло воспитанія, относятся не къ обязательности воспитанія, а къ тому, когда государство беретъ воспитаніе непосредственно на самого себя. Но казенное воспитаніе и обязательное воспитаніе, — это двѣ вещи совершенно различныя. Я не менѣе, чѣмъ кто либо, возстаю противъ той системы, которая хочетъ, чтобы все воспитаніе или большая часть воспитанія народа было въ рукахъ государства. Все, что мы сказали объ индивидуальности, о разнообразіи характеровъ, мнѣній, образовъ жизни, все это съ равною силой относится и къ разнообразію въ воспитаніи. Общее казенное воспитаніе ведетъ къ тому, чтобъ сдѣлать всѣхъ людей похожими другъ на друга, сформировать всѣхъ на одинъ образецъ, и именно на тотъ, который нравится господствующей власти, и все равно, будетъ ли это власть монарха, духовенства, аристократіи, или большинства существующаго поколѣнія, во всякомъ случаѣ, чѣмъ она могущественнѣе, тѣмъ съ большимъ деспотизмомъ властвуетъ она надъ умами и естественнымъ образомъ тяготѣетъ къ тому, чтобы подчинить этому деспотизму и самое тѣло.

Если и можно допустить такое воспитаніе, которое бы давалось и контролировалось самимъ государствомъ, то развѣ только какъ практическое примѣненіе одного изъ возможныхъ способовъ воспитанія, какъ такое примѣненіе, которое бы служило для другихъ способовъ воспитанія примѣромъ и стимуломъ. Конечно, когда общество находится вообще въ такомъ состояніи, что не можетъ или не желаетъ само заботиться о воспитаніи, тогда правительственная власть, имѣя предъ собой два великія зла, должно выбрать меньшее изъ нихъ и взять на себя устройство школъ и университетовъ, какъ оно беретъ иногда на себя выполненіе нѣкоторыхъ большихъ промышленныхъ предпріятій, которыя должны бы были быть дѣломъ частной предпріимчивости, но которыя частная предпріимчивость оказывается несостоятельной выполнить. Замѣтимъ вообще, что тамъ, гдѣ существуетъ достаточное число людей, способныхъ заниматься дѣломъ воспитанія подъ непосредственнымъ руководствомъ правительства, тамъ эти же самые люди были бы способны заниматься и охотно занялись бы своимъ дѣломъ совершенно свободно, безъ всякаго правительственнаго вмѣшательства, если бы только законъ, установляя обязательное воспитаніе и вспоможеніе тѣмъ, которые не въ состояніи нести на себѣ издержки по воспитанію, обезпечивалъ бы имъ такимъ образомъ вознагражденіе за ихъ трудъ.

При существованіи обязательнаго воспитанія,

вся воспитательная дѣятельность правительства могла бы ограничиться только публичной экзаменовкой всѣхъ дѣтей, начиная отъ самаго ранняго возраста. Могъ бы быть установленъ возрастъ, въ который каждый ребенокъ (одинаково какъ мальчикъ, такъ и дѣвочка) должны были бы подвергаться экзамену для удостовѣренія, умѣютъ ли онѣ читать. Если бы ребенокъ оказался не умѣющимъ читать и отецъ не представилъ бы достаточныхъ основаній для оправданія этого незнанія, то въ такомъ случаѣ можно было бы налагать на отца небольшой штрафъ, заставлять его, если это необходимо, уплачивать штрафъ работой и помѣщать ребенка въ школу на его счетъ. Подобные экзамены могли бы возобновляться ежегодно, постепенно увеличивая количество требуемаго знанія, и такимъ образомъ можно было бы достигнуть того, что дѣйствительно сдѣлался бы обязательнымъ для всѣхъ и поддерживался во всѣхъ извѣстный minimum знанія. Кромѣ этихъ экзаменовъ по обязательному для всѣхъ минимуму, могли бы быть установлены добровольные экзамены по всѣмъ предметамъ знанія и могли бы быть желающимъ выдаваемы удостовѣренія въ степени пріобрѣтенныхъ ими познаній. Чтобы подобныя мѣры не обратились въ рукахъ государства въ орудіе для управленія мнѣніями людей, требованія экзаменовъ (кромѣ чисто элементарныхъ частей знанія, какъ напр. языковъ и ихъ употребленія) можно было бы огра-

ничить знаніемъ исключительно только однихъ фактовъ и положительныхъ наукъ. Что же касается до религіи, политики и другихъ спорныхъ предметовъ, то экзамены по этимъ предметамъ, оставляя въ сторонѣ вопросы объ истинѣ или ложности того или другаго мнѣнія, могли бы ограничиваться только одной фактической стороной, что такіе то писатели, школы, церкви держались по извѣстному вопросу такого то мнѣнія, на тѣхъ то основаніяхъ. Поколѣніе, воспитанное по этой системѣ, было бы относительно всѣхъ спорныхъ истинъ не въ худшемъ положеніи, чѣмъ въ какомъ люди находятся теперь; и тогда, какъ теперь, одни становились бы православными, другіе иновѣрцами, и государство только заботилось бы о томъ, чтобы какъ тѣ, такъ и другіе, безразлично имѣли извѣстную степень познаній. Нѣтъ никакого препятствія къ тому, чтобы обучали и религіи, по желанію родителей, въ тѣхъ же самыхъ школахъ, въ которыхъ обучали бы другимъ предметамъ. Всякая попытка со стороны государства дать то или другое направленіе мнѣніямъ своихъ гражданъ по какимъ либо спорнымъ вопросамъ, есть, конечно зло, но въ этомъ нѣтъ никакого зла, чтобъ государство производило повѣрку и удостовѣряло, что такое то лице имѣетъ извѣстныя познанія, дѣлающія его въ большей или меньшей степени способнымъ имѣть свое сужденіе о данномъ предметѣ. Если изучающій философію хочетъ имѣть удосто-

вѣреніе, что онъ знаетъ и систему Локка и систему Канта, то экзаменаторъ долженъ только удостовѣриться, дѣйствительно ли онъ знаетъ эти предметы; но до него вовсѣ не касается, которой изъ этихъ системъ держится экзаменующійся, или не держится ни одной изъ нихъ. Я не вижу никакого основательнаго возраженія, почему бы атеистъ не могъ быть экзаменуемъ, какимъ образомъ доказывается истинность христіанскаго ученія, не требуя отъ него при этомъ, чтобы онъ исповѣдывалъ христіанскую вѣру. По моему мнѣнію экзаменъ изъ высшихъ отраслей знанія долженъ быть необязателенъ. Весьма опасно было бы предоставить правительству власть не допускать до какой либо профессіи, хотя бы даже до профессіи учителя, подъ предлогомъ недостатка требующихся для этого качествъ, и я совершенно раздѣляю мнѣніе Вильгельма Гумбольта, что ученыя степени и вообще всякаго рода дипломы, свидѣтельствующіе о познаніяхъ по какой либо наукѣ или профессіи, должны быть выдаваемы безъ препятствія всѣмъ, кто только пожелаетъ экзаменоваться и выдержитъ экзаменъ, но дипломы эти не должны давать никакихъ преимуществъ предъ соревнователями по профессіи,—они должны имѣть только то значеніе, какое имъ даетъ общественное мнѣніе.

Общераспространенныя неправильныя понятія о свободѣ препятствуютъ признанію нравственныхъ обязанностей со стороны родителей, а въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ и къ узаконенію этихъ обязанностей, не только въ одномъ дѣлѣ воспитанія. Произвести на свѣтъ человѣческое существо, это есть одно изъ тѣхъ дѣйствій, которое влечетъ за собой наибольшую отвѣтственность. Взять на себя такую отвѣтственность, — произвести на свѣтъ человѣческое существо и не обезпечить ему по крайней мѣрѣ тѣхъ общихъ условій, какія необходимы, чтобы сдѣлать для него возможнымъ такое существованіе, которое было бы для него сколько нибудь желательно, — дать жизнь человѣку, не заботясь о томъ, не будетъ ли эта жизнь для него источникомъ однихъ только страданій, есть преступленіе противъ этого человѣка. Въ такой странѣ, которая и безъ того уже имѣетъ чрезмѣрное населеніе, или которой грозитъ излишекъ населенія, рожденіе большаго количества дѣтей влечетъ за собой пониженіе вознагражденія за трудъ и слѣдовательно причиняетъ вредъ всѣмъ тѣмъ, которые живутъ трудомъ. Законы, запрещающіе во многихъ странахъ Европы вступать въ бракъ тѣмъ людямъ, которые не представятъ доказательства, что имѣютъ средства, чѣмъ содержать семью, — такіе законы нисколько не переступаютъ за предѣлы власти, справедливо признаваемой за государствомъ. Достигаютъ ли эти законы своей цѣли или не достигаютъ (что совершенно зависитъ отъ разныхъ мѣстныхъ условій), во всякомъ случаѣ несправедливо было бы ихъ упрекать въ нарушеніи сво-

боды. Государство имѣетъ цѣлію съ помощію этихъ законовъ воспрепятствовать совершенію поступка, столь дурнаго и столь зловреднаго для другихъ, что если онъ и не признается подлежащимъ легальной карѣ, то тѣмъ не менѣе заслуживаетъ не только порицанія, но и самаго сильнаго осужденія со стороны общества. Но, не смотря на это, общераспространенныя идеи о свободѣ, которыя такъ легко мирятся съ дѣйствительными нарушеніями индивидуальной свободы въ предметахъ, касающихся только самихъ индивидуумовъ, возстаютъ противъ всякаго стѣсненія индивидуума по удовлетворенію такихъ наклонностей, которыхъ удовлетвореніе обрекаетъ человѣка или даже нѣсколькихъ человѣкъ на жизнь, полную бѣдствій и страданій, и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезъ это причиняетъ зло и другимъ людямъ, которымъ приходится быть съ этими несчастными въ близкихъ сношеніяхъ. Если бы мы положились на то странное уваженіе и не менѣе странное неуваженіе, какое люди оказываютъ свободѣ, то должны были бы признать, что индивидуумъ имѣетъ право дѣлать вредъ другимъ и не имѣетъ права дѣлать того, что ему нравится и что никому не вредитъ.

Я намѣренъ закончить мое изслѣдованіе рядомъ вопросовъ касательно такого правительственнаго вмѣшательства, которое, строго говоря, не входитъ въ предметъ настоящаго изслѣдованія, но тѣмъ не менѣе находится съ нимъ въ

тѣсной связи. Я намѣренъ говорить о тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ доводы противъ правительственнаго вмѣшательства опираются не на принципъ свободы, гдѣ дѣло идетъ не о стѣсненіи дѣйствій индивидуума, а о томъ, чтобы помогать его дѣйствіямъ. Тутъ вопросъ возникаетъ о томъ: должно ли правительство въ нѣкоторыхъ случаяхъ само что либо дѣлать или помогать къ сдѣланію чего либо, что полезно для индивидуумовъ, или же должно воздерживаться отъ всякаго подобнаго вмѣшательства и предоставлять индивидуумовъ ихъ собственнымъ силамъ, чтобы они сами достигали желаемаго, дѣйствуя индивидуально или сообща, въ формѣ какой либо ассоціаціи.

Противъ этого правительственнаго вмѣшательства, не заключающаго въ себѣ нарушенія свободы, могутъ быть сдѣланы такого рода возраженія.

Во первыхъ: индивидуумы всегда лучше сдѣлаютъ, чѣмъ правительство, всякое дѣло, которое до нихъ касается. Говоря вообще, никто такъ не способенъ управлять какимъ либо дѣломъ, указать, какъ и кѣмъ должно быть оно сдѣлано, какъ тѣ, которые лично заинтересованы въ этомъ дѣлѣ. Этотъ принципъ заключаетъ въ себѣ осужденіе вмѣшательства законовъ и администраціи въ обыкновенныя промышленныя операціи. Такое вмѣшательство было нѣкогда явленіемъ весьма обыкновеннымъ. Впрочемъ эта сторона вопроса удовлетворительно разобрана экономистами и не предста-

вляетъ никакой особенности по отношенію къ занимающему насъ предмету.

Второе возраженіе гораздо ближе касается нашего предмета. Есть много такихъ дѣлъ, къ исполненію которыхъ частныя лица оказываются, обыкновенно, менѣе способными, чѣмъ правительственные чиновники, но тѣмъ не менѣе желательно, чтобы эти дѣла исполнялись частными лицами, а не правительствомъ, —желательно потому, что предоставленіе ихъ частной дѣятельности служитъ могущественнымъ средствомъ къ умственному воспитанію индивидуумовъ и развитію ихъ способностей, къ упражненію ихъ способности сужденія, къ ближайшему ихъ ознакомленію съ тѣми или другими предметами, до нихъ касающимися. Вотъ въ чемъ заключается не единственный, конечно, но главный доводъ въ пользу присяжныхъ (это замѣчаніе не относится, разумѣется, до политическихъ дѣлъ), въ пользу свободныхъ мѣстныхъ и муниципальныхъ учрежденій, въ пользу веденія большихъ промышленныхъ и филантропическихъ предпріятій посредствомъ свободныхъ ассоціацій. Очевидно, что тутъ идетъ дѣло, собственно, не о свободѣ, а о развитіи, и что все это имѣетъ съ свободой только косвенную связь. Здѣсь не мѣсто распространятся о томъ, что предоставленіе этихъ дѣлъ частной дѣятельности, дѣйствительно, имѣетъ великое значеніе для народнаго воспитанія, что оно, дѣйствительно, воспитываетъ гражданина, со-

ставляетъ практическую сторону политическаго воспитанія свободнаго народа, выводитъ индивидуума изъ узкаго круга личныхъ и семейныхъ стремленій и вводитъ его въ сферу общихъ интересовъ, пріучаетъ его къ веденію общихъ дѣлъ; дѣлаетъ способнымъ дѣйствовать не по эгоистическимъ только побужденіямъ, направляетъ его дѣятельность къ такимъ цѣлямъ, которые соединяютъ, а не разъединяютъ людей. Тамъ, гдѣ индивидуумы находятся въ условіяхъ, препятствующихъ развитію въ нихъ этихъ качествъ, тамъ свободныя политическія учрежденія не могутъ дѣйствовать надлежащимъ образомъ и не могутъ долго сохраняться, какъ мы видимъ этому много примѣровъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ политическая свобода не имѣетъ твердаго базиса въ гражданской свободѣ. Завѣдываніе мѣстныхъ дѣлъ самими мѣстностями, веденіе большихъ промышленныхъ предпріятій посредствомъ свободнаго соединенія индивидуальныхъ силъ, все это имѣетъ на своей сторонѣ всѣ тѣ преимущества, которыя, какъ мы выше объяснили, принадлежатъ вообще индивидуальному развитію и разнообразію способовъ дѣйствія. Правительственная дѣятельность всегда во всемъ и по всюду имѣетъ наклонность къ однообразію. Напротивъ, дѣятельность индивидуальная и посредствомъ свободныхъ ассоціацій всегда отличается наклонностію къ безконечному разнообразію. Все, что въ этомъ отношеніи государство можетъ дѣлать полезнаго, это—быть, такъ сказать, цен-

тральнымъ складочнымъ мѣстомъ, откуда бы всѣ могли черпать то, что уже извѣдано опытомъ другихъ людей. Не препятствовать своимъ гражданамъ производить новые опыты, а напротивъ, заботиться о томъ, чтобы каждый, желающій произвести новый опытъ, могъ воспользоваться всѣми по этому предмету опытами другихъ людей—вотъ въ чемъ состоитъ обязанность государства.

Третій и самый сильный доводъ въ пользу ограниченія правительственнаго вмѣшательства заключается въ томъ, что всегда въ высшей степени вредно увеличивать правительственную власть безъ крайней къ тому необходимости. Всякое расширеніе правительственоой дѣятельности имѣетъ то послѣдствіе, что усиливаетъ правительственное вліяніе на индивидуумовъ, увеличиваетъ число людей, возлагающихъ на правительство свои надежды и опасенія, превращаетъ дѣятельныхъ и честолюбивыхъ членовъ общества въ простыхъ слугъ правительства. Если бы дороги, банки, страхованіе, большія акціонерныя предпріятія, университеты, благотворительныя учрежденія, если бы все это было дѣломъ правительственнымъ, и въ добавокъ къ этому, если бы муниципальныя корпораціи и мѣстныя учрежденія, со всѣми теперешними ихъ атрибутами, были простыми органами центральной администраціи, которыя завѣдывались бы чиновниками по назначенію и на жалованьи отъ правительства, то при такихъ условіяхъ сво-

бода изчезла бы и вообще свободныя учрежденія, какъ у насъ, въ Англіи, такъ и во всякой странѣ, могли бы существовать только номинально,—и зло отъ такого порядка вещей было бы тѣмъ болѣе, чѣмъ съ большимъ искуствомъ и съ большимъ знаніемъ дѣла была бы устроена административная машина, и чѣмъ способнѣе были бы тѣ руки и тѣ головы, съ помощію которыхъ она бы работала. Въ послѣднее время въ Англіи предлагали ввести такую мѣру, чтобы всѣ должности по гражданской службѣ, занимаемыя теперь по назначенію отъ правительства, замѣщались по конкурсу; такимъ образомъ полагали пріобрѣсть для гражданской службы самыхъ способныхъ и образованныхъ людей. Многое было сказано и написано по этому случаю и за, и противъ подобной мѣры. Одинъ изъ главныхъ аргументовъ, на который особенно сильно напирали противники этой мѣры, состоялъ въ томъ, что государственная служба не даетъ достаточнаго вознагражденія и не представляетъ такой привлекательной перспективы, чтобы привлечь къ себѣ лучшія дарованія, —что другія профессіи, служба въ частныхъ обществахъ и въ другихъ частныхъ учрежденіяхъ, всегда будутъ представлять для талантливыхъ людей карьеру, болѣе для нихъ привлекательную. Ничего не было бы удивительнаго, еслибъ этотъ аргументъ былъ приведенъ защитникомъ обсуждавшейся системы въ отвѣтъ на главное затрудненіе, какое она представляетъ; но нельзя не удивляться тому, что

ея противники представляли, какъ главный противъ нея аргументъ, именно то, что составляетъ въ ней, такъ сказать. предохранительный клапанъ. Такая система, которая имѣла бы своимъ результатомъ привлеченіе на государственную службу всѣхъ лучшихъ дарованій, представляла бы, конечно, серьезную опасность. Если правительство возьметъ на себя удовлетвореніе всѣхъ этихъ общественныхъ потребностей, для удовлетворенія которыхъ необходимо организованное дѣйствіе сообща, широкая обдуманная предпріимчивость, и если при этомъ оно привлечетъ къ себѣ на службу самыхъ способныхъ людей, то тогда въ государствѣ образуется многочисленная бюрократія, въ которой сосредоточится все высшее образованіе, вся практическая интеллигенція страны (мы исключаемъ изъ этого чисто спекулятивную интеллигенцію),—вся остальная часть общества станетъ по отношенію къ этой бюрократіи въ положеніе опекаемаго, будетъ ожидать отъ нея совѣтовъ и указаній, какъ и что ей дѣлать,— тогда честолюбіе самыхъ способныхъ и дѣятельныхъ членовъ общества обратится на то, чтобы вступить въ ряды этой бюрократіи, и разъ вступивъ, подняться какъ можно выше по ступенямъ ея іерархіи. При такомъ порядкѣ вещей вся та часть общества, которая находится внѣ бюрократіи, сдѣлается совершенно неспособной, по недостатку практическаго опыта, обсуждать или сдерживать бюрократическую дѣятельность, и если

случится, что вслѣдствіе какого нибудь насильственнаго переворота или, можетъ быть, и безъ нарушенія обыкновеннаго хода государственныхъ учрежденій, въ главѣ правительства очутится правитель или правители, одушевляемые реформаторскими стремленіями, то этотъ правитель или правители не въ состояніи будутъ сдѣлать ничего такого, что было бы противно интересамъ бюрократіи. Таково теперь печальное положеніе нѣкоторыхъ государствъ, судя по свидѣтельству тѣхъ, которые имѣли возможность наблюдать существующій тамъ порядокъ вещей. Правитель совершенно безсиленъ противъ бюрократической корпораціи; конечно, онъ можетъ сослать въ ссылку любаго изъ ея членовъ, но онъ не можетъ управлять безъ нея или противно ея интересамъ. На всякій правительственный декретъ бюрократія можетъ безмолвно наложить свое veto тѣмъ, что просто не будетъ его выполнять. Въ бюрократическихъ странахъ, которыя успѣли уже достичь болѣе высшей степени цивилизаціи, и которыя одарены меньшею дозою терпѣнія, тамъ общество, привыкши къ тому, чтобы все за него дѣлалось государствомъ, или привыкши, по крайней мѣрѣ, ничего не дѣлать, не испросивъ на то дозволенія отъ государства, или даже указанія, какъ и что дѣлать, — тамъ общество естественнымъ образомъ возлагаетъ на государство отвѣтственность во всякомъ злѣ, какое съ нимъ приключается, и когда это зло

превышаетъ его терпѣніе, то оно возстаетъ противъ правительства и производитъ то, что называется революціей; революція эта кончается обыкновенно тѣмъ, что кто нибудь, съ согласія или безъ согласія народа, овладѣваетъ властію, отдаетъ приказанія бюрократіи, и все опятъ идетъ тѣмъ же порядкомъ, какъ шло прежде: остается неизмѣнно тотъ же бюрократическій порядокъ, потому что ничего не оказывается, что было бы способно замѣнить бюрократію.

Совсѣмъ другое находимъ мы у того народа, который привыкъ самъ заботиться о своихъ дѣлахъ. Во Франціи большая часть населенія перебываетъ въ военной службѣ и въ его средѣ всегда находится много людей, которые дослужились до какого нибудь офицерскаго чина, и потому при народныхъ движеніяхъ тамъ всегда оказываются люди, способные импровизировать сколько нибудь сносный планъ дѣйствія и руководить его исполненіемъ. Какъ французы находчивы въ военныхъ предпріятіяхъ, такъ находчивы американцы въ дѣлахъ гражданскихъ. Отнимите у американцевъ ихъ правительство, и первая кучка американцевъ организуетъ вамъ сейчасъ же новое правительство, и поведетъ любую отрасль управленія съ удовлетворительнымъ пониманіемъ, порядкомъ и твердостію. Такимъ долженъ быть всякій свободный народъ, и тотъ народъ, который имѣетъ эти качества, не можетъ не быть свободенъ,—онъ никогда не допуститъ, чтобъ кто

бы то ни было, будетъ ли это одинъ человѣкъ или цѣлая корпорація, захвативъ власть, сдѣлалъ его своимъ рабомъ. Никакая бюрократія не въ состояніи принудить такой народъ дѣлать или терпѣть что нибудь, чего онъ не хочетъ. Но тамъ, гдѣ все дѣлаетъ за народъ бюрократія, тамъ ничто не можетъ быть сдѣлано, что противно интересамъ бюрократіи. Политическая организація бюрократическихъ странъ предоставляетъ намъ сосредоточеніе всего опыта, всей практической способности народа въ одну дисциплинированную корпорацію для управленія остальною его частію,—и чѣмъ совершеннѣе эта организація, чѣмъ болѣе привлекаетъ она къ себѣ способности изъ всѣхъ слоевъ общества, чѣмъ успѣшнѣе воспитываетъ она людей для своихъ цѣлей, тѣмъ полнѣе общее порабощеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и порабощеніе самихъ членовъ бюрократіи. Въ такихъ странахъ правители на столько же рабы бюрократической организаціи и дисциплины, на сколько управляемые—рабы правителей. Китайскій мандаринъ есть въ такой же степени орудіе и креатура деспотизма, какъ и самый послѣдній земледѣлецъ. Каждый іезуитъ есть полный рабъ своего ордена, хотя самый орденъ и существуетъ только ради коллективной силы и значенія своихъ членовъ.

Не надо также забывать, что поглощеніе всѣхъ лучшихъ способностей страны въ правительственную корпорацію рано или поздно дѣлается бѣдственнымъ

для умственной дѣятельности и прогрессивности самой этой корпораціи. Будучи крѣпко сплочена,— дѣйствуя какъ система, и слѣдовательно, какъ и всѣ системы, руководясь въ своихъ дѣйствіяхъ извѣстными разъ установленными правилами, правительственная корпорація подвергается постоянно искушенію впасть въ безпечную рутину, превратиться въ мельничную лошадь, и когда она разъ впадетъ въ такое состояніе, то если по временамъ и выходитъ изъ него, такъ развѣ только увлекаясь какой нибудь незрѣлой идеей, успѣвшей завладѣть фантазіею одного изъ руководящихъ ею членовъ. Эти наклонности, общія всѣмъ бюрократическимъ корпораціямъ, находятся между собой въ тѣсной связи, хотя, повидимому, и противорѣчатъ одна другой. Единственно, что можетъ сдерживать эти наклонности, что можетъ служить стимуломъ для поддержанія способностей бюрократіи на извѣстной степени высоты, это — если способности бюрократіи будутъ предметомъ неусыпной критики со стороны другихъ не менѣе сильныхъ способностей, находящихся внѣ ея. Но для этого необходимо существованіе такихъ условій, при которыхъ могли бы, независимо отъ правительства, формироваться люди способные и пріобрѣтать тѣ качества и ту опытность, безъ которыхъ невозможно правильное сужденіе о важныхъ практическихъ дѣлахъ. Если вы хотите имѣть постоянно хорошую корпорацію чиновниковъ, и притомъ такую корпорацію, котор ая

была бы способна создавать улучшенія и имѣла бы охоту ихъ воспринимать, — если вы хотите, чтобъ ваша бюрократія не переродилась въ педантократію, то не допускайте, чтобы она сосредоточивала въ себѣ всѣ занятія, которыя образуютъ и воспитываютъ способности, необходимыя для управленія людьми.

Указать тотъ пунктъ, за который коллективная сила общества, управляемая признанными ея руководителями, не должна заходить въ своемъ стремленіи къ устраненію препятствій, лежащихъ на пути къ достиженію общаго блага, — указать тотъ пунктъ, съ котораго примѣненіе этой силы становится вреднымъ для свободы и прогресса, или правильнѣе сказать, съ котораго зло отъ примѣненія этой силы начинаетъ преобладать надъ истекающимъ изъ нея добромъ — сохранить на сколько возможно всѣ выгоды, какія представляетъ политическая и интеллектуальная централизація, избѣгая при этомъ чрезмѣрнаго поглощенія частной дѣятельности правительственною, вотъ — одинъ изъ самыхъ трудныхъ и самыхъ сложныхъ вопросовъ въ наукѣ управленія. Это — такой вопросъ, который не допускаетъ общаго абсолютнаго рѣшенія; его рѣшеніе условливается главнымъ образомъ практическими подробностями, требуетъ принятія во вниманіе весьма многочисленныхъ и разнообразныхъ соображеній. Впрочемъ я полагаю возможнымъ признать слѣдующее общее правило, какъ

практическій принципъ, который можно безопасно принять въ руководство, какъ идеалъ, который надо имѣть постоянно въ виду, какъ критеріумъ, по которому слѣдуетъ обсуждать всѣ мѣропріятія къ преодоленію препятствій: наивозможно большее раздробленіе власти при полномъ достиженіи тѣхъ цѣлей, какія должна имѣть власть, и вмѣстѣ съ этимъ наивозможно большая централизація знанія и наивозможно большее изліяніе этого знанія отъ центра. Такъ въ муниципальной администраціи, подобно тому, какъ это существуетъ въ штатахъ Новой Англіи, всѣ мѣстныя дѣла, не подлежащія непосредственному завѣдыванію тѣхъ, кого непосредственно касаются, должны быть раздробляемы между отдѣльными должностными лицами, избранными мѣстнымъ населеніемъ, и кромѣ того каждый особый родъ мѣстныхъ дѣлъ долженъ подлежать надзору особаго центральнаго учрежденія, которое составляло бы часть общаго правительства. Органъ этого центральнаго надзора долженъ сосредоточивать въ себѣ, какъ въ фокусѣ, все разнообразное знаніе и весь опытъ, какіе только могутъ быть почерпнуты изъ того, что дѣлается во всѣхъ мѣстностяхъ по извѣстной отрасли общественныхъ дѣлъ, а также изъ того, что дѣлается по этому предмету въ другихъ странахъ, и наконецъ изъ общихъ принциповъ политической науки. Этотъ центральный органъ долженъ имѣть право знать все, что только дѣлается по его

предмету, и его спеціальна
состоять въ томъ, чтобы дѣ
имъ знаніе полезнымъ для других
полагать, что, будучи поставленъ на
соту, которая дѣлаетъ для него доступной
широкую сферу для наблюденія, подобный органъ будетъ чуждъ мелкихъ предразсудковъ и узкихъ взглядовъ, свойственныхъ мѣстнымъ органамъ, и его мнѣнія будутъ имѣть большой авторитетъ; но власть его, по моему мнѣнію, должна ограничиваться только понужденіемъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ къ исполненію законовъ, данныхъ имъ въ руководство. Во всемъ томъ, что не предусмотрѣно общими правилами, мѣстныя должностныя лица должны быть предоставлены своему собственному сужденію подъ личною отвѣтственностію предъ своими избирателями. За нарушеніе правилъ эти лица должны быть отвѣтственны передъ закономъ, а самыя правила должны быть установляемы законодательною властію. Центральная административная власть должна только наблюдать за исполненіемъ законовъ, и если законы не исполняются надлежащимъ образомъ, то, смотря по роду дѣла, должна или обратиться къ суду для возстановленія силы закона, или къ избирателямъ для устраненія отъ должности лица, не исполняющаго законы, какъ слѣдуетъ. Нѣчто, похожее на такой центральный органъ надзора, какой мы предположили, представляетъ бюро за-

…or law Board), имѣющее на-
…ать за администраторами налога
… (Poor Rate). Хотя власть этого
…переходитъ за предѣлы той власти, какая,
… нашему мнѣнію, должна принадлежать цен-
тральному надзирающему органу, но въ этомъ част-
номъ случаѣ такое расширеніе власти было спра-
ведливо и необходимо, такъ какъ этому бюро
предстояло искоренить глубоко вкоренившіяся при-
вычки дурной администраціи и, притомъ, дѣло шло
о такомъ предметѣ, который глубоко затрогиваетъ
не только интересы мѣстностей, но и интересы
всего общества. И въ самомъ дѣлѣ, нельзя же
вѣдь признать, чтобы какая нибудь мѣстность
имѣла нравственное право чрезъ дурное веденіе
своихъ дѣлъ превращать себя въ гнѣздо пауне-
ризма, потому что этотъ пауперизмъ неизбѣжно
будетъ переходить на другія мѣстности и такимъ
образомъ вредить нравственному и физическому
благосостоянію всего рабочаго класса. Впрочемъ
если въ данномъ случаѣ и можетъ быть совер-
шенно оправдана та административная и законо-
дательная власть, какая предоставлена бюро за-
кона о бѣдныхъ (и которою это бюро пользуется
весьма умѣренно, благодаря господствующему на
этотъ счетъ въ обществѣ мнѣнію), такъ какъ тутъ
дѣло идетъ о первостепенномъ интересѣ всего на-
рода, но ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть
оправдано предоставленіе подобной власти такому

органу, который надзираетъ за интересами чисто мѣстными. Существованіе центральныхъ надзирающихъ органовъ было бы равно полезно по всѣмъ отраслямъ администраціи. Никогда не можетъ быть излишней такая дѣятельность правительства, которая не препятствуетъ индивидуальной дѣятельности и индивидуальному развитію, а только помогаетъ имъ, поощряетъ ихъ. Зло начинается тамъ, когда вмѣсто того, чтобы вызывать людей на дѣятельность индивидуальную или коллективную, правительство замѣняетъ ихъ дѣятельность своею собственною, когда вмѣсто того, чтобы служить источникомъ, откуда каждый могъ бы черпать нужныя ему свѣденія, вмѣсто того чтобы совѣтовать, а въ случаѣ нужды и призывать на судъ, оно заставляетъ людей работать противъ ихъ воли или стоять въ сторонѣ, сложа руки, и само за нихъ дѣлаетъ то, что они должны были бы дѣлать. Въ концѣ концовъ государство всегда бываетъ не лучше и не хуже, чѣмъ индивидуумы, его составляющіе. Если оно предпочтетъ административное искуство или, лучше сказать, эту кажущуюся способность, которая пріобрѣтается практическимъ занятіемъ подробностями какого нибудь дѣла, — если оно это предпочтетъ широкому и высокому индивидуальному развитію и умалитъ такимъ образомъ своихъ гражданъ, чтобы сдѣлать ихъ послушнымъ въ своихъ рукахъ орудіемъ для достиженія хотя бы даже и

благихъ цѣлей, то не замедлитъ оно убѣдиться, что съ маленькими людьми нельзя сдѣлать ничего великаго, и что превосходная его машина, для совершенства которой оно всѣмъ пожертвовало, ни къ чему не пригодна по причинѣ отсутствія жизненной силы, которую оно задавило, чтобъ облегчить ходъ своей машины.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Утилитаріанизмъ.

Стр.

ГЛАВА I. — Общія замѣчанія 3

ГЛАВА II. — Что такое утилитаріанизмъ. . . . 14

ГЛАВА III. — О верховной санкціи принципа пользы 61

ГЛАВА IV. — О доказательности принципа пользы 80

ГЛАВА V. — Какая связь между справедливостію и пользою 96

О Свободѣ.

ГЛАВА I. — Введеніе 151

ГЛАВА II. — О свободѣ мысли и критики 183

ГЛАВА III. — Объ индивидуальности, какъ объ одномъ изъ элементовъ благосостоянія 270

ГЛАВА IV. — О предѣлахъ власти общества надъ индивидуумомъ 314

ГЛАВА V. — Примѣненія 360

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	строка.	*Напечатано.*	*Слѣдуетъ читать.*
6	12	средствомъ: къ	средствомъ къ
9	18	Бантамъ	Бэнтамъ
—	20	нравственныя	нравственныхъ
—	22	философскія	философская
22	23—4	удовленіе	удовлетвореніе
31	5	ассивомъ	пассивомъ
40	5	проникнутое	проникнуто
51	8	о ѣнкѣ	оцѣнкѣ
70	14	интутивные	интуитивные
157	19	нардъ	народъ
159	11—12	когда оно насильно навязываетъ	но тѣмъ не менѣе насильно навязывать
—	17—18	но, если возможно, то и предупреждать,	но, на сколько возможно, и предупреждать
275	3	не	ни
291	14	коты,	скоты,
301	39	несчастнымъ	несчастными
323	5	нравственнаго осужденія	нравственное осужденіе

BOUND BY
11-91

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 054664971